

# ИЮНЬ ЛИ

РОМАН

## ДОБРЕЕ ОДИНОЧЕСТВА

CoRpus



Лица из минувшего — былая любовь,  
утраченный друг, мы сами в прошлые времена



## Annotation

Когда три главных героя нового романа Июнь Ли были совсем юными, их подруга отравилась и осталась инвалидом на всю жизнь. Сама ли она приняла яд? Или это преступление? Все трое хранят каждый свою тайну, и груз прошлого так и не дает им жить в полную силу. Прошлое не отпускает их, где бы они ни находились, как бы ни пытались выстроить свою судьбу.

---

- [Июнь Ли](#)
  - 
  - 
  - 
  - 
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [Благодарность](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)

- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)



# Июнь Ли

## Добрее одиночества

© Yiyun Li, 2014. All rights reserved  
© Л. Мотылев, перевод на русский язык, 2018  
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018  
© ООО «Издательство АСТ», 2018  
Издательство CORPUS ®

\*\*\*



В основе романа тайна, раскрыть которую до конца, быть может, так и не удастся. Действие происходит то в Америке, то в Китае, то перед нами день сегодняшний, то мы возвращаемся на четверть века назад. Это история трех людей, жизнь которых переменялась потому, что один из них, вероятно, совершил убийство. По словам одного из героев, «Даже самое невинное существо, если загнать его в угол, способно на бессердечный выпад».

\*\*\*

Мощный роман о грузе памяти, о тяжести утраты и о том, как прошлое тысячью способов может терзать душу.

*The Washington Post*

Замечательная книга. Июнь Ли, безусловно, крупный писатель.

*Салман Рушди*

У Ли уникальный дар рассказывать историю. Читая ее роман, понимаешь, что на нескольких сотнях страниц действительно можно отобразить целую жизнь.

*The Boston Globe*

\*\*\*

*Данэну, Винсенту и Джеймсу*

*Нельзя быть и перестать быть, мой милый  
Кристоф.*

*Ромен Роллан «Жан-Кристоф»*

Боян думал, что горе должно делать людей менее суетными. Зал ожидания при крематории, однако, не отличался от прочих мест: такое же рьяное желание опередить, как на базаре или на фондовой бирже, и такое же подозрение, что тебя нечестно обошли. Мужчина, которому зачем-то понадобились несколько экземпляров бланка, оттеснил его плечом, чтобы их взять. Ты ведь одно тело сжигаешь, усмехнулся себе под нос Боян, и мужчина свирепо посмотрел на него, как будто личная утрата давала ему особые права.

Женщина в черном, вбежав, стала оглядывать пол в поисках белой хризантемы, которую уронила раньше. Служащий, старый человек, смотрел, как она прикалывает ее обратно к воротнику, а потом улыбнулся Бояну.

– И чего они все так торопятся, – заметил он, отвечая Бояну, который посочувствовал его нелегкой жизни. – День за днем, день за днем. Забывают: кто летит за всяким сладким плодом жизни, тот и к смерти летит.

Не исключено, подумал Боян, что служащий, с которым никто не хочет повстречаться и который, если не удалось избежать встречи, становится частью тягостного воспоминания, черпает в этих словах утешение; может быть, и удовольствие получает от мысли, что те, кто обошелся с ним невежливо, вернутся в более холодном виде. Боян испытал к нему прилив симпатии.

Когда старый служащий допил чай, он прошелся с Бояном по документам на кремацию Шаоай: свидетельство о смерти, причина – легочная недостаточность вследствие острой пневмонии; пожелтевшая карточка регистрации по месту жительства с официальным штампом об аннулировании; ее общегражданский паспорт. Служащий проверял документы, включая паспорт Бояна, неторопливо, тщательно, ставя карандашом под цифрами и датами, которые вписал Боян, крохотные точки. Бояну подумалось: заметил ли он, что Шаоай была на шесть лет старше?

– Родственница? – спросил служащий, подняв глаза.

– Мы дружили, – ответил Боян, воображая разочарование старика из-за того, что Боян, оказывается, не овдовел в свои тридцать семь. Он добавил, что Шаоай болела двадцать один год.

– Хорошо, что все кончается рано или поздно.

У Бояна не было иного выбора, как согласиться с неутешающими словами старика. Боян был рад, что уговорил Тетю, мать Шаоай, не ездить в крематорий. Он не сумел бы оградить ее ни от жалости чужих людей, ни от их недоброжелательности, и ее горе смущало бы его.

Служащий сказал Бояну, чтобы он вернулся через два часа, и он вышел в Вечнозеленый Сад. Шаоай презрительно фыркнула бы при виде кипарисов и сосен – символов вечной юности у стен крематория. Она высмеяла бы и скорбь матери, и задумчивую печаль Бояна, и даже свой бесславный конец. Кто-кто, а она могла бы прожить жизнь на полную катушку. Она терпеть не могла все робкое, скучное, заурядное, она была беспощадно остра; какое лезвие затуплено, подумал в очередной раз Боян. Распад, тянувшийся так долго, превратил трагедию в тягомотину; когда смерть наносит удар, лучше, чтобы она покончила с первой попытки.

На вершине холма под охраной старых деревьев стояли изысканные мавзолеи. Несколько крикливых птиц – вороны, сороки – копошились так близко, что Боян мог попасть в какую-нибудь сосновой шишкой, но без зрителей это мальчишеское достижение пропало бы зря. Будь здесь Коко, она бы показала, что ее повеселил его бросок, и изобразила бы интерес, когда он раскрыл бы шишку и дал бы ей рассмотреть семечки, хотя на самом деле ее мало занимают такие вещи. Коко исполнился всего двадцать один, но она уже была нелюбопытна, как будто прожила долгую жизнь; слишком жадная для своего возраста или слишком ограниченная, она интересовалась только осязательным, материальным, комфортабельным.

В конце дорожки под крышей беседки был установлен бронзовый мужской бюст. Боян постучал по столбам. Довольно крепкие, хотя дерево не лучшего качества, краска потускнела и местами лупилась; согласно надписи на табличке, беседке было меньше двух лет. Букет пластиковых лилий выглядел скорее мертвым, чем искусственным. Время с тех пор, как экономика рванула вверх, казалось, шло в Китае с нереальной скоростью, новое быстро делалось старым, старое погружалось в забвение. Когда-нибудь и он сможет – если пожелает – оплатить свое превращение в каменный или металлический бюст, купить себе малое бессмертие людям на смех. Если чуточку повезет, то Коко или другая, кто придет ей на смену, может быть, уронит слезинку-другую перед его могилой, горюя если не о мире без него, то о своей зря растроченной молодости.

Какая-то женщина, поднимаясь на холм, увидела Бояна и повернула назад так резко, что он едва успел взглянуть на ее лицо, обрамленное черно-белым узорчатым платком. Рассмотрев сзади ее черное пальто и

дизайнерскую сумочку на руке, он подумал, что она, может быть, вдова богатого человека или, лучше, бывшая любовница. На секунду пришла мысль нагнать ее и обменяться парой слов. Если они понравятся друг другу, можно остановиться где-нибудь на обратном пути в город и выбрать чистый загородный ресторанчик ради меню с сельским оттенком: ямс, запеченный в высокой металлической бочке, курица, тушенная с так называемыми «органически выращенными на месте» грибами, глоток другой крепкого ямсового напитка, который развяжет обоим языки и поспособствует тому, что обедом дело не ограничится. В городе они могут, если будет настроение, встретиться потом еще раз – а могут и не встретиться.

В назначенное время Боян вернулся к стойке. Служащий сказал ему, что придется еще немного подождать: одна семья настояла на том, чтобы все проверить во избежание загрязнения. «Загрязнения чем – чужим пеплом?» – спросил Боян, и старик, улыбнувшись, сказал, что если есть место на земле, где прихоти людей исполняются, то оно здесь. Щекотливое дело, заметил Боян, а затем поинтересовался, не приходила ли одинокая женщина кремировать кого-нибудь.

– Женщина? – переспросил служащий.

Боян подумал было описать женщину старику, но решил, что с человеком, у которого внушающее доверие лицо и мягкое чувство юмора, надо поосмотрительнее. Он сменил тему и порассуждал о новых городских правилах, касающихся недвижимости. Позднее, когда служащий спросил, не хочет ли он взглянуть на останки Шаоай, еще не измельченные до пепла (одни семьи, объяснил служащий, требуют измельчения, а другие просят отдать им кости, чтобы попрощаться как следует), Боян отклонил предложение.

Мысль, что все пришло к такому концу, давала облегчение столь же блеклое и неубедительное, как солнце, которое освещало приборный щиток Бояна на обратном пути в город. На электронные адреса Можань и Жуюй он уже послал сообщения о смерти. Можань, он знал, живет в Америке, а где Жуюй, ему не было известно точно; скорее всего тоже там, но не исключено, что в Канаде, или в Австралии, или где-нибудь в Европе. Он сомневался, что они поддерживают между собой связь; на его имейлы они ни разу не ответили даже простым подтверждением. Первого числа каждого месяца он писал им по отдельности, информируя – напоминая, – что Шаоай жива. Он никогда не сообщал о чрезвычайных ситуациях – однажды была легочная недостаточность, несколько раз сердечная; ограничивая объем информации, он избавлял себя от ожидания ответа.



Шаоай всякий раз выкарабкивалась, цепляясь за мир, который в ней не нуждался и где ей не было места, и краткие послания, которые он отправлял, давали ему ощущение постоянства. Верность прошлому – основа некой жизни внутри жизни, которой не кладет конец ни стечение обстоятельств, ни твоя собственная воля. Его упорство сохраняло эту альтернативу нетронутой. Их молчание, он верил, подтверждало это по-своему: молчание, которое хранится так подчеркнуто, может значить лишь то, что они верны прошлому, как он.

Когда врач констатировал смерть Шаоай, Боян почувствовал не приступ горя и не облегчение, а злость – злость на то, что он обманулся, что ему отказано во встрече, на которую, он считал, он имеет право: они – он, Можань и Жуюй – были в этой его фантазии старыми людьми, даже древними, мужчиной и двумя женщинами, почти прожившими земную жизнь и сошедшими напоследок у озера своей юности. Можань и Жуюй, возможно, сочли бы этот приезд домой естественной, если не триумфальной, эпитафией. Но он бы привез на празднество Шаоай, чье присутствие превратило бы их десятилетия накопления – замужество, дети, карьера, богатство – в смехотворную коллекцию барахольщика. Лучшая жизнь – жизнь непрожитая, и Шаоай одна из всех была бы вправе олицетворять эту истину.

Их глупость, однако, была и его глупостью, и он нуждался в них, помимо прочего, для того, чтобы посмеяться над нелепостью своей собственной жизни: смеяться в одиночку еще более невыносимо, чем горевать одному. Может быть, они не увидели в электронной почте сообщение о смерти – ведь, в конце концов, сейчас только середина месяца. Интуиция подсказывала Бояну, что имеющиеся у него электронные адреса Можань и Жуюй – не те, которыми они пользуются каждый день, он и сам завел для сообщений им отдельный адрес. То, что Шаоай умерла, когда он меньше всего ждал, и что ни Можань, ни Жуюй не подтвердили получение его письма, делало ее смерть нереальной, словно он репетировал один нечто такое, для чего требовались и две другие – нет, все три; Шаоай тоже должна была провожать себя в последний путь.

На шоссе его обогнал серебристый «порше», и он подумал, не женщина ли это, которую он видел на кладбище. Мобильный телефон завибрировал, но он не стал отцеплять его от пояса. Все встречи, назначенные на сегодня, он отменил, и звонила, скорее всего, Коко. Как правило, он не сообщал ей, где будет находиться, так что ей приходилось ему звонить и быть готовой к переменам в последнюю минуту. Держать ее в подвешенном состоянии было приятно тем, что давало ощущение

контроля. *Папик* – это позаимствованное за границей словцо она, вероятно, употребляла, говоря о нем с подругами у него за спиной, но когда он однажды, полупьяный, спросил Коко, так ли она о нем думает, она засмеялась и ответила, что нет, он слишком молодой для этого. *Старшенький братик* – так она, подмигнув ему, сказала о нем потом подруге по телефону, и позднее он поблагодарил ее за великодушие.

Место для парковки у жилого комплекса, построенного задолго до того, как машины стали частью жизни его обитателей, он нашел не с первого и не со второго захода. Мужчина, протиравший ветровое стекло своего автомобильчика – судя по виду, китайского производства, – бросил на Бояна, когда он выходил из машины, недружелюбный взгляд. Как этот человек, подумал Боян, жестко сцепившись с незнакомцем глазами, поступит с его BMW, когда он отойдет? Поцарапает – или хотя бы заедет ногой по колесу или бамперу? Такие предположения о других людях, ясное дело, отражали его собственное неблагородство, но человек не должен позволять своему воображению плестись в хвосте у окружающего мира. Боян гордился своим презрением и к другим, и к себе. Этот мир, как и многие живущие в нем, неизменно обходится с тобой лучше, если ты не слишком разбрасываешься своей добротой.

Не успел он отпереть квартиру своим дубликатом ключа, как Тетя открыла дверь изнутри. Она, должно быть, плакала, веки красные и распухшие, но была хлопотлива, чуть ли не оживлена, заварила Бояну чай, хотя он сказал, что не надо, подвинула к нему блюдо с фисташками, справилась о здоровье родителей.

Боян был бы рад никогда не знать эту квартиру с одной спальней, уже имевшую запущенный вид, когда Тетя и Дядя только въехали туда с Шаоай, и мало изменившуюся за двадцать лет. Мебель старая, шестидесятых и семидесятых: дешевые деревянные столы и стулья, кровати с давным-давно потускневшими железными каркасами. Единственным дополнением стали подержанные металлические ходунки, купленные по дешевке в больнице, где Тетя работала медсестрой, пока не ушла. Боян помог Дяде отпилить колеса, подогнать ходунки по высоте и прикрепить к стене. Три раза в день Шаоай подводили к ним и побуждали стоять самостоятельно, чтобы мышцы не атрофировались.

Старые простыни, обернутые вокруг подлокотников, за годы обветшали, небесно-голубая краска сильно облупилась, открывая взгляду грязный металл. Больше не придется, подумал Боян, соблазнять Шаоай конфетой, чтобы не упрямилась и постояла, – но будет ли ему лучше в этом новом мире без нее? Как река, обтекающая препятствие, время шло мимо

этой квартиры и ее обитателей, чьи жизни и смерти были окаменелостями, принадлежащими к оставленному позади прошлому. Родители Бояна четырежды за минувшее десятилетие покупали жилье, все просторней и все лучше; сейчас они жили в двухэтажном таунхаусе, куда без усталости приглашали друзей, чтобы те оценили мраморную ванну, хрустальную итальянскую люстру и сверкающее немецкое оборудование. Боян все четыре раза надзирал за ремонтом, три квартиры родители сдавали, и он вел все связанные с этим дела. У него самого было в Пекине три квартиры; первую, купленную к женитьбе, он, делая жест великодушия и укоризны, оставил бывшей жене, когда человек, с которым она изменяла Бояну, решил, вопреки обещанию, не разводиться ради нее со своей женой.

Рядом с фотографией Дяди, который умер пять лет назад от рака печени, теперь висел черно-белый увеличенный снимок Шаоай в черной рамке. Перед фотографией стояла тарелка со свежими фруктами: четвертушки апельсинов, ломтики дыни, яблоки и груши – все нетронутое, все восковое и нереальное на вид. Тетя робко показала на это Бояну, словно давая понять, что горюет в самую меру – не так сильно, чтобы быть обузой, и не так слабо, чтобы можно было заподозрить пренебрежение.

– Все прошло как надо? – спросила она, истощив заготовленные к его возвращению темы.

Боян с тяжелым чувством представил себе, как Тетя поминутно смотрела на часы и задавалась вопросом, что сейчас происходит с телом дочери. Он пожалел, что не настоял, чтобы Тетя поехала с ним в крематорий, но тут же прогнал эту мысль.

– Да, все прошло хорошо, – ответил он. – Гладко.

– Не знаю, что бы я делала без тебя, – сказала Тетя.

Боян вынул из белой шелковой сумки урну и поставил рядом с фруктами. Он старался не смотреть пристально на снимок Шаоай, который, вероятно, был сделан в ее университетские годы. За двадцать лет она расплылась, сделалась вдвое крупнее, от чистой линии подбородка ничего не осталось. Быть наполненной всей этой мягкой плотью – и сгинуть в печи... Боян содрогнулся. Отсутствующее тело занимало сейчас больше пространства, чем занимало в прошлом живое. Он резко подошел к ходункам на стене и оценил возможность их отсоединить.

– Давай оставим их тут, хорошо? – сказала Тетя. – Может быть, мне самой когда-нибудь пригодятся.

Не желая позволить Тете направить разговор к будущему, Боян кивнул и сообщил, что ему скоро надо будет идти: встреча с деловым партнером.

Конечно, сказала Тетя; нет, она не будет его задерживать.

– Я послал имейлы Жуюй и Можань, – промолвил он у двери. Произнести эти имена было слабостью с его стороны, но он боялся, что если не разгрузит себя, то его ждет еще один вечер неумеренного питья во вред здоровью, когда он нарочно будет петь не в лад в караоке-баре и слишком громко отпускать похабные шутки.

Тетя не отреагировала, как будто не расслышала, поэтому он повторил, что поделился новостью с Можань и Жуюй. Тетя кивнула и сказала, что он верно поступил, хотя он знал, что она говорит неправду.

– Я так и подумал, что вы одобрите, – сказал Боян.

Воспользоваться тем, что старой женщине было не до возражений, значило поступить жестоко, но он хотел поговорить с кем-то о Можань и Жуюй, услышать их имена, произнесенные голосом другого человека.

– Можань хорошая девушка, – сказала Тетя, протягивая руку, чтобы похлопать его по плечу. – Мне всегда было жалко, что ты на ней не женился.

Даже самое невинное существо, если загнать его в угол, способно на бессердечный выпад. Боян был поражен: до чего легко оказалось Тете причинить ему сильнейшую боль! Не в ее обыкновении было затрагивать его брак. Общая тема у них была одна: Шаоай. Он сообщил в свое время Тете о разводе, но ему не надо было ей напоминать, как приходилось напоминать родителям, что он не хочет с ней его обсуждать. Назвать теперь Можань как предпочтительную пару для него и намеренно уклониться от того, чтобы произнести другое имя... Боян только покачал головой, преодолевая побуждение дать сдачи.

– Не будем сейчас про женитьбу, – сказал он. – Мне надо бежать.

– Столько времени прошло, и ни словечка от Можань, – упорствовала Тетя.

Боян проигнорировал эти слова и пообещал зайти ближе к концу недели. Когда он раньше спросил Тетю про захоронение останков Шаоай, она ответила, что пока не готова. Он заподозрил – возможно, несправедливо, – что Тетя потому держится за урну с прахом, что теперь только она и связывает его с этой квартирой. Они с Тетей не были родственниками.

Вернувшись в свою машину, Боян увидел звонки от матери и от Коко. Он позвонил матери и, поговорив, сообщил Коко эсэмэской, что будет занят до конца дня. Коко и мать были сейчас главными соперницами, претендующими на его внимание. Знакомить их он не считал нужным: одна была для этого в его жизни слишком недолговечным явлением, другая слишком долговечным.

После квартиры Тети родительское жилье давало отраду. Отделанный внутри словно для рекламного журнала, этот дом безукоризненно исполнял роль полупрозрачной завесы, за которой уродства мира отступали, таяли. Тут Боян как нигде понимал, сколь важно вкладываться в пустяки: красивые предметы, подобно дорогим напиткам и необременительным знакомствам, – хорошее средство, чтобы поменьше думать и ничего не чувствовать по поводам, не относящимся к твоему ближайшему окружению.

Накануне, объяснила мать, они с отцом приглашали друзей к ужину. Осталось много еды, и она подумала, что Боян мог бы приехать утилизировать остатки. Он не знал, сказал он со смехом, что он их компостный ящик. Его родители сделались разборчивы в том, что едят сами, они огромное значение придавали всему, что вводят в свой организм, постоянно думали, полезно это или вредно. Заказав для друзей больше еды, чем нужно, они, Боян был уверен, сами мало к чему притронулись.

За столом, когда он приехал, говорили о близнецах его сестры, родившихся в Америке, о ценах на недвижимость в Пекине и в приморском городе, где его родители подумывали купить квартиру в кондоминиуме на самом берегу, и о неумелости их новой домработницы. Только когда мать убрала со стола, она, как бы случайно вспомнив, спросила Бояна, знает ли он о смерти Шаоай. Отец к тому времени ушел к себе в кабинет.

О том, что он не порвал связь с родителями Шаоай, что оказывает помощь этой семье, одолеваемой болезнями и смертями, Боян не считал нужным сообщить родителям. Если они и подозревали, что некая связь существует, то предпочитали не знать. Ключ к успеху, считали его родители, в способности жить селективно, с выбором, забывать то, о чем лучше не помнить, избавляться от маловажных и лишних знакомств, отрешаться от ненужных эмоций. Известность и материальное благополучие вторичны, хоть и не должны удивлять, производны, если ты способен проявить безличную мудрость в очерчивании границ своего бытия. Примером, подкреплявшим для них это убеждение, была сестра Бояна, видный физик в Америке.

– Да, слышал, – ответил Боян.

У Тети не было причин скрывать смерть от бывших соседей, и его не удивило, что кто-то из них – а может быть, и не один – позвонил его родителям. Тот редкий случай, когда о смерти, возможно, сообщали не без удовольствия, едва скрывая желание наказать под личиной вежливости.

Мать вернулась из кухни с двумя чашками чая и поставила одну перед ним. Его раздосадовало, что она вывела разговор из комфортабельного



круга обычных для них тем. Он всегда послушно приезжал по ее зову; лучший способ соблюдать дистанцию, считал он, – это удовлетворять все ее нужды.

– Ну и что ты думаешь? – спросила мать.

– О чем?

– Обо всем, – сказала она. – О том, что пошло прахом.

– Что пошло прахом?

– Жизнь Шаоай, конечно, – сказала мать, поправляя одиночную каллу в хрустальной вазе на обеденном столе. – Но даже если вынести ее за скобки, были затронуты и другие жизни.

Чьи, захотел спросить ее Боян, другие жизни она способна удостоить внимания? Химическое вещество, найденное в крови Шаоай, было взято из лаборатории его матери; была ли это попытка убийства, или неудавшееся самоубийство, или странная случайность – так и не установили. В его семье об этом деле не говорили, но Боян знал, что мать до сих пор не смягчилась, до сих пор зла.

– Ты хочешь сказать – твоя карьера пошла прахом? – спросил Боян.

После инцидента университет принял в отношении его матери дисциплинарные меры за неправильное хранение химикатов. Могло бы сойти за неприятный, но не столь важный случай, мало влияющий на ее в целом блестящую академическую карьеру, но она принялась оспаривать обвинение: все лаборатории на факультете жили по устаревшим правилам, химикаты были доступны всем аспирантам. Большое несчастье, признала она, что пострадал человек; она была готова понести наказание за то, что трое подростков находились в лаборатории без присмотра, – ее ошибка касалась людей, а не химикатов.

– Если ты желаешь взглянуть на мою карьеру, то она, конечно, пошла прахом без всякой на то причины.

– Но для тебя же все хорошо обернулось, – возразил Боян. – К лучшему – ты должна это признать.

Его мать ушла из университета и стала работать в фармацевтической компании, которую позднее купила американская компания. Благодаря своему безупречному английскому, выученному в католической школе, и нескольким патентам на свое имя она стала зарабатывать втрое больше, чем получала бы на должности профессора.

– Но разве я сказала, что имею в виду себя? – спросила она. – Твое предположение, что у меня только моя персона на уме, – всего лишь гипотеза, а не доказанный факт.

– Не вижу больше никого, достойного твоей заботы.

– А ты сам?

– Что ты имеешь в виду?

Очень слабо с моей стороны, подумал Боян: вопрос, ответ на который известен заранее.

– У тебя нет ощущения, что твоя жизнь была затронута отравлением Шаоай?

Какой ответ она хотела услышать?

– С такими вещами смиряешься, привыкаешь, – сказал он. Секунду поразмыслив, добавил: – Нет, не думаю, что этот случай затронул меня сколько-нибудь существенно.

– Кто хотел ей смерти?

– Что, прости?

– Ты расслышал меня верно. Кто хотел убить ее тогда? Она не была похожа на самоубийцу, хотя, безусловно, одна из твоих девочек, не помню, которая, на это намекала.

Прокручивая в голове сценарии смерти Шаоай, Боян никогда не включал в них мать – но разве родителям отведено место в фантазиях сына или дочери? Тем не менее она уделяла этому делу внимание, и то, что он недооценивал ее осведомленность, раздосадовало его.

– Я уверена, – сказала она, – что ты понимаешь: если ты откровенно признаешься мне сейчас, что сам ее отравил, я ничего не скажу и не сделаю. Я спрашиваю исключительно из любопытства.

Они подчинялись одному и тому же кодексу – кодексу сосуществования двух чужих друг другу людей, близости – если эту форму взаимоотношений можно так назвать, – окультуренной вышколенным безразличием. Ему скорее нравилось, что с матерью сложилось именно так, и он знал, что в некоем смысле никогда не был ее ребенком; она, со своей стороны, не позволит себе, когда совсем состарится, стать его подопечной.

– Я не отравлял ее, – сказал он. – Сожалею.

– Почему сожалеешь?

– Ты была бы гораздо счастливее, если бы получила ответ. И я тоже был бы счастливее, если бы мог точно тебе сказать, кто это сделал.

– Тогда остаются только две возможности. Можань или Жуюй. Что ты думаешь?

Он задавал себе этот вопрос год за годом. Он посмотрел на мать с улыбкой, стараясь, чтобы лицо ничего не выдало.

– А ты что думаешь?

– Я не знала ни ту, ни другую.

– У тебя не было причины их знать, – сказал Боян. – И кого бы то ни

было, если на то пошло.

Его мать, он знал, была не из тех, кто реагирует на сарказм.

– С Жуюй я фактически не была знакома, – сказала она. – Можань я, конечно, видела, но плохо ее помню. Не блестящего ума, если я не ошибаюсь.

– Сомневаюсь, что может найтись ум, достаточно блестящий для тебя.

– Ум твоей сестры, – возразила мать Бояна. – Но не уводи меня в сторону. Ты хорошо знал обеих, у тебя должны быть соображения.

– У меня их нет, – сказал Боян.

Мать посмотрела на него, мысленно располагая по-новому, представилось ему, его и других людей, как делала это с химическими молекулами. Ему вспомнилось, как он возил родителей в Америку отпраздновать сороковую годовщину их свадьбы. В аэропорту Сан-Франциско они увидели выставку деревянных охотничьих приманочных уток. Несмотря на двенадцатичасовой перелет, мать внимательно рассмотрела каждый экспонат. Она была захвачена разнообразием цветов и форм, она читала плакаты 1920-х годов, рекламирующие двадцатицентовых уток, и, зная, какая в какие годы была инфляция, высчитывала, сколько эти утки стоили бы сегодня. Всегдашняя любознательность, подумал Боян, безличная любознательность.

– Ты их когда-нибудь спрашивал? – поинтересовалась она сейчас.

– Не пытались ли они убить человека? – уточнил Боян. – Нет.

– Почему нет?

– По-моему, ты переоцениваешь возможности сына.

– Разве ты не хочешь знать? Почему не спросить?

– Когда? Тогда или сейчас?

– Что мешает спросить сейчас? Возможно, они теперь, когда Шаоай умерла, будут с тобой откровенны.

Начнем с того, подумал Боян, что ни Можань, ни Жуюй не отвечали на имейлы.

– Если даже ты не переоцениваешь моих возможностей, ты, безусловно, переоцениваешь желание людей откровенничать, – сказал он. – Но тебе не кажется, что это мог быть несчастный случай? Слишком скучная версия для тебя?

Мать опустила глаза в свою чашку с чаем.

– Если я положу в чайник слишком много чайного листа, это можно назвать ошибкой. Но никто случайно не добавляет яд человеку в чашку. Или ты хочешь сказать, что жертвой должна была стать Можань или Жуюй, а бедная Шаоай просто выпила не тот чай? Невольно думаешь, что это мог

быть ты!

– Мог случайно выпить яд?

– Нет. Я вот что спрашиваю: считаешь ли ты возможным, что кто-то пытался убить тебя?

В одиночной калле с ее безукоризненным изгибом – мать любила этот цветок больше всех – было что-то нереальное и угрожающее. Мать легонько подула на чай, не глядя на Бояна, хотя это, он знал, тоже было частью исследовательского процесса. Она искажает прошлое произвольно, потакая своей прихоти, или обнаруживает свое подлинное сомнение – или же граница между первым и вторым так зыбка, что одно не может без другого? Насколько он знал, он жил в зоне ее селективной неосведомленности, но, может быть, это только иллюзия? Не стоит считать, что способен вынести окончательное суждение о собственной матери.

Он признался, что такая мысль никогда его не посещала.

– Но ты знаешь, ведь этот вариант не исключен, – сказала она.

– С какой стати кому-то могло прийти в голову убить меня?

– С какой стати человеку приходит в голову убить человека? – сказала она, и Бояну мгновенно стало ясно, что он был слишком неосторожен в этом разговоре. – Если некая особа крадет яд из лаборатории, то, значит, она намеревается причинить вред кому-то другому или себе самой. По мне, вред был причинен уже в тот момент, когда вещество было украдено. Зачем – я тебя не спрашиваю. Зачем человек совершает тот или иной поступок – это выше моего понимания и меня не интересует. Все, что я хотела бы знать, это кто пытался убить кого, но, к сожалению, у тебя ответа нет. И печально, что ты, судя по всему, не разделяешь мое любопытство.

Первого августа 1989 года, когда поезд въезжал под сводчатую крышу пекинского вокзала, Жуюй, приспособив взгляд после яркого дневного света к серым вокзальным сумеркам, еще не знала, что готовиться к отправлению в путь надо начинать задолго до прибытия на место. Ей, пятнадцатилетней, еще многое предстояло узнать. Искать ответы на свои вопросы значит познавать мир. Простодушные в детстве, интимные, когда становишься старше, и, если человек в зрелом возрасте настаивает на определенности, отклоняемые, когда ответить невозможно, эти вопросы творят контекст бытия. Жуюй, однако, уже был дан ответ, исключавший все вопросы.

Пассажиры двинулись кто в начало, кто в конец вагона. Жуюй, оставшись сидеть, смотрела в грязное окно. На перроне люди отталкивали друг друга локтями или – еще эффективнее – сумками и чемоданами. Кто-то – Жуюй не знала кто и не любопытствовала – должен был ждать ее на этом перроне. Она вынула из школьной наплечной сумки пару заколок и заколола ими волосы. Так ее описали ее тети-бабушки в письме будущим хозяевам, написанном за неделю до поездки: белая блузка, черная юбка, две голубые заколки-бабочки, коричневый плетеный сундук, 120-кнопочный аккордеон в черном кожаном футляре, школьная сумка и фляга с водой.

Две последние пассажирки, родственницы по браку, предложили ей помощь. Жуюй поблагодарила, но сказала, что справится сама. Во время девятичасовой поездки эти две женщины изучали Жуюй с нескрываемым любопытством; то, что она выпила лишь несколько глоточков воды, что ни разу не отлучилась в туалет, что ни разу не выпустила из рук школьную сумку, – все это не ускользнуло от их внимания. Они предложили Жуюй персик и пачку крекеров, позднее бутылку апельсинового сока, купленную на станции через окно; от всего этого Жуюй вежливо отказалась. Они согласились между собой, что она воспитанная девочка, но все равно чувствовали себя обиженными. Жуюй, некрупная по телосложению, казалась этим двум женщинам и другим пассажирам слишком юной, чтобы путешествовать в одиночку; когда ее пытались расспрашивать, она отвечала сдержанно и мало что сообщила о том, к кому едет и зачем.

Когда проход опустел, Жуюй сняла аккордеон с багажной полки. Школьная сумка из прочного полотна, которая была у нее с первого класса, давно уже выцвела, превратилась из травянисто-зеленой в бледно-желтую,



почти белую. Внутри тети вшили маленький матерчатый мешочек, в него они положили двадцать новеньких купюр по десять юаней – большую сумму для девочки ее лет. Очень аккуратно Жуюй выдвинула из-под сиденья сундук – самый маленький в наборе из трех плетеных ивовых сундуков, купленном, сказали ей тети, в 1947 году в лучшем универсальном магазине Шанхая; они очень просили обращаться с ним бережно.

Шаоай узнала Жуюй сразу же, едва она с трудом выволоклась на перрон. Кто, кроме этих двух старых дам, додумался бы засунуть девочку в такую допотопную одежду и, сверх того, заставить ее нести старомодную, детскую школьную сумку и флягу с водой? «Ты моложе выглядишь, чем я думала», – сказала Шаоай, подойдя к Жуюй, хотя это была неправда. На черно-белой фотографии, приложенной к письму тетями-бабушками Жуюй, она, несмотря на шерстяное платье со свободной юбкой, которое было ей велико, выглядела обыкновенной школьницей, ее глаза бесхитростно глядели в камеру – глаза ребенка, еще не знающего своего места в мире и не озабоченного из-за этого места. А сейчас лицо, которое увидела Шаоай, было покрыто льдистой, твердой не по годам оболочкой неуязвимости. Шаоай почувствовала легкую досаду, как будто поезд привез не ту пассажирку.

– Сестра Шаоай<sup>[1]</sup>? – спросила Жуюй, узнав девушку по семейной фотографии, присланной ее тетям: короткая стрижка, угловатое лицо, тонкие губы, придающие лицу нетерпеливую раздражительность.

Шаоай достала из кармана шорт фото Жуюй.

– Чтобы не боялась, что тебя встретил не тот человек, – сказала Шаоай и засунула снимок обратно в карман.

Жуюй узнала фото, сделанное два месяца назад, когда ей исполнилось пятнадцать. Каждый год в день рождения – хотя она, не спрашивая вслух, задавалась иногда вопросом, настоящий это день рождения или только приблизительный, – тети водили ее к фотографу. Черно-белые карточки хранились в альбоме, каждая вставлялась в четыре серебристых приклеенных уголка на отдельной странице, под ней писался год. За эти годы фотограф, который начинал, когда она была маленькая, учеником, но теперь уже не был молодым человеком, ни разу не попросил Жуюй изменить позу, так что на всех снимках она сидела прямо, сложив руки на коленях. Шаоай наверняка получила второй экземпляр: тети Жуюй не из тех, кто будет портить безупречный альбом, оставляя четыре пустых уголка. Тем не менее мысль, что кто-то чужой владеет чем-то связанным с ней, беспокоила Жуюй. Она почувствовала, что ладони вспотели, и, заведя руки за спину, вытерла их о черную хлопчатобумажную юбку.

– Тебе бы полегче что-нибудь носить летом, – сказала Шаоай, глядя на длинную юбку Жуюй.

В неодобрительном взгляде Шаоай Жуюй увидела ту же бесцеремонность, что в поведении двух женщин в поезде. И так, эта старшая девушка не отличается от всех: сразу считает себя вправе давать Жуюй советы о том, как ей жить. Что отделяло Жуюй от них – они не догадывались, – это избранность. То, что она знала, не могло быть им открыто; она видела их так, как они не могли видеть ни ее, ни себя, видела насквозь.

Шаоай было двадцать два; Дядя и Тетя, у которых она была единственным ребенком, неким сложным образом – тети-бабушки не объяснили точно – состояли с ними в родстве. «Честные люди» – так тети-бабушки охарактеризовали семью, согласившуюся взять Жуюй на год – или, если пойдет хорошо, на три года, пока Жуюй не окончит школу и не поступит в высшее учебное заведение. В Пекине имелись и две другие семьи, тоже не совсем чужие, которые тети рассматривали, но в обеих были мальчики возраста Жуюй или чуть постарше. В итоге выбор пал на Шаоай и ее родителей.

– Дам тебе минутку перевести дух, хорошо? – проговорила Шаоай и, не успев Жуюй ответить, подхватила сундук и аккордеон. Жуюй предложила, что сама возьмет что-нибудь, но Шаоай только дернула подбородком в сторону выхода и сказала, что у нее есть помощники, они ждут.

Жуюй не была подготовлена к городскому шуму и зною за пределами вокзала. Предвечернее солнце было белым диском за пеленой смога, мужчина суровым голосом перечислял в громкоговоритель имена и приметы разыскиваемых за подрывную деятельность и антиправительственные выступления этим летом. Транзитные пассажиры заполнили тенистые места под рекламными щитами, менее удачливые лежали, накрывшись газетами. Пять женщин с рекламой на кусках картона ринулись к Шаоай и наперебой, надрывая голоса, стали предлагать ночлег и транспортные услуги. Шаоай, умело используя сундук и аккордеон, таранила толпу, а Жуюй, которая на секунду замешкалась, окружили другие зазывалы. Женщина средних лет в платье без рукавов схватила Жуюй за локоть и потащила в сторону от конкуренток. Жуюй попыталась высвободить руку и объяснить, что она приехала к родственникам, но ее слабые протесты заглушались густым туманом шума. В провинциальном городе, где она росла, редко кто, незнакомый или знакомый, подходил к ней так близко. Когда она была меньше, от натиска окружающего мира ее

защищали прямая осанка и суровые лица тетя; позднее, когда они уже не всюду ее сопровождали, люди все равно не беспокоили ее ни на улице, ни на рынке: в том, как держалась она сама, в ее неулыбчивости узнавали суровость тетя и переносили на нее свое уважение к ним.

Шаоай, вернувшись, мигом избавила Жуюй от зазывал. А где мой аккордеон, спросила Жуюй, увидев, что у Шаоай пустые руки. Шаоай, которой послышался упрек, остановилась. У моих помощников, разумеется, сказала она; ты что думала, я способна бросить твой драгоценный багаж только для того, чтобы тебя спасти? Могла бы и сама унести ноги.

Жуюй до тех пор ни разу не попадала в положение, когда надо уносить ноги; ее тети – а в последние годы и она сама, она это знала, – обладали способностью расчищать себе дорогу среди людей. Грудным ребенком она была оставлена на пороге дома, где жили две незамужние сестры-католички, и ее вырастили эти женщины, не связанные с ней родством. Как две пророчицы, тети выложили перед ней карту с траекторией ее жизни: из их маленькой квартирки в провинциальном городе в Пекин, а оттуда за границу, где она обретет в Церкви свой подлинный и единственный дом. Вне квартирки с одной спальней, где она жила с ними, соседи, учителя и одноклассники проявляли ненужное, бессмысленное любопытство по поводу ее жизни, как будто каша, которую она ела на завтрак, и ее вареники на тесемке, пропущенной через рукава, давали ключ к некой загадке, которая превосходила их разумение. Жуюй научилась отвечать на их вопросы холодно, но корректно. Их невежество она, тем не менее, презирала: им предстояло прожить жизнь в пыли, ей – в чистоте и совершенстве.

Помощники Шаоай, ждавшие в тени здания, были подростки – мальчик и девочка. Шаоай познакомила Жуюй с ними: Боян, крупный, крепкий, загорелый, с белозубой улыбкой, привязывал футляр с аккордеоном к багажнику своего велосипеда; худощавая длинноногая Можань уже сидела на своем велосипеде верхом, приладив сзади ивовый сундук. Они соседи, сказала Шаоай, оба на год старше Жуюй, но в школе будут учиться с ней в одном классе. Когда она упомянула про школу, Боян и Можань взглянули на футляр с аккордеоном, так что, судя по всему, они знали подоплеку. У Жуюй не было пекинской прописки; когда Дядя и Тетя получили первое письмо с предложением на ее счет, они ответили, что были бы рады от всей души помочь с ее образованием, но в большинстве старших школ не примут ученицу без прописки. Жуюй, написали им тогда ее тети-бабушки, прекрасно играет на аккордеоне, и они прислали копию

свидетельства о восьми классах музыкального образования. Как Дядя и Тетя уговорили школу (ее в свое время окончила Шаоай) принять Жуюй ввиду ее музыкальных способностей, Жуюй не знала; тети, получив письмо, где было сказано, что девочка должна привезти с собой в Пекин аккордеон и оригинал свидетельства, не выразили удивления.

Вечером, лежа в кровати, которую ей надо было делить с Шаоай, Жуюй думала о том, что ей предстоит жить в мире, где присутствие ее теть не ощущается и не внушает уважения, и впервые почувствовала, что становится той, кого в ней видели люди: сиротой. Пекин, так или иначе, заставил ее почувствовать себя маленькой, но еще хуже было людское безразличие к тому, что она маленькая. Когда вошли в автобус, чтобы ехать от вокзала к ее новому дому, мужчина в рубашке с короткими рукавами встал близко от Жуюй и, едва автобус тронулся, начал к ней прижиматься. Она стала отодвигаться, но его вес преследовал ее, а другие пассажиры не обращали внимания: когда Жуюй, надеясь на помощь, посмотрела на двух сидевших перед ней женщин, они – чужие друг другу, судя по тому, что не разговаривали между собой и не обменивались улыбками, – обе отвернулись и принялись смотреть в окно на магазины. Ее затруднение продлилось бы дольше, если бы не Шаоай: купив билеты у кондуктора, она протиснулась к Жуюй и, словно ища рукой спинку сиденья, чтобы держаться, всунула руку между ней и мужчиной. Не было произнесено ни слова, но, может быть, Шаоай толкнула мужчину локтем, или сурово на него посмотрела, или само ее присутствие заставило мужчину податься назад. Всю дорогу затем Шаоай стояла с ней рядом – стальная преграда между Жуюй и остальным миром. Обе молчали, и, когда пришло время выходить, Шаоай похлопала Жуюй по плечу, жестом велела следовать за ней и стала проталкиваться к двери. Тот мужчина, Жуюй заметила, не спускал глаз с ее лица, пока она двигалась к выходу. Хотя между ними было немало пассажиров, Жуюй почувствовала, что ее лицо горит.

На тротуаре Шаоай спросила Жуюй, не слабоумная ли она – почему себя не защищает? Жуюй редко приходилось видеть рассерженного человека вблизи: у обеих ее теть характер был спокойный, и эмоциональную возбудимость любого сорта они считали препятствием для личного совершенствования. Она вздохнула и отвела глаза в сторону, чтобы не раздражать Шаоай.

На долю секунды Шаоай пожалела о своей вспышке: в конце концов, Жуюй еще девочка, провинциалка, сирота, которую воспитывали две старые чудачки. Шаоай охотно смягчилась бы и даже извинилась бы, если бы Жуюй поняла, откуда проистекает ее злость, но гостя ни единым

жестом не показала, что хочет умиротворить Шаоай или защититься. В ее молчании Шаоай почуяла презрительное желание высвободиться.

– Неужели твои тети не научили тебя ничему полезному? – спросила Шаоай, еще более сердитая сейчас – и на неотзывчивость Жуюй, и на свою вспыльчивость.

Ничто так не отделяло Жуюй от мира, как его недоброжелательство к ее тетям-бабушкам. Парировать людскую критику в их адрес значило больше, чем оправдывать то, как они ее воспитали: защищать их значило защищать Бога, избравшего ее, чтобы ее оставили на их пороге.

– Тети научили меня большему, чем ты можешь себе представить, – сказала Жуюй. – Если тебе не нравится, что я приехала у вас жить, – пускай не нравится, я понимаю. Я не для того здесь, чтобы тебе понравиться, и не твое дело одобрять или не одобрять моих тетей.

Шаоай посмотрела на Жуюй долгим взглядом, а потом пожала плечами, показывая, что не настроена спорить с ней дальше. Когда приблизились к дому Шаоай, эпизод был оставлен в прошлом – так, по крайней мере, казалось.

Пожалуйста – Жуюй сложила ладони на груди – пожалуйста, дай мне увидеть, что большой город ничто по сравнению с тобой. Бамбуковый матрас уже не давал прохлады, но она воздерживалась от того, чтобы передвинуться, и оставалась на том краю кровати, который ей указала Шаоай. Единственное маленькое прямоугольное окно, расположенное высоко, пропускало мало вечернего воздуха, и под сеткой от комаров Жуюй чувствовала, что пижама липнет к телу. В общей комнате, приглушенно звуча, мерцал телевизор, хотя Жуюй сомневалась, что Дядя и Тетя его смотрят. Некоторое время они разговаривали шепотом, и Жуюй подумала, что, может быть, они говорят о ней или о ее тетях-бабушках. Пожалуйста, вновь сказала она мысленно, пожалуйста, дай мне мудрость уживаться с чужими, пока я не оставлю их позади.

Тети не научили Жуюй молиться. Ее воспитание не было строго религиозным, хотя тети сделали, что могли, чтобы дать ей образование, которое считали необходимым для ее будущего вхождения в Церковь. Сами они не посещали никаких служб с 1957 года, когда Коммунистическая партия реформировала Церковь, превратив ее в Китайскую патриотическую католическую ассоциацию; они не сохранили никаких осязаемых свидетельств своей прежней духовной жизни. И все же с очень юного возраста Жуюй понимала, что не отсутствие родителей отделяет ее от других детей, а присутствие Бога в ее жизни, которое делает родителей, братьев, сестер, друзей, подруг и даже тетей излишними. Она начала



разговаривать с ним еще до того, как пошла в начальную школу. «Отче наш...» – слышала она от теть с раннего детства, и разговором с ним Жуюй заканчивала каждый день, беседуя с Богом, как ребенок может беседовать с вымышленным другом или с собой, обращаясь к абстрактному и в то же время надежному, внушающему покой существу. Но он не был ни другом, ни частью ее самой; он принадлежал ей в такой же мере, в какой принадлежал ее тетям. Из тех, с кем она познакомилась сегодня в Пекине, никому, она знала, секрет его присутствия не был открыт, как ей: ни Дяде и Тете, которые сказали ей, что она теперь в их семье, и попросили говорить о всех своих нуждах не стесняясь; ни соседям – их было пять семей, они все, когда она появилась, вышли во двор, заговорили с ней так, словно знали ее всю жизнь, мужчина подшутил над ее аккордеоном, сказав, что он слишком большой для ее узеньких плеч, женщина не одобрила ее одежду, мол, сыпь пойдет от здешней влажной жары; ни мальчику Бояну и девочке Можань, они оба в присутствии старших вели себя тихо, но по взглядам, которыми они обменивались, Жуюй видела, что им есть что сказать друг другу; ни Шаоай, которая, по-королевски досадуя на суматоху, поднятую соседями из-за прибытия новой девочки, ушла из двора до того, как они отздоравливались с Жуюй.

Пожалуйста, сделай так, чтобы время с этими чужими прошло быстро и я поскорее встретилась с тобой. Она готова была окончить разговор, как обычно, извинением – всегда она просит слишком о многом, не предлагая ничего взамен, – и тут входная дверь открылась и громко захлопнулась; металлический колокольчик, который, она заметила, висел сверху на двери, зазвенел и тут же умолк, прихваченный чьей-то рукой. Тетя сказала что-то, и Шаоай – это она, должно быть, сейчас пришла – произнесла в ответ что-то резкое, но слов Жуюй не разобрала, потому что обе говорили вполголоса. Она посмотрела через комариную сетку на занавеску, отделявшую общую комнату от спальни – белый цветочный узор на синей хлопчатобумажной ткани, – и на световую полосу под занавеской.

Дом, построенный сто с лишним лет назад, предназначался для традиционной семейной жизни: посередине дома общая комната, проемы между ней и спальнями открытые, без дверей. Самая маленькая спальня – крохотная каморка справа от входной двери – была целым миром, миром Дедушки – Дядиногo отца, уже пять лет прикованного к постели после нескольких инсультов. Вечером после приезда Жуюй, показывая ей дом, Тетя ненадолго приподняла занавеску, и девочка увидела старика, лежащего под тонким серым одеялом; жизнь в его исхудалом лице оставалась только в тусклых глазах, которые повернулись к Жуюй. Он

издал какие-то невнятные звуки, и Тетя громко, но незло ответила, что все в порядке, беспокоиться ему не о чем. Жаль, сказала она Жуюй, что они не могут предложить ей отдельную спальню, а потом показала на занавеску, за которой лежал Дедушка, и тихо добавила: «Хотя кто знает. Эта комната может освободиться в любой день».

Спальня, которую Жуюй предстояло делить с Шаоай, была самая большая в доме и до ее приезда принадлежала Дяде с Тетей. Тетя извинилась, что мало что успела поменять, только поставила в углу новый письменный стол. В другой спальне – в бывшей спальне Шаоай – стол не помещался, а без него, сказала Тетя, никак нельзя: Жуюй нужен свой тихий уголок для занятий. Жуюй пробормотала что-то среднее между извинением и благодарностью; впрочем, Тетя, смахивая пыль с абажура настольной лампы – тоже новой, купила на распродаже вместе со столом, сказала она, – похоже, не расслышала. Жуюй невольно спросила себя, думали ли ее тети-бабушки, как их план на ее счет изменит жизнь других людей; если они что-то знали, то ей не сказали, и ее смутило, что такая маленькая персона может причинить столько неудобства. За ужином Шаоай фыркнула, когда Тетя напомнила ей показать Жуюй, как приладить комариную сетку; даже ребенок это может, сказала она, на что Тетя умиротворяющим тоном ответила, что хотела только, чтобы Жуюй поскорее освоилась на новом месте. Малоразговорчивый Дядя с печальной улыбкой подошел к столу в сильно поношенной нижней рубашке, но Тетя, взглянув на него, нахмурилась, и он поспешил в спальню и вернулся в приличной рубашке, аккуратно застегнутой. По ожидающим лицам Дяди и Тети Жуюй поняла, что ужин ради нее приготовлен особый, а позже вечером, неся воду для умывания из деревянной кадки рядом с кухней, она услышала, как Дядя успокаивает Тетю – мол, девочка, наверно, просто устала с дороги, – а Тетя отвечает, что поскорей бы к Жуюй вернулся аппетит, нехорошо в ее возрасте клевать по чуть-чуть, как птичка.

На занавеске спальни возникла человеческая тень: кто-то подошел к ней снаружи. Узнав профиль Шаоай, Жуюй закрыла глаза. Тетя что-то прошептала, но Шаоай вошла в спальню, не ответив. Она остановилась в полутьме и зажгла свет – голую лампочку, низко свисающую с потолка. Жуюй зажмурилась крепче; ей слышно было, как Шаоай ходит, что-то берет, кладет. Чуть погодя заработал электровентилятор, больше ничего вечернюю тишину не нарушало. Воздушный поток мигом поднял комариную сетку, и с подчеркнутым вздохом Шаоай заткнула ее нижний край под матрас.

– Тебе надо быть хоть ненамного умней, чем комары, – сказала она.

Жуюй не знала, извиняться ей или нет, и решила не открывать глаз.

– Не кутайся в одеяло, – сказала Шаоай. – Жарко.

Выдержав паузу, Жуюй ответила, что ей хорошо, и Шаоай не стала развивать тему. Она погасила свет и переоделась в темноте. Когда она забралась в кровать со своей стороны и поправила комариную сетку, Жуюй пожалела, что не легла заранее спиной к середине кровати. Теперь было поздно, поэтому она старалась лежать неподвижно и дышать тихо. Пожалуйста, сказала она мысленно, чувствуя, что Шаоай о ней думает, пожалуйста, окутай меня своей любовью, замаскируй, чтобы они меня не ощущали.

Позже, когда Шаоай заснула, Жуюй открыла глаза, посмотрела на комариную сетку наверху, серую и бесформенную, и прислушалась к шуму вентилятора. С тех пор как она сошла с поезда, миновало несколько часов, но тело все еще чувствовало движение, как будто сохранило в себе живую память о поездке. Много было всего в ее новой жизни, к чему надо было привыкнуть: общая уборная в конце дорожки, которую показала ей Можань; водопроводный кран посреди прямоугольного двора, у которого, Жуюй видела, собрались после захода солнца Боян и еще несколько молодых людей из двора, плескали холодной водой себе на голые торсы и по очереди подставляли под струю головы, чтобы освежиться; кровать, которую нужно делить с кем-то еще; трапезы под беспокойными взглядами Тети. Впервые за день Жуюй затосковала по кровати за старой муслиновой ширмой в передней однокомнатной квартиры своих теть-бабушек.

Послание Селии на автоответчике Жуюй звучало панически, как будто Селия попала в торнадо, но Жуюй была мало удивлена такой экстренностью. Вечером Селия должна была принимать свою обычную женскую компанию – пришла ее очередь. Эти ежемесячные посиделки начались как книжный клуб, но чем больше книг оставалось недочитанными и необсужденными, тем чаще вводилось другое: дегустация вин, дегустация чаев, сеанс вопросов и ответов с главой местного агентства по недвижимости, когда рынок пошел вниз, воскресный мастер-класс по изготовлению домашнего мыла и свечей. Селия, одна из трех основательниц книжного клуба, неофициально окрестила его Букингемским дамским обществом, но использовала это название только в разговорах с Жуюй, считая, что оно может быть обидным для тех, кто не в клубе, и для кое-кого из тех, кто в нем. Не все участницы книжного клуба жили на Букингем-роуд. Иные из них обитали на улицах с менее звучными названиями: Кент-роуд, Бристоль-лейн, Чаринг-Кросс-лейн, Норфолк-уэй. Дома на всех этих улицах были, конечно, вполне пристойные, и тамошние дети ходили в одну школу с ее детьми, но Селия, живя на Букингем, невольно испытывала удовольствие из-за тонкой разницы, выделяющей ее улицу.

Жуюй задалась вопросом, что могло случиться: флорист перепутал цветовую тему? Или кейтерер – новый, которого Селия решила попробовать по рекомендации подруги, – не оправдал ее ожиданий? Как бы то ни было, Жуюй нужна была ей срочно – пожалуйста, просила ее Селия по голосовой почте, приди пораньше, мне очень надо, ну просто очень, – не для того, конечно, чтобы исправить что-то, а просто для того, чтобы отдать должное ее персональному торнадо. Судьба не щадила Селию никогда, жизнь не скупилась для нее на разочарования и неприятности, которые она должна была испытывать ради всех, чтобы мир мог и дальше быть благополучным местом, свободным от подлинных бедствий. К мученичеству Селии знакомые большей частью относились не слишком почтительно, считая его проявлением драматической сосредоточенности на своей персоне, но Жуюй, одна из очень немногих, кто принимал жертвенность Селии всерьез, видела источник ее страданий: Селия, хоть и ушла потом из Церкви, выросла в католической семье.

Эдвин и мальчики будут ужинать вне дома, а потом на матч

«Уорриорз»<sup>[2]</sup>, сказала Селия, когда Жуюй явилась к Мурлендам. Утром, сказала Селия, в окно влетел дрозд, стал биться о стекло, и включился сигнал тревоги, слава богу, окно не разбилось, и садовник Луис был рядом, выпустил бедную птицу. Доставка опоздала на семнадцать минут, так что не было ли мудро с ее, Селии, стороны сдвинуть время на полчаса в более раннюю сторону? Подробно передавая свой разговор с кейтерером, Селия вдруг остановилась.

– Джуди, – сказала она. – Джуди.

– Да, – отозвалась Жуюй. – Я слушаю.

Селия пересекла кухню и села с Жуюй в уголке для завтраков. Стол и скамьи были сделаны из древесины старой кенсингтонской конюшни, куда бабушка Селии, любила она рассказывать гостям, приходила брать уроки верховой езды.

– У тебя рассеянный вид, – сказала Селия, подвигая к Жуюй стакан воды.

Женщине, которую Селия знала как Джуди, следовало быть внимательной, неотвлекающейся слушательницей. Жуюй поблагодарила Селию за воду и сказала, что нет, ничто ее особенно не заботит. Селии и кружку ее подруг, многие из которых должны были скоро тут появиться, Жуюй могла, смотря по необходимости, быть полезна в разных качествах: репетитор по мандаринскому китайскому, человек, которому можно поручить дом и питомцев на время отъезда, срочный бэбиситтер, продавщица с неполным рабочим днем в кондитерском бутике «*La Dolce Vita*»<sup>[3]</sup>, помощница во время вечеринок. Но Селии она была предана как никому другому, ибо именно она нашла для Жуюй все эти возможности, в том числе работу в бутике – в семейном бизнесе на протяжении трех поколений, которым владела сейчас школьная подруга Селии.

Селия не часто замечала что-либо помимо того, что заботило ее непосредственно; тем не менее иногда, пребывая в расстроенных чувствах, она оказывалась восприимчива к чужим настроениям. В такие минуты она дотошно требовала объяснений, как будто острая потребность знать подоплеку чужих страданий давала путь к избавлению от своих. Жуюй не знала, как она сейчас выглядит со стороны, и пожалела, что не воспользовалась косметикой, прежде чем войти в дом.

– Ты какая-то сама не своя сегодня, – сказала Селия. – Не говори мне, что у тебя был трудный день. У меня день и без того поганый.

– Вот тебе мой день: утром сидела в магазине; потом заехала в химчистку; покормила кошек Карен; прошлась пешком, – отозвалась



Жуюй. – Теперь объясни мне, откуда у меня мог взяться трудный день.

Селия вздохнула и сказала, что, конечно, Жуюй права.

– Ты не представляешь, как я тебе завидую.

Жуюй слышала это от нее нередко, и порой она почти верила, что Селия говорит искренне.

– На автоответчике твой голос звучал трагически, – сказала Жуюй. – Что случилось?

Случилось, ответила Селия, форменное безобразие. Она вышла и вернулась с двумя белыми футболками. Днем она участвовала во встрече, посвященной сбору средств на крупный художественный фестиваль в Сан-Франциско, и в комитете был писатель, автор подростковых детективов-бестселлеров.

– Казалось бы, это не так много – попросить автора подписать пару футболок для своих поклонников, – сказала Селия. – Казалось бы, ни один приличный человек не способен опуститься до такого.

Она с отвращением кинула футболки Жуюй на колени, и та разложила их на столе. Черным маркером, большими печатными буквами на них было написано: «Джейку, будущему сироте» и «Лукасу, будущему сироте»; далее на каждой – неразборчивая подпись.

Возможно, писатель просто решил пошутить, хулигански подмигнуть ребятам за спиной у их мамы; или это было больше чем шутка, желание открыть им непреложную истину, которую от родителей ребенку не узнать.

– Недопустимо, – сказала Жуюй и сложила футболки.

– Ну и что мне теперь делать? Я обещала мальчикам получить его подпись. Как я им объясню, что человек, которым они восхищаются, – козел? Просто мудака. – Селия глотнула вина, словно желала смыть неприятный вкус. – Слава богу, Эдвин забрал их прямо из школы, так что можно отложить на потом.

Бедная наивная Селия, верящая, как большинство людей, в пресловутое *потом*. Надежно отодвинутое, *потом* сулит возможности: перемены, решения проблем, награды, счастье – все слишком далекое, чтобы быть вполне реальным, но достаточно реальное, чтобы давать облегчение, выход из клаустрофобного кокона под названием *сейчас*. Если бы только Селия не была так слаба, если бы в ней по отношению к себе хватало доброты и жесткости одновременно, чтобы перестать говорить о *потом*, об этом бессердечном уничтожителе *сейчас*...

– И что же, – спросила Жуюй, – ты им думаешь сказать потом?

– Что я забыла?.. – неуверенно ответила Селия. – Что еще я могу сказать? Пусть лучше дети на тебя сердятся, пусть лучше муж будет в тебе

разочарован, чем разбить чье-то сердце. Я тебе честно скажу, Джуди, очень умно с твоей стороны не иметь детей. И еще умнее не желать снова выйти замуж. Оставайся так, как ты есть. Иногда я думаю, как проста и красива твоя жизнь, – и говорю себе, что именно так должна обращаться с собой женщина.

Будь Селия другим человеком, Жуюй, возможно, нашла бы ее слова неприятными, даже недобрыми, но к Селии, верной себе, неизменно чуждой сомнений в справедливости своих слов, Жуюй испытывала пусть не дружеское чувство, но нечто настолько близкое к нему, насколько она готова была для себя допустить. Она расправила футболки, изучила почерк и спросила Селию, нет ли у нее двух других белых футболок. А что? – спросила Селия, и Жуюй ответила, что они могли бы решить проблему своими силами. Ты шутишь, конечно, сказала Селия, но Жуюй возразила: нет, нисколько. Позаимствовать имя автора, чтобы порадовать двух подростков, – что в этом ужасного?

Селия неуверенно принесла две другие футболки, и Жуюй спросила ее, с какой надписью она была бы не прочь отправлять сыновей в школу.

– Ты уверена, что мы поступаем правильно? Не хочу, чтобы мои мальчики считали меня лгуньей.

Писатель, хотела Жуюй напомнить Селии, как раз-таки не солгал.

– Единственная лгунья тут я, – сказала она. – Смотри в сторону.

– Что если другие в школе поймут, что подписи не настоящие? Это законно вообще?

– Бывают преступления и похуже, – сказала Жуюй.

Прежде чем Селия могла бы воспротивиться, она начала выводить, старательно подражая почерку писателя, послания надежды и любви дорогому Джейку и дорогому Лукасу. Поставив на каждой футболке подпись и дату, Жуюй сложила их и пообещала, что сама избавится от уличающих неудачных экземпляров, чтобы Селии не пришлось совершать недолжных действий.

Послышался шум приближающейся машины; дверца другой машины открылась и захлопнулась. Начали съезжаться гости, и Селию наполнила нервозность публичности, энергия аффектации, сцены. Жуюй движением руки показала: иди встречать, забудь про меня. Она сунула нежеланные футболки к себе в сумку, пошла в спальни подростков и положила те, что надписала, им на подушки.

Темой вечера был недавний бестселлер – книга, написанная женщиной, которая назвала себя «китайской матерью-тигрицей». Как всегда, встреча началась с разговоров про детей, мужей, семейный отдых,

про концерты и выступления в предстоящие выходные. Жуюй то входила в гостиную, то выходила, подливала вина, передавала еду, будучи чем-то средним между подругой семьи и платной работницей. Приветливая с гостями, многие из которых тем или иным образом пользовались ее услугами, в их разговоры Жуюй, однако, не вступала, ограничиваясь то поощряющей улыбкой, то вежливым восклицанием. Зная, как женщины ее воспринимали, Жуюй играла эту роль без труда: образованная иммигрантка без перспективной трудовой специальности, одинокая, но уже не столь молодая; съемщица жилья; вполне надежная наемная помощница, умеющая и с собаками, и с детьми обращаться по-доброму, но твердо и никогда не заигрывающая с мужьями; женщина, которую, на ее счастье, Селия взяла под крыло; зануда.

Когда начали обсуждать книгу, Жуюй ушла на кухню. Обычно во время таких встреч она не отлучалась так основательно: ей нравилось сидеть на периферии, нравилось слушать голоса женщин, не вникая в смысл, смотреть на их шали мягких расцветок, на ожерелья работы местного мастера, которому они оказывали покровительство на групповой основе, на их туфли, элегантные, или дерзко-яркие, или беззастенчиво уродливые. Быть там, где она есть, быть тем, что она есть, устраивало ее. Надо относиться к себе намного серьезнее, чтобы быть кем-то определенным – занять полностью внешнее положение или же претендовать на право быть другом, возлюбленным, значимым лицом. Интимность и отчуждение – и то и другое требовало таких усилий, каких Жуюй не хотела совершать.

Селия остановилась у входа в кухню.

– Не хочешь побыть с нами? – спросила она.

Жуюй покачала головой, и Селия, помахав ей, двинулась дальше в туалет. Если бы Селия принялась настаивать, Жуюй сказала бы, что такие темы, как материнство, выбор школ для детей и «мать-тигрица» (которая даже не была китаянкой, только назвалась ею ради пиара), мало ее интересуют.

Жуюй рассматривала цветы на столе – букет из маргариток, ирисов и осенних листьев в половинке тыквы; вокруг были художественно расположены несколько плодов хурмы. Она отодвинула один плод чуть подальше и задалась вопросом, заметит ли кто-нибудь измененную композицию, менее уравновешенную теперь. Жизнь Селии, насыщенная и текучая, полная всевозможных обязательств и кризисов, была тем не менее демонстрацией вдумчиво спланированной безупречности: высокие арочные окна ее дома смотрели на залив Сан-Франциско, приглашая в гостиную

постоянно меняющийся свет – золотое калифорнийское солнце летними днями, серый дождевой свет зимой, утренний и вечерний туман круглый год; три плакучие березы перед домом – березы, сказала ей Селия, не объяснив почему, надо сажать по три, – оживляли фасад белизной своей коры, внося вдобавок асимметрию в дизайн передней лужайки, которая иначе смотрелась бы скучновато; сверкающая суперсовременность кухни смягчалась безукоризненным подбором натюрмортов – плоды, цветы, глиняные сосуды, свечи в подсвечниках, подходящие по цвету к времени года или празднику; многие уголки дома были декорированными каждый на свой лад подмостками, где полученные в наследство или купленные в той или иной поездке предметы давали одинокие демонстрационные спектакли. Селия и ее семья, вечно на бегу – футбольные тренировки, музыкальные уроки, гончарное дело, йога, мероприятия по сбору средств, школьные аукционы, поездки на лыжные курорты, в пешие походы, к океану, за границу с погружением в разнообразные культуры и кухни, – во многом оставляли дом нетронутым, и Жуюй, возможно, получала большее, чем кто-либо, удовольствие от дома как от красивого объекта: он то и дело мимолетно радует тебя, но ты не желаешь им овладеть, и тебе не будет больно с ним расстаться.

Женские голоса, долетавшие из гостиной, поминутно меняли окраску, в них звучало то негодование, то сомнение, то беспокойство, то паника. За прошедшие годы Жуюй благодаря этим встречам и работе на некоторых из женщин познакомилась с каждой достаточно, чтобы жалеть их, когда они собирались компанией. Ни одна из них не была неинтересной, но вместе они своей предсказуемостью словно бы отрицали индивидуальность друг друга. Ни разу ни одна из них не пришла растрепанной, ни разу ни одна не отважилась признаться другим, что одинока, или тоскует, или ей душно за безупречным фасадом хорошей жизни. Искать себе подобных их, должно быть, заставляла отгороженность, но в гостиной Селии, сидя с остальными, каждая из женщин казалась всего лишь более храбро отгороженной.

Жуюй познакомилась с Селией семь лет назад, когда Селия искала замену няне с проживанием, которая возвращалась в Гватемалу, накопив достаточно денег, чтобы построить два дома: один для родителей, один для себя и дочери. Конечно, Ана Луиса своим отъездом разбивала ей сердце, сказала Селия Жуюй по телефону, когда та откликнулась на объявление Селии на местном родительском сайте; но разве можно за нее не порадоваться? Жуюй резко отличалась от других претенденток: у нее не было опыта работы с детьми, и жила она довольно далеко. Но няня, владеющая мандаринским, лучше, чем испаноязычная, объяснила Селия

Эдвину свое решение позвонить Жуюй.

Когда Селия пригласила ее к себе на собеседование, Жуюй сказала, что у нее нет машины и там, где она живет, нет общественного транспорта, поэтому не могла бы Селия, если она заинтересовалась, сама приехать провести собеседование? Позднее, когда Жуюй заняла в жизни Селии прочное место, Селия любила рассказывать подругам, каким чудом наивности была Жуюй: кто, кроме Селии, потратил бы полтора часа езды на машине ради встречи с потенциальной няней?

Но почему Селия согласилась? Жуюй порой хотелось задать ей этот вопрос, хотя ответ не был важен – значение имело то, что Селия не пожалела-таки времени на знакомство с ней, а если бы не Селия – Жуюй никогда в этом не сомневалась, – нашлась бы другая, готовая сделать то же самое.

Очутившись в коттедже Жуюй, который в рекламе недвижимости назвали бы «жемчужиной»: собственный сад, вид на каньон, – Селия не сумела скрыть удивления и смятения. Она при всем желании не сможет позволить себе Жуюй, сказала она: все, что у нее есть, – это комната для прислуги на первом этаже.

Но это вполне подойдет, ответила Жуюй, и объяснила, что ее работодатель женится через несколько месяцев и она хотела бы уехать до свадьбы, потому что ей нет причин оставаться его экономкой. Селию, Жуюй видела, привела в замешательство связь между коттеджем и трехэтажным жилым зданием в колониальном стиле на том же участке, которое Селия наверняка увидела, проезжая, – как и характер отношений между Жуюй и Эриком, которого она назвала всего лишь своим работодателем.

Странноватая, сказала потом Селия, описывая китаянку Эдвину; даже чудная, но в то же время приятная, чистоплотная, прекрасно говорит по-английски и заслуживает какой-никакой помощи. Жуюй не распространялась о том, какими в точности были ее отношения с работодателем, но Селия верно догадалась, что в круг ее обязанностей входил и секс. О других обстоятельствах своей жизни Жуюй во время той первой встречи с Селией рассказала вполне откровенно: первый раз она вышла замуж в девятнадцать – вышла за китайца, которого приняли в американскую магистратуру; она сделала это, чтобы уехать из Китая. Второй брак – с американцем – был ради грин-карты; она в конце концов получила бы ее и через первого мужа, но не хотела оставаться с ним те пять-шесть лет, что были для этого нужны. Она получила диплом бакалавра по бухгалтерскому делу в одном из университетов штата и то

работала, то нет, но никакой карьеры не сделала и довольна этим, потому что не питает большой любви ни к цифрам, ни к деньгам. Последние три года была экономкой у своего работодателя и теперь хочет переменить положение – нет, не в смысле опять выйти замуж, ответила Жуюй, когда Селия из любопытства спросила, думает ли она найти нового мужа; она хочет, сказала Жуюй, всего лишь найти заработок.

Позвонив неделю спустя снова, Селия не предложила Жуюй место няни, но сказала, что нашла для нее обставленный коттедж, доступный на три летних месяца. Согласилась ли бы Жуюй в нем поселиться – плату за все три месяца просят сразу – и работать на нее с неполной занятостью? Она с радостью поможет Жуюй устроиться, найдет ей другой коттедж, где можно будет жить с осени, и порекомендует ее еще нескольким семьям, чтобы они пользовались ее услугами время от времени. Без колебаний Жуюй согласилась.

Открылась дверь гаража; что-то нескромное слышалось в этом звуке, он напоминал Жуюй урчание в животе. Даже после стольких лет в Америке ее зачаровывало интимное соглашение, которое этот звук подтверждал: дверь открывается и потом закрывается, но ни отправление, ни прибытие сквозь нее не означает ничего травмирующе постоянного. Сидя у Селии на кухне и слыша, как возвращается ее муж, Жуюй на секунду позволила себе вообразить возможность чего-то такого для себя, в своей жизни. Нетрудная, в общем-то, задача, два предложения она получила и приняла – но сама в итоге уходила. Если бы осталась в одном или другом браке, неизбежно сделалась бы неотличима от этих женщин в гостиной; мысль ее позабавила. «Твоя проблема, – сказал ей Эрик, когда с Селией все было окончательно решено и она сообщила ему о переезде, – в том, что ты ничего не желаешь сильно. Хотя я думаю, тебе благодаря этому все всегда будет удаваться».

Эрик был умнее ее бывших мужей и не предлагал слишком многого; при этом он потакал ей, предоставляя столько простора, сколько ей нужно было, и ясно давая понять, что она не должна ни в каком смысле чувствовать себя привязанной к нему. Порой она спрашивала себя, не следует ли ей по этой причине отнестись к нему лучше. Но что значит отнестись к мужчине лучше? Стать более зависимой от него, более требовательной к нему? Так или иначе, сейчас думать об этом не было смысла. Несколько лет назад Эрик попал в местные новости, выдвинувшись в законодательное собрание штата и влипнув в нехорошую историю со сбором средств. К вопросу о желающих чего-либо сильно.

Селия, которая тоже, вероятно, прислушивалась, покинула круг дискутирующих и попросила Жуюй показать ее сыновьям футболки – тон

ее голоса был чуточку повышенным, нервным, аффектированным, и Жуюй знала из-за чего: из-за необходимости солгать своим детям. Именно в такие минуты Жуюй испытывала нежность к Селии, которая, несмотря на постоянную потребность во внимании и склонность мелочно соревноваться с подругами и соседками, была, в конечном счете, женщиной с хорошим, мягким сердцем.

Немного позже, когда подростки уже были в постели, в кухню вошел Эдвин. В гостиной женщины все еще спорили о том, как лучше всего воспитывать детей, чтобы они выросли конкурентоспособными на мировом рынке. Жаркое сегодня обсуждение, заметил он и, коснувшись ножки винного бокала, передумал. Налил себе воды.

Безусловно, Селия верно выбрала книгу, сказала Жуюй и подошла к раковине до того, как Эдвин сел за стол.

– Начну наводить порядок, – сказала она. – У Селии был непростой день.

Эдвин предложил помочь, но предложил, Жуюй чувствовала, довольно вяло. Вероятно, все, чего он хотел, – это чтобы женщины, обсуждающие будущее американского образования, освободили его дом. Нет, сказала она, помощи не требуется. Эдвин поддерживал беседу, говоря о незначительных вещах: о сегодняшней победе «Уорриорз», о новом фильме, на который Селия предложила сходить в выходные, о планах Мурлендов на День благодарения, о диковинной статейке в газете про человека, изображавшего из себя врача и предписавшего своей единственной пациентке, пожилой женщине, есть арбузы в горячей ванне. Жуюй подумала, что Эдвин, может быть, ведет с ней разговор из милости; ей хотелось сказать ему, что она бы не возражала, если бы он сейчас и в любое время обращался с ней как с предметом мебели или бытовым приспособлением в своем хорошо оборудованном доме.

Эдвин работал в компании, которая специализировалась на электронных книгах и на обучающих игрушках для маленьких детей. Хотя Жуюй не знала в точности, чем он занимается – вроде бы разработкой персонажей, привлекательных для малышей, – ей приходило в голову, что Эдвину, высокому тихому человеку родом из сельской части Миннесоты, лучше подошло бы амплу сопереживающего семейного врача или блестящего, но неуклюжего математика. Проводить рабочие дни за размышлениями о говорящих гусеницах и поющих медведях – это, казалось, принижало такого человека, как Эдвин, хотя, возможно, это был неплохой выбор, точно так же, как неплохим выбором для него была Селия.

– Как ваши дела – все хорошо? – спросил Эдвин, когда запас тем

истощился.

– А как у меня может быть нехорошо? – отозвалась Жуюй.

В ее жизни очень мало было того, чем стоило поинтересоваться; такие универсальные сюжеты, как дети, служба и семейный отдых, были к ней неприменимы.

Эдвин размышлял, сидя над стаканом с водой.

– Для вас, должно быть, это обсуждение странно звучит, – сказал он, кивая в сторону гостиной.

– Странно? Нет, почему, – возразила Жуюй. – Мир нуждается в женщинах, полных энтузиазма. Жаль, что я не из их числа.

– А вам бы хотелось быть из их числа?

– Ты либо такая, либо нет, – сказала Жуюй. – Желание ничего не меняет.

– Они нагоняют на вас скуку?

Если бы ее спросили, считает ли она Эдвина, Селию или кого-либо из ее подруг занудой, она была бы не готова дать такую характеристику, но не готова потому, что никогда по-настоящему не задумывалась, что представляет собой Эдвин, или Селия, или кто бы то ни было. У Эдвина, никогда не отличавшегося сверхвыразительностью мимики, сейчас лицо было особенно неопределенным. Жуюй редко позволяла общению с ним выходить за рамки поверхностной вежливости, поскольку было в нем что-то такое, что не просматривалось насквозь. Он говорил не настолько много, чтобы выставлять себя дураком, но то, что он говорил, рождало в голове вопрос, почему он не говорит больше. Не будь он ничьим мужем, она присмотрелась бы пристальнее, но любое покушение на права Селии было бы бессмысленным осложнением.

После долгой паузы, которую Селия, конечно, заполнила бы много чем, а Эдвин имел терпение прождать, Жуюй сказала:

– Только скучный человек находит других людей скучными.

– А вы, получается, находите их интересными.

– На многих из них я работаю, – сказала Жуюй. – А с Селией мы дружим.

– Конечно, – подтвердил Эдвин. – Я про это забыл.

Про что он забыл – про то, что женщины в гостиной давали Жуюй больше половины ее дохода, или что не кто иной, как его жена, была ангелом, сотворившим для нее это чудо? Жуюй загрузила тарелки в посудомойку. Ей хотелось, чтобы Эдвин перестал чувствовать себя обязанным составлять ей компанию, пока она играет в его доме роль полухостес. У себя в коттедже она готовила на плитке, ела, стоя у



разделочного стола, и на посудосушилке, которую оставила предыдущая жилища, большую часть времени было пусто и сухо. В кухне Селии Жуюй нравилось аккуратно расставлять тарелки, чашки и бокалы – они, в отличие от людей, не искали случая треснуть, разбить себе жизнь. Она продолжала трудиться молча, и чуть погодя Эдвин спросил, не обидел ли он ее.

– Нет, – вздохнула она.

– Может быть, у вас есть ощущение, что мы вас не ценим, принимаем как само собой разумеющееся?

– Кто? Вы и Селия?

– Все, кто здесь есть, – ответил Эдвин.

– Людей сплошь и рядом принимают как само собой разумеющееся, – сказала Жуюй. Каждая из женщин в гостиной могла бы предъявить длинный список жалоб на то, что ее не ценят. – Я не единственный случай, когда не хватает особого внимания.

– Но мы жалуемся.

Жуюй повернулась и посмотрела на Эдвина.

– Так вперед, жалуйтесь, – сказала она. – Но не ждите этого от меня.

Эдвин покраснел. Не надо раскрывать душу, когда об этом не просят, сказала бы она, не будь Эдвин ничьим мужем, но вместо этого извинилась за резкость.

– Не обращайтесь внимания на мои слова, – попросила она его. – Селия сказала, что я сегодня не похожа на себя.

– Что-нибудь случилось?

– Узнала о смерти одной знакомой, – ответила Жуюй с ощущением собственного зловередства: Селии она бы этого не сообщила, пусть даже Селия была бы в десять раз настойчивей.

Эдвин сказал, что сочувствует всей душой. Жуюй знала, что он бы не прочь ее расспросить; Селия гналась бы за каждой подробностью, но Эдвин выглядел неуверенным, словно его пугало собственное любопытство.

– Ничего такого, – сказала Жуюй. – Люди смертны.

– Можем мы что-нибудь сделать?

– Никто ничего не может сделать. Ее уже нет на свете, – сказала Жуюй.

– В смысле – сделать что-нибудь для вас?

Поверхностная доброта проявлялась сплошь и рядом, безвредная, пусть и бессмысленная, так что же мешает, подумала Жуюй, воздать Эдвину должное за то, что он воспитанный человек, автоматически откликающийся на новость о смерти, которая никак его не касается? Она была знакома с умершей совсем недолго, сказала она, постаравшись

замаскировать раздражение зевком.

– И все же... – колебался Эдвин, глядя на свою воду.

– Что – все же?

– У вас печальный вид.

Жуюй почувствовала прилив незнакомого гнева. Какое право имеет Эдвин лезть в нее в поисках горя, которое ему хочется обнаружить?

– Я не имею права на такие переживания, – сказала Жуюй. – Видите, я самая настоящая зануда. Даже когда кто-то умирает, я не могу претендовать на трагедию.

Резко сменив тему, она спросила, довольны ли остались мальчики подписанными футболками. Эдвин, казалось, был разочарован; он пожал плечами и ответил, что для Селии это значит больше, чем для них.

– Мама есть мамы, известное дело, – сказал он. – Кстати говоря, вас не мать-тигрица вырастила?

– Нет.

– Что в таком случае вы думаете обо всей этой шумихе?

Если бы она могла, к чему подталкивала ситуация, сказать что-нибудь остроумное... но закатывать глаза и говорить остроумные вещи – это было ей так же чуждо, как презрение Джейка в восемь лет к семье приятеля, где едят не такую лососину, какую надо, или беспокойство Селии из-за рождественских гирлянд, чтобы они не выглядели ни слишком кричаще, ни слишком скромно. Свобода действовать и свобода судить, подрывающие одна другую, в сумме дают обильный источник тревоги и мало что сверх того. Не потому ли, подумалось Жуюй, американцы с такой охотой умахают себя – смеясь друг над другом или, тактичнее, над собой, – хотя нет прямой опасности, перед которой лучше не выставляться? Но опасность в форме бедности, летящих пуль, незаконных государств и недобросовестных друзей если не дарит дорогу к счастью, то по крайней мере проясняет твои страдания.

Жуюй бросила на Эдвина жесткий взгляд.

– Эта тема не кажется мне достойной обсуждения, – сказала она.

В разгар пекинского лета, когда влажный зной лишь изредка умеряется грозами, возникало ощущение, что такая же жизнь, как сегодня, будет и завтра, и послезавтра, и всегда. Казалось, арбузные корки на обочинах будут гнить, и гнить, и привлекать тучи мух; в переулках мутные лужи от переполненных стоков уменьшались в ясную погоду, но не успевали высохнуть совсем до очередной восполняющей грозы; дедушки и бабушки, сидящие около бамбуковых колясок в тени дворцовых стен, обмахивали внуков огромными веерами из осоки, и если закрыть глаза, а потом открыть, можно было почти поверить, что веера, и младенцы, и морщинистые старики – те же, что на редком фотоснимке столетней давности из путевого альбома заезжего миссионера, которого в итоге казнят в соседней провинции за распространение скверны.

Жизнь, уже старая, не старела. Именно этот Пекин с его тягучей, томной атмосферой Можань любила больше всего, хотя ее беспокоило, что он мало значит для Жуюй, которая, похоже, косо смотрела и на город, и на энтузиазм Можань. Попытавшись увидеть Пекин словно впервые, увидеть глазами новоприбывшей, Можань испытала минутную панику: может быть, и нет ничего поэтического в этих звуках и запахах, в нечистоте и скученности большого города? Когда мы помещаем того или то, что любим, перед чьим-то недоверчивым взором, мы чувствуем себя приниженными наряду с предметом любви. Будь Можань более опытна, владей она навыками самозащиты, она без труда замаскировала бы свою любовь показным цинизмом или хотя бы равнодушием. Бесхитростная в юном возрасте, она могла только загонять себя в угол надеждой, перераставшей в отчаяние.

– Конечно, это всё ненастоящие моря, – извиняющимся тоном сказала Можань, прислонив велосипед к иве и сев рядом с Жуюй на скамейку.

Они были на берегу искусственного водоема под названием Западное море, и Можань показала рукой, где находятся другие моря, к которым они с Бояном водили Жуюй накануне, как водят всех туристов: Заднее, Переднее и Северное. На прошедшей неделе они познакомили Жуюй с городом, с его храмами и дворцами, как если бы она была их родственница из других мест.

– Почему тогда их называют морями? – спросила Жуюй.

Ее не интересовал ответ, но она знала, что каждый вопрос дает ей

некоторую власть над тем, кого она спрашивает. Ей нравилось видеть готовность собеседника ответить, порой, что совсем глупо, радостную готовность; людям невдомек, что, давая ответ, они выставляют себя на суд.

– Может быть, потому, что Пекин не на берегу океана? – неуверенно предположила Можань.

Жуюй кивнула, достаточно покладисто настроенная сейчас, чтобы не указывать Можань, что в ее словах мало смысла. За считанные дни Жуюй поняла, что Можань не зря получила место в ее новой жизни, что от такого человека ей будет польза, но это не мешало ей хотеть, чтобы Можань держалась на расстоянии или не существовала вовсе.

– Ты была когда-нибудь на море? – спросила Можань.

– Нет.

– Я тоже нет, – сказала Можань. – Хотелось бы когда-нибудь посмотреть на океан. Боян и его семья ездят каждое лето.

Это так похоже на Можань, подумала Жуюй: сообщать сведения, когда никто об этом не просит. Это герань, она у всех тут растет на подоконниках, отгоняет насекомых, объяснила ей Можань наутро после ее приезда, когда увидела, что Жуюй смотрит на цветы. Двум магнолиям посреди двора пятьдесят лет, не меньше, их посадили как супружескую пару – на счастье. Поздним летом все должны беречься ос, потому что на виноградных лозах, которые вырастил в конце двора учитель Пан, очень сочные гроздья. У гранатового дерева около забора, которое сейчас роняло изобильные, огненного цвета лепестки, плоды несъедобные, зато дерево в соседнем дворе, хоть цветет и не так красиво, приносит самые сладкие гранаты на свете. Она рассказала про каждую семью. Учитель Пан и его жена учительница Ли оба преподают в начальной школе, и они решили между собой, что будут работать в разных школах и даже в разных районах, потому что скучно было бы постоянно находиться вдвоем среди одних и тех же людей; только младший из их троих детей еще учится в школе, старшие работают на фабриках, но все трое живут дома. Старый Шу, вдовец, у которого все дети обзавелись семьями, живет с матерью, ей следующим летом будет сто лет. Арбуз Вэнь, шумный и веселый водитель автобуса, получил свое прозвище из-за круглого живота; у них с женой, такой же шумной и толстой трамвайной кондукторши, пара близнецов, они в школу еще не ходят. Иногда мама их не различает и называет каждого из двух Арбузиком. Родители Можань работают в Министерстве шахт, папа – научный работник, мама – служащая.

Только глупые люди, по мнению тетень-бабушек Жуюй, делятся без разбора теми малыми знаниями, какими владеют; случалось, в эту

категорию попадали даже учителя. Жуюй неизменно находила мир предсказуемым, поскольку он был полон людей, подтверждавших словом и делом убежденность ее теть в малости всякого смертного ума.

Жуюй смотрела, как Можань соорудила из нескольких ивовых листьев парусное суденышко и пустила по воде. Глупое занятие, раздался у Жуюй в ушах голос ее теть-бабушек.

– А почему ты не едешь на море с Бояном? – спросила она.

Можань засмеялась.

– Я же не из его семьи.

Жуюй посмотрела на Можань таким взглядом, словно ждала, чтобы та подкрепила свою шаткую логику чем-то более разумным, и Можань поняла, что под семьей Жуюй, вероятно, имеет в виду не то, что она. До ее приезда Можань и Боян говорили про нее между собой, но ни он, ни она не представляли себе, как это – быть сиротой. Давно, когда учитель Пан и учительница Ли купили первый в их дворе черно-белый телевизор, соседи собирались у них дома смотреть передачи. Однажды показывали фильм про голод в провинции Хэнань, в котором девочка, потерявшая обоих родителей, вышла на перекресток и всунула в волосы длинную травинку, давая этим знать, что она продается. Можань было тогда шесть лет, столько же, сколько девочке в фильме, и горделивое спокойствие сироты на экране произвело на нее такое впечатление, что она заплакала. Какое доброе сердце у ребенка, сказали взрослые, не понимая, что Можань заплакала не от жалости, а от стыда: она бы никогда не смогла быть такой же красивой и сильной, как эта сирота.

Перед приездом Жуюй Можань часто задумывалась об этом фильме. Знает ли Жуюй хоть что-нибудь о своих родителях? Похожа ли она на ту девочку, что ждала на перекрестке, чтобы ее купили, встречая презрительной улыбкой сиротскую судьбу? То, что рассказывала Тетя о тетях-бабушках Жуюй и о том, как она росла, звучало расплывчато, и Можань трудно было представить себе жизнь Жуюй. Боян, однако, не придавал всему этому большого значения – еще бы, Можань заранее знала, что он не будет.

– Я хочу сказать... – пустилась Можань сейчас в объяснения. – Это в его семье традиция – ездить летом на море.

– А твоя семья почему не ездит?

Был бы Боян здесь, подумала Можань, он высмеял бы и своих родителей, и себя за то, что они такая семья, которая ездит на отдых. Из всех семей, какие знала Можань, ни одна на отдых не ездила – люди снимались с места только по особым случаям вроде свадьбы или похорон.

Сама идея переместиться куда-то на неделю или две выглядела претенциозной, достоянием праздных иностранцев из заграничных фильмов.

– Каждая семья живет по-своему, – сказала Можань.

Как бы то ни было, она невольно жалела, что ни разу не побывала нигде, кроме Пекина и его окрестностей. Более того, выросшая в старом городе, она по пальцам одной руки могла пересчитать свои вылазки во внешние районы: один раз весной со школой к Великой стене на поезде, да еще несколько велосипедных поездок с Бояном – два-три часа до какого-нибудь храма или ручья, там небольшой пикник, и обратно.

– А вы с тетями ездите отдыхать? – спросила Можань и тут же почувствовала холод во взгляде Жуюй. – О, прости, я слишком любопытная.

Жуюй извиняюще кивнула, но ничего не сказала. Она никогда не сомневалась в своем праве задавать вопросы другим, но позволить кому-то задать вопрос ей значило наделить этого человека статусом, которого он не заслуживает: Жуюй знала, что держит ответ только перед тетями и, поверх них, перед Богом.

Впервые сейчас они проводили время вдвоем, и уже Можань наделала ошибок, оттолкнула от себя Жуюй. Вновь Можань пожалела, что с ними нет Бояна, – он направил бы разговор в другую сторону. Но было воскресенье, а воскресенье Боян проводил у родителей, они оба были профессора и жили в хорошей квартире в западной части города недалеко от университета, где преподавали. Их дочь, сестра Бояна, была старше его на десять лет. Ее с детства признали вундеркиндом, и, проучившись в старшей школе и колледже в общей сложности всего три года, она получила стипендию и уехала в Америку учиться у нобелевского лауреата; а сейчас, когда ей было без нескольких месяцев двадцать шесть, ей уже дали пожизненную должность профессора физики. «Калифорнийский университет, Беркли», – возвестили родители Бояна обитателям двора, когда заглянули туда, что делали редко, ради того, чтобы сообщить новость. Можань каждый звук, произнесенный ими в тот день, причинял боль: она знала, что в их глазах ее родители и все их соседи – люди со слабыми умственными способностями и ничтожными амбициями. Даже Бояна, самого умного из знакомых Можань ребят, они считали не бог весть кем по сравнению с сестрой. У Можань иногда мелькала мысль, что родители, может быть, не хотели его вообще: с самого рождения его растила бабушка по отцу, давняя жительница их двора; с сестрой до ее отъезда в Америку у него не было возможности познакомиться как следует, и с родителями, у

которых он бывал по воскресеньям, он тоже не был близок. Он обедал у них, ужинал и иногда делал что-то по дому, что требовало юношеской силы.

Четверо мальчиков до десяти, голые выше пояса, прошли мимо Жуюй и Можань и плюхнулись в воду, у двоих помладше скользкие тела были продеты в автомобильные камеры.

– Ты умеешь плавать? – спросила Можань, довольная поводом заговорить о другом.

– Нет.

– Может быть, я тебя научу. Это лучшее место для зимнего купания. Нам с Бояном пока тут не разрешают после осеннего равноденствия, но через несколько лет мы точно будем, а к тому времени и ты подучишься плавать. Когда мы повзрослеем – в восемнадцать или в двадцать, – мы все сможем приходить на плавательный праздник в день зимнего солнцестояния.

Низко над водой носились острохвостые стрижи; в ивах выводили трели цикады. На дороге, тянувшейся вдоль берега, показался торговец на трехколесном грузовом велосипеде, он выпевал сорта пива, которое лежало у него в кузове на колотом льду, и то и дело останавливался, когда по аллейке подбегал ребенок с деньгами в поднятом кулачке, посланный старшими за бутылкой или двумя. Была вершина лета, вечерело, но жара не спадала, однако Можань говорила о зиме и последующих зимах так же непринужденно, как о сегодняшнем ужине по возвращении домой. Еще страннее была уверенность Можань – такую же уверенность Жуюй заметила и у Бояна, – с какой она включала ее в свое будущее. То, что Жуюй была здесь – жила в доме Тети, собиралась пойти в старшую школу, которой Боян и Можань страшно гордились, – стало возможным благодаря ее тетям-бабушкам, которые перед ее отъездом объяснили ей, что на самом деле это перемещение – часть Божьего плана на ее счет, как было его частью поручение ее их заботам. То, что она сейчас здесь, у водоема... Разумеется, Можань приписывает это себе, ведь это она привезла сюда Жуюй на багажнике велосипеда, это она решила, что они отправятся не в кино и не в ближайший магазин за фруктовым льдом, а на их с Бояном любимое место, к морю, которое всего-навсего пруд.

С досадой, смешанной с любопытством, Жуюй повернулась к Можань и взглядела в нее, а Можань между тем протянула руку, показывая на карликовый храм на вершине холма, за который начинало садиться солнце. Раньше здесь было десять храмов, сказала она, и три «моря» называли Десятихрамовыми морями, но теперь они с Бояном обнаружили только три

храма.

– Этот посвящен богине воды, – сказала Можань и, не услышав никакого отклика Жуюй, повернулась и встретила ее недоуменный взгляд. – Прости, тебе, наверно, надоела моя болтовня.

Жуюй покачала головой.

– Мама иногда беспокоится, что я болтливая, говорит, меня никакой приличный человек из-за этого замуж не возьмет, – сказала Можань и засмеялась.

Жуюй еще раньше заметила, что Можань чаще смеется, чем улыбается; это придавало ее лицу откровенно глупый вид, что казалось более подходящим для роли старшей сестры или пожилой тетушки.

– Почему у тебя нет братьев и сестер? – спросила Жуюй.

Их поколение было последним перед тем, как началась политика «одна семья – один ребенок», и у многих одноклассников Можань, как, вероятно, и у многих бывших соучеников Жуюй, имелись братья или сестры. Возможно, Жуюй спросила только потому, что не часто встречалась с единственным ребенком в семье. Можань смиренно призналась, что не знает почему, а потом добавила, что ее случай не такой уж необычный: сестра Шаоай тоже единственная у своих родителей.

– А ты хочешь брата или сестру?

Должно быть, это сирота заговорила в Жуюй, должно быть, она задала эти вопросы; Жуюй редко говорила так много – во дворе она почти все время молчала.

– Мы все друг другу близкие, – сказала Можань. – Увидишь, мы во дворе как родные. Например, мы с Бояном росли как брат и сестра.

– Но у него есть своя сестра.

Она старше, объяснила Можань. Она почти из другого поколения.

– Почему он не живет с родителями? – спросила Жуюй.

– Не знаю, – сказала Можань. – Думаю, потому, что у них очень много работы.

– Но ведь его сестра жила с ними, пока не уехала в Америку?

– Она – другое дело, – ответила Можань, чувствуя себя не в своей тарелке, боясь, что сказала про Бояна и его семью то, чего не надо говорить.

Она уже чувствовала, что предает его каким-то непонятным ей образом. Он предпочитал не говорить о своих родителях, а его бабушка чаще говорила о дядях и тетях Бояна, которые жили в других городах, чем о его отце – ее старшем сыне. К Можань иногда закрадывалась мысль, нет ли в прошлом этой семьи чего-нибудь нехорошего, но она никогда ни о чем



таким не спрашивала: ища удовлетворения своему любопытству, она сделала бы себя менее достойной дружбы Бояна.

– Почему? Он что, им не родной сын?

– Нет, биологически он, конечно, их сын, – сказала Можань, беспокоясь, что простым высказыванием подобных истин компрометирует лучшего друга.

– Почему «конечно»?

Захваченная расправой сначала бесчувственным спокойствием Жуюй, а затем своей собственной глупостью, Можань погрузилась в глубокую оторопь. Растить во дворе было все равно что растить в большой семье, и ничто не делало ее счастливее, чем любить всех, не сдерживая себя. Разумеется, она слыхала истории про другие дворы, где неуживчивые соседи портили друг другу жизнь: выдергивали цветы, сыпали соль в чужие кастрюли в общей кухне, крали замороженных кур, оставленных зимой на ночь за окном, пугали чужих малышей неприятными лицами и звуками, когда родители отворачивались. Эти истории ставили Можань в тупик: она не понимала, какие выгоды может принести подобное мелкое злодеяние. В последнем классе средней школы некоторые девочки сделались жестокими, начали опутывать других девочек – красивых, или чувствительных, или одиноких – сетями скверных слухов. Если у кого-то возникали такие намерения в отношении нее – а они наверняка порой возникали, при том что у Можань был Боян, самая крепкая дружба, сколько они себя помнили, – ей не приходило в голову считать свое положение уязвимым. Да, люди и в семьях могли плохо обращаться друг с другом; вечерние газеты давали тому много подтверждений, рассказывая о домашних конфликтах и отвратительных преступлениях. И все же в представлении Можань мир в целом был хорош, и она верила, что он и для Жуюй теперь, когда она с ними подружилась, будет хорош. Тем не менее легкость, с какой Жуюй, говоря о происхождении Бояна, допустила возможность обмана и отказа от собственного ребенка, обескуражила Можань: ей показалось, что она, не подготовленная, провалила важное испытание и не смогла завоевать уважение Жуюй.

– Я тебя обидела? – спросила Жуюй.

Может быть, это естественно для таких, как Жуюй, – сомневаться во всем? Можань разом устыдилась своего недружелюбного молчания.

– Нет, что ты. Просто ты задаешь вопросы не так, как я привыкла.

– А как другие люди задают вопросы?

Хорошо хоть разговор случился не во дворе. Кто угодно, если бы услышал, подумал бы – пусть даже только про себя, – что Жуюй

недоразвита для своего возраста. Можань понимала, что люди с готовностью протянули бы ниточку от происхождения Жуюй к ее бесцеремонности. По-матерински терпеливо Можань объяснила Жуюй, что не принято задавать вопросы, от которых собеседнику неуютно; вообще-то даже, продолжила она, не начинают разговоров с вопроса, ждут, когда человек сам заговорит о себе.

– А если человек ничего о себе сам не расскажет? – спросила Жуюй.

– Когда дружишь с человеком, он что-нибудь тебе обязательно расскажет. И когда ты с друзьями, можешь и сама им про себя рассказать, – сказала Можань.

Ей хотелось, чтобы Жуюй поняла: ни она, ни Боян не будет выдавливать из Жуюй сведений о ее прошлом. По правде говоря, Можань верила – даже еще до приезда Жуюй, – что каким бы ни было ее прошлое, пожив среди них, она избавится от части своего сиротства.

Жуюй смотрела, как по воде движется жук, его тонкие конечности оставляли едва видимые следы. Ненадолго она заинтересовалась насекомым, но, когда отвела глаза, тут же о нем забыла.

– Почему сестра Шаоай всегда сердитая? – спросила она. – Ей не нравится, что я здесь, ведь так? Совсем не нравится.

У Можань на лице проступила мука.

– Нет, нет. Она просто сейчас расстроена.

Жуюй опять посмотрела на воду, но жука уже не было. Она не знала, как называется насекомое; в сущности, она никогда особенно не засматривалась ни на жуков, ни на птиц, ни на деревья. Ее тети жили строго в четырех стенах, из квартиры выходили только по необходимости; их жилище, содержащееся в девственной чистоте, не отдавало дани ни праздникам – какими бы то ни было украшениями, ни временам года – растениями на подоконниках; плотные шторы, всегда задернутые, держали погоду на расстоянии.

То, что Жуюй не стала расспрашивать дальше, огорчило Можань. Она жалела, что не может объяснить Жуюй, в каком положении находится Шаоай: в начале лета она участвовала в демократических протестах<sup>[4]</sup> и теперь ждала решения своей судьбы, которое станет известно в начале учебного года. Она не была в числе вожаков протеста, но университет, тем не менее, должен принять дисциплинарные меры; что это будет – обычное или строгое «политическое предупреждение», приостановка учебы или, хуже, исключение, – не знал никто. Родители Можань, тревожась за Шаоай, говорили, что она напрасно пренебрегает собственным будущим; они больше помалкивали, но Можань знала, что они, как и другие соседи,

хотели, чтобы Шаоай отреклась от декларации, которую прикрепила к университетской доске объявлений на следующий день после бойни и где назвала правительство фашистской сворой. Родители предупредили Можань, чтобы она не говорила на эти темы с посторонними.

Можань инстинктивно обернулась, но, кроме нескольких пешеходов поодаль на тротуаре, никого не увидела – никаких подозрительных личностей, готовых подслушивать.

– Я знаю, что сестра Шаоай иногда ведет себя неприветливо, – сказала она. – Но поверь мне, она хорошая.

Люди то и дело просят поверить им, подумала Жуюй, им, кажется, и в голову не приходит, что сама просьба доказывает: верить этому человеку не стоит. Тети-бабушки никогда не просили ее им поверить, и однажды, плохо знакомая с этим понятием, она попала на удочку: в первом классе одна девочка раз за разом упрашивала Жуюй сводить ее к себе домой; тети, объясняя ей Жуюй, не любят гостей, но девочка умоляла ее поверить и обещала, что ни единой душе ничего не расскажет. В конце концов Жуюй сдалась, однако на следующий же день после визита всем и каждому в классе, похоже, что-нибудь да было известно про то, как она живет, и даже две учительницы что-то спросили ее про книги ее теть. Но испытать на себе предательство кого-то недостойного было не так унижительно, как нарушить покой теть. Они выждали несколько дней и словно бы мимоходом заметили, что им не очень понравилась подруга, которую Жуюй привела домой. После этого Жуюй ни разу не позволила себе подружиться с кем бы то ни было.

– Как ты можешь быть уверена, что сестра Шаоай хорошая? – спросила Жуюй.

Можань посмотрела на мальчиков, плескавшихся в водоеме. Ее мучило, что она не может заставить Жуюй увидеть настоящую Шаоай: когда им с Бояном было примерно столько же лет, сколько этим мальчикам, именно Шаоай привела их на этот пруд, толкнула их туда, где поглубже, чтобы заработали руками, посмеялась, когда они глотнули воды, но все время была на расстоянии вытянутой руки. Если даже Шаоай и нельзя было назвать заботливой, все равно и Можань, и Боян знали, что она надежный друг.

– Слышала пословицу: «Лошадь проверяется долгой дорогой, а людское сердце – временем»? – спросила Можань. – Я думаю, постепенно ты узнаешь сестру Шаоай лучше.

Жуюй улыбнулась. Чего ради, говорила натянутая улыбка, я захочу узнать Шаоай лучше? Можань густо покраснела: молчаливое

пренебрежение не к ней самой, а к той, кого она уважала, кем восхищалась, сделало ее еще менее уверенной в себе перед лицом Жуюй, чем когда-либо.

– Когда мы поедем обратно? – спросила Жуюй, показывая на садящееся солнце.

Можань была недовольна собой. Она видела, что Жуюй ей не верит. С какой стати она бы стала? – думала Можань, крутя педали на аллее, до того привыкшая уже к тяжести Жуюй на багажнике, что на какое-то время позабыла о своей привычке болтать с ней по пути. Можань не любила недоговоренностей; для нее жизнь была чередой идеальных, завершенных моментов, неизменно постижимых, порой с мелкими трудностями, но всегда с большей долей радости. Ей не нравилось оказываться в смутном положении, которого она не может объяснить другому; но надо было соблюдать верность Шаоай, чью беду Можань было велено хранить в секрете. А если бы она перестала крутить педали и попыталась все-таки растолковать, почему Шаоай злится, – поняла бы Жуюй или нет?

Ранним утром в субботу, когда у Можань зазвонил телефон, она побоялась взять трубку и дождалась щелчка автоответчика. Сообщения не оставили, и минуту спустя телефон зазвонил снова. Еще не было и шести – слишком рано для чего бы то ни было, кроме беды. Можань взяла трубку, услышала голоса обоих родителей и какое-то время, пока мать говорила о пустяках, не могла сосредоточиться.

– А ты, – сказал отец, когда мать, похоже, истощила запас мелких тем. – Ты сама как?

– Хорошо.

– Голос у тебя хриплый, – сказала мать. – Не простудилась?

– Просто сухое горло, – ответила Можань. – Я спала.

– Послушай, – сказал отец, и Можань ощутила приступ паники: обычно он предпочитал слушать тому, чтобы его слушали. – Прости, что так рано позвонили. Но мы только что узнали, что десять дней назад умерла Шаоай.

Можань попросила родителей секунду подождать и закрыла дверь спальни. Она жила одна в арендуемом доме и привыкла – дом, она была уверена, привык тоже – к тому, что ее жизнь полна повседневных звуков, но не людских разговоров. В гостиной за дверью, которую она закрыла, было сравнительно свободное, незагроможденное пространство, где, помимо нескольких предметов безликой мебели из IKEA, компанию ей, когда она туда заходила, составляла маленькая коллекция предметов: одинокая серебряная ваза, которую она часто забывала снабжать цветами; металлический книгодержатель в виде сгорбленного старика в цилиндре и крылатке, опершегося на трость; стопка толстой, коричневого оттенка бумаги ручной выделки, слишком красивой, чтобы на ней писать; и репродукция Модильяни – портрет некой госпожи Зборовской, чьи глаза под тяжелыми сонными веками, темные, лишенные зрачков, казались почти слепыми. Ни один из этих предметов не появился в жизни Можань с каким-либо особым смыслом; она приобрела их там и сям в поездках и позволила себе привязаться к ним, потому что это были единственные памятки о местах, которые ей не принадлежали, которых она никогда больше не увидит. Сейчас она, тихо закрыв дверь, защитила эти любимые вещи от вторжения, каким стал ранний звонок. Потом она не будет думать о них как о свидетелях, отягощенных смертью, явившейся из давнего прошлого.

– Мы решили сразу дать тебе знать, – сказал ее отец.

Эту смерть нельзя назвать неожиданной, хотела она сказать родителям; облегчение для всех, хотела она их заверить, но это были бы банальности, которыми ее родители и их бывшие соседи наверняка уже обменялись. Родители позвонили ей, чтобы услышать другое, но Можань могла предложить им только молчание.

– Мы подумали о визите соболезнования, – сказала ее мать. – Но что мы можем сказать маме Шаоай? Что бы ты ей сказала?

Можань передернуло. В отличие от отца, с которым у нее редко случались противостояния, мать была способна превратить простое изложение фактов в вопрос, требовавший ответа.

– Я думаю, всем будет лучше, если вы не пойдете, – сказала Можань, аккуратно выбирая слова, чтобы не открыть путь к новым вопросам.

– Но это значит поступить бессердечно. Вообрази себе ее положение.

Матери Можань и так было тяжело из-за дочери-беглянки; прибавить сюда боль другой матери из-за утраты дочери, которая двадцать один год была хуже, чем полумертвая?

– Не давай воли воображению, – сказала Можань.

– Но как можно перестать об этом думать? Конечно, по мне не так ударило, как по маме Шаоай, но представь себе на минуту, что ты не имела бы ко всему этому отношения. Жила бы и жила себе в Пекине, и хотя бы наша семья осталась бы вместе. Я знаю, ты думаешь, это эгоизм с моей стороны, но ты ведь понимаешь мою мысль?

– Нет, я не думаю, что это эгоизм с твоей стороны.

– Надеюсь, ты понимаешь, что матери приходится быть эгоистичной.

Вполне ожидаемо за потрескиванием телефонной линии угадывались материнские слезы и угрюмая сдержанность отца. Они были, она знала, в разных комнатах, держали две трубки, потому что им было легче, если, говоря с ней, они не смотрели друг другу в глаза.

– По-моему, не стоит нам сейчас это обсуждать, – сказала Можань. – Ты расстроена.

– А как мне не расстраиваться? Мама Шаоай по крайней мере знает, кто убил ее дочь, а мы как не знали, так и не знаем, что нашу дочь от нас увело.

– Никто не знает, что случилось с Шаоай, – сказала Можань.

– Но ведь это Жуюй. Наверняка она. Только она и могла. Я неправа?

Ее родители, должно быть, нередко рассуждали об этом между собой, но Можань ни разу не спрашивали. Зачем спрашивать сейчас, когда молчание, уже установившееся, следует сохранять нетронутым? Даже

смерть не повод тревожить прошлое.

– Никто не знает, что случилось, – повторила Можань.

– Но ты знала. И прикрыла ее – ведь прикрыла?

Отец кашлянул.

– Ты понимаешь, Можань, мама не потому спрашивает, что мы хотим тебя обвинить, – сказал он. – Никто не может ничего вернуть и изменить, но нам с твоей мамой, ты должна видеть, – нам трудно, потому что мы не понимаем смысла.

Когда, подумала Можань, человек начинает понимать смысл чего-либо? Желание ясности, желание не жить слепо – они не так уж далеки от желания обманывать: надо уподобиться суши-повару, резать, подравнивать, пока жизнь – или память о жизни – не превратится в презентабельные кусочки.

– Предлагаю сменить тему, – промолвила она. – Я тут думала о Скандинавии летом – как вы к этому относитесь? Говорят, там красиво в июне.

– Мы устали от туризма, – сказала ее мать. – Мы старые уже. Шаоай умерла, когда-нибудь и мы умрем. Не пора ли тебе приехать домой повидаться?

Не желая давать родителям даже малейшей надежды, Можань сказала, что не готова сейчас это обсуждать. Пообещала позвонить через неделю, зная, что к тому времени отец убедит мать действовать умнее и не давить на нее. Можань закончила разговор до того, как родители могли воспротивиться. Они любили ее сильнее, чем она их; по этой причине в любом споре ей была обеспечена победа.

Можань, которая была у родителей единственным ребенком, ни разу за все шестнадцать лет после отъезда в Америку не побывала в Пекине. Первые шесть лет, когда она делала все необходимое для защиты диссертации по химии, она не виделась с родителями вообще, ссылаясь на трудности с визой и дороговизну билетов. За это время у нее случилось замужество, началось и кончилось, оно огорчило и повергло в смущение ее родителей, но то, что они с ее супружеской жизнью ни единожды не пересеклись, похоже, сделало эту жизнь в их глазах не вполне реальной; по крайней мере, Можань на это надеялась. Она подозревала, что до сего дня они никому в Пекине не сказали про ее неудачный брак, и им было легче от того, что не пришлось встретиться с Йозефом, который был на год старше ее матери.

После развода Можань уехала из города на Среднем Западе, где жила с Йозефом, и, когда начало получаться по деньгам, стала оплачивать поездки

родителей и сама к ним присоединяться: автобусный тур по Центральной и Западной Европе, во время которого она добросовестно их сопровождала, фотографировала их на фоне величественных арок и древних развалин, заботясь о том, чтобы ее самой ни на одном снимке не было; две недели на Кейп-Коде, где они на пляже и в кафе-мороженых являли собой странное семейство: она была слишком взрослая для дочери, отдыхающей с родителями, а они, мало к чему способные примагнититься в незнакомом городе, скрашивали дни разговорами с людьми их возраста, толкавшими прогулочные коляски или строившими вместе с внуками замки из песка. Там и в других местах родителей Можань тянуло к дедушкам и бабушкам, их английского было как раз достаточно, чтобы выразить восхищение чужим счастливым продолжением рода.

Можань успокаивала мысль, что за то, чего она лишила родителей, они получили компенсацию: Таиланд, Гавайи, Лас-Вегас, Сидней, Мальдивы – заграничные места, наполнившие их фотоальбомы природными и рукотворными красотами. За годы они смирились с тем, что никогда не будут приглашены взглянуть на повседневную жизнь Можань в Америке, но они не оставили надежду, что когда-нибудь она придет в Пекин хотя бы ненадолго. Можань, однако, неизменно была глуха к упоминаниям о родном городе. Места не умирают и не исчезают, но их можно стирать, как стираешь из памяти любовника после неудачного романа. В случае Можань это решительных мер не требовало: надо было только жить связно, последовательно, быть ровно тем, кем являешься, день ото дня – этого достаточно, чтобы место, подобно человеку, оставалось на периферии сознания.

После звонка она долго медлила, прежде чем открыть электронное письмо Бояна. Оно было коротким: причина смерти и дата кремации – шесть дней назад. В скудости деталей было что-то обвиняющее – хотя какое она имела право надеяться на большее, ведь сама никогда не отступала от молчания с его холодом. Раз в год Можань посылала на счет Бояна две тысячи долларов, ее вклад в уход за Шаоай, но на его ежемесячные письма никогда не отвечала. О главных фактах его жизни – об успешной бизнес-карьере в разных направлениях, последним из которых было девелоперское, о неудачном браке – она узнала от родителей, но отсутствие ее реакции на какую бы то ни было новость о нем, должно быть, привело их к заключению, что все это ей неинтересно. Позвонив сказать, что Шаоай умерла, они о нем не упомянули.

Телефон позвонил снова. Можань поколебалась и взяла трубку.

– Еще только одно, – сказала мать. – Я знаю, что тебе трудней, чем



нам. Мы с твоим отцом по крайней мере держимся друг за друга. Ты не хочешь, чтобы мы вмешивались в твою жизнь, я это понимаю, но, может быть, ты согласишься, что пора подумать о новом браке? Нет, пойми меня правильно. Я не давлю на тебя. Я только хочу сказать – ты, конечно, считаешь это заезженной фразой, – может быть, тебе уже перестать жить в прошлом? Конечно, мы уважаем любое твое решение, но нам было бы веселее, если бы ты нашла кого-нибудь нового в своей жизни.

Странно, что родители, вопреки всем признакам, решили, что она живет в прошлом, но Можань спорить не стала и пообещала подумать. Интересно, какое прошлое – и каких людей, связанных с этим прошлым, – они сочли препятствием к ее счастью: ее жизнь в Пекине или ее жизнь с Йозефом? Ее проблема – им бы следовало уже это знать – была не в том, что она жила в прошлом, а в том, чтобы не позволять прошлому жить дальше. Любой момент, ускользавший из настоящего, становился мертвым моментом; и раз за разом от ее навязчивой потребности очищаться от прошлого страдали ничего не подозревающие люди.

Жизнь Можань была одинокой и благополучной настолько, насколько она находила это для себя возможным. Она работала в фармацевтической компании в Массачусетсе, где одна занимала маленькую лабораторию; в ее ведении находился прибор, измерявший для контроля качества вязкость различных оздоравливающих и гигиенических средств. При том что у нее был изрядный исследовательский опыт химика, эта работа мало чего от нее требовала, помимо способности терпеть скуку. Однако она давала ей необходимое: стабильный доход и причину находиться в Америке. Чего еще она могла требовать? У нее не было детей, и ее тревога, когда она читала о климатических изменениях и канцерогенах в пище и воде, не была конкретной: она не чувствовала себя уполномоченной беспокоиться о будущем человечества. Не имея близких друзей, она была достаточно дружелюбна с соседями и сослуживцами, чтобы не слыть нелюдистой безмужней чудачкой. Хотя ее жизни не хватало яркости, какую дают счастье и острая боль, она верила, что взамен обрела благословение одиночества. Каждое утро в любую погоду совершала долгую и бодрую прогулку, после работы – еще одну; дважды в неделю волонтерствовала в местном приюте для животных, другие вечера проводила в библиотеке за чтением старых романов, к которым редко кто прикасался. Работа у нее была успокаивающая, не похожая на то, какими она представляла себе большинство работ, – ей нравились образцы, искусственные цвета и запахи, нравилась неизменность протоколов, предсказуемость результатов. Когда на работе случались свободные промежутки, она грезилась о других местах и

временах, где жизнь людей, не имеющих к ней отношения, была настолько полной, насколько она это позволяла: где девочка по имени Грация умерла от туберкулеза в пятнадцать и была похоронена в швейцарском горном городке, забытая всеми, кроме ее несчастной гувернантки-француженки; где в парижской мастерской, склоняясь над кусочками кожи и тусклыми гвоздями, трудился стареющий сапожник, чье зрение ухудшалось день ото дня, чье сердце билось неровно; где молодой пастух в Баварии апатично чахнул по соседке, девушке на три года старше и уже просватанной за деревенского мясника. На случай, если кто-нибудь заглянет к ней в лабораторию, Можань принимала меры, чтобы выглядеть занятой, хотя подозревала, что сотрудники видят в ней подобие ее прибора – безотказную машину, про которую, один раз хорошо ее настроив, спокойно можно забыть. Она не ставила это в вину коллегам, большинство которых стоически, пусть и не вполне счастливо, жили пригородной жизнью. Если они ощущали некое превосходство над Можань, она не чувствовала этого – впрочем, скорее всего, потому, что держалась от них на безопасном расстоянии; не чувствовала она и какого-либо преимущества над всеми прочими – у каждого свой удел, считала она, у нее это одиночество, уделом же сослуживцев, радостным или тягостным, стали брак, родительство, повышения и выходные. Глупо было бы считать себя лучше или даже просто другой только потому, что у тебя есть что-то, чего у остальных нет. Семья с ее теснотой, одиночество с его требовательностью – и то и то храбрый выбор, а может быть, наоборот, трусливый – все это в конечном счете мало сказывается на глубоком и труднопостижимом безлюдье, окружающем любое человеческое сердце.

Сейчас Можань хотела бы вернуться к обычному субботнему распорядку, нарушенному звонками родителей и письмом Бояна; но известие о смерти – о любой смерти – неопровержимо доказывает эфемерность спокойной жизни. Последний раз Можань видела Шаоай перед своим отъездом в Америку; к тому времени Шаоай уже потеряла много волос, зрение сильно ухудшилось, глаза потускнели, жилистое в прошлом тело опасно раздалось, ум помутился. Что сделалось за двадцать один год с этой узницей в собственном теле, Можань могла только гадать, но принуждать себя к ответу не стала. Легче было воображать, как Грация лежит в хижине и смотрит на покрытые снегом вершины: на прикроватном столике кувшин, в круге чистой неподвижной воды блестит утренний луч; рядом неоконченная вышивка по образцу – стихотворение Гете, и Грация вспоминает, как в пять лет начала неуклюже вышивать алфавит розовыми и белыми нитками.

Когда Можань только приехала в Америку, к ней несколько раз заходили из местных церквей. Она отвечала – и это была не просто бойкая отговорка, хотя звучало, должно быть, именно так, – что для веры у нее не хватает воображения. Но теперь она знала, что дело не в воображении, его у нее было достаточно. Парижский сапожник потерял единственного сына в уличном бою; он не знал, кого винить, судьбу или революцию, и его растерянные слезы жгли сердце Можань больнее, чем вздохи ее родителей. Жительница Баварии вышла замуж без сожалений, не подозревая о мучениях молодого соседа. Она произвела на свет девочку и умерла при родах, и в иные дни, когда Можань испытывала ледяную неприязнь к себе, она позволяла молодому пастуху выкрасть малютку и утопиться вместе с ней; в другие дни, чувствуя себя виноватой из-за расправы, которую безответственно учинила над ничего не подозревающими душами, – и по какой причине, как не ради того, чтобы самой ощутить боль, от которой избавляла себя в жизни? – Можань позволяла девочке расти и быть для соседа с разбитым сердцем более ценной, чем она была для себя и остального мира.

Допустим, она разрешила бы себе быть ближе к реальному миру, чем к воображаемому. Допустим, во время родительского звонка рядом с ней был бы кто-то, с кем можно обсудить смерть Шаоай. Можань немедленно захлопнула эту дверь. Быть застигнутой за надеждой, пусть даже самой поймать себя на ней – но ведь только самой это и возможно – похоже на то, как ее застали, когда она робко сыграла простую мелодию на пианино во время вечеринки у коллеги по работе. Девочка всего лишь трех, видимо, лет, еще не доросшая, в отличие от старшей сестры и брата, до уроков музыки, тихо вошла в комнату, где Можань улучила минуту уединиться. Привет, сказала Можань, и девочка изучающе посмотрела на нее с собственнической жалостью и досадой. Какое право, говорили, казалось, ее глаза, ты имеешь прикасаться к пианино? Можань покраснела; девочка оттеснила ее от клавиш и забарабанила по ним обеими руками, вполне, судя по всему, довольная дикой какофонией. Казалось, она показывала Можань: вот как ты играла!

Про нее-то Можань и вспоминала сейчас, идя по своему обычному маршруту к местному парку – к рожице, мало что предлагавшей помимо унылой детской площадки с металлическим ржавым скелетом паровоза и несколькими скрипучими качелями, тоже ржавыми. Не все имеют право на музыку, говорили глаза этой девочки, и не все имеют право на красоту, надежду, счастье.

Старая женщина, закутанная в мешковатое пальто и шарф, терпеливо

ждала, пока ее черный пудель в желтой жилетке кончит обследовать камень. Можань пробормотала «здравствуйте» и готова была пройти мимо, как вдруг женщина подняла к ней свое маленькое лицо.

– Я вам вот что скажу: никогда не забывайте дату последней менструации.

Можань кивнула. Когда с ней заговаривали, она всегда принимала внимательный вид, показывая, что услышанное для нее значимо.

– Всякий раз, как иду к врачам, они это спрашивают, – сказала старуха. – Как будто это важно в моем возрасте. Мой вам совет: идите домой и запишите где-нибудь – так, чтобы легко было найти.

Можань поблагодарила ее и пошла дальше. Она легко могла представить себе, что задерживается, что выслушивает рассказ этой женщины о долгом ожидании у врача или ветеринара, или о недавнем приезде внуков; такие разговоры с незнакомыми людьми случались нередко – в продовольственных магазинах, в химчистке, в парикмахерских, в аэропортах, – так что иногда Можань приходило в голову, что, может быть, ее главное достоинство – готовность служить живым вместилищем подробностей. После того как она добросовестно, но все же в недостаточной мере, выражала сочувствие, восхищение или удивление, люди двигались дальше, они забывали ее лицо, едва перестав ее видеть, а могли и не увидеть вовсе; она была из тех чужаков, в которых иные нуждаются порой, чтобы скрасить пустоту жизни.

Когда она вернулась, на автоответчике было сообщение от Йозефа. Странно, что больше одного звонка за утро. Она перезвонила только вечером. Хотела внушить ему мысль, что ей есть чем заниматься в субботу.

Голос Йозефа, когда он ответил, был слабым. Он спросил, говорила ли с ней Рейчел, и Можань почувствовала, что сердце у нее упало. Рейчел была младшей из четверых детей Йозефа и Алены; два года назад, когда Йозеф ушел на пенсию с должности библиотекаря в муниципальном двухгодичном колледже, он продал дом и купил квартиру в нескольких кварталах от Рейчел и ее мужа, которые тогда ждали третьего ребенка. Рейчел единственная из детей Йозефа открыто выражала недовольство его женитьбой на Можань, которая была всего на три года старше нее.

– Рейчел хотела что-то мне сказать? – спросила Можань.

Она вспомнила свой утренний страх, когда позвонили родители. Она боялась тогда услышать, что Йозеф умер.

Можань постоянно жила с мыслью, что рано или поздно раздастся звонок – хуже всего, если от кого-нибудь из детей Йозефа. Тем не менее от того, что позвонил сам Йозеф – сообщить о своей множественной миеломе,

новые очаги с июня, когда они виделись последний раз, – было не легче. На мгновение у нее возникло странное чувство, что его уже нет на свете; их разговор, память для будущего, звучал нереально, тон Йозефа был извиняющимся, как будто он по глупости, по ошибке подхватил рак.

Как давно он узнал, спросила она, и он ответил: месяц назад. Месяц, повторила Можань, чувствуя, как вскипает гнев, – но до того, как она могла разразиться тирадой, Йозеф сказал, что прогноз не самый тяжелый. «Заботливая бывшая жена пережила его, будет гласить некролог», – пошутил Йозеф, когда наступила пауза.

Сколько он продержится, задалась вопросом Можань. Сколько кто-либо или что-либо способно держаться? Брак, отнюдь не лишенный теплоты вначале, мог оказаться удачным: недостаток страсти компенсировался бы нежностью, бездетность не служила бы источником разочарования, ибо проистекала бы не из разницы в возрасте между Йозефом и Можань, а из ее твердокаменного нежелания стать матерью. По выходным приезжали бы дети и внуки Йозефа, и старые друзья – мужчины и женщины на двадцать-тридцать лет старше Можань, которые хорошо знали не только Йозефа, но и Алену и заботились о Йозефе после несчастья с Аленой, – поддерживали бы традицию регулярных встреч, возникшую задолго до появления Можань в их кругу.

Заботливая бывшая жена должна быть лучшим утешительным призом, подумала Можань, на какой мужчина может претендовать и каким женщина может быть. Но даже если дети Йозефа не стали бы возражать, она все равно выглядела бы лишним элементом, нарушающим безупречную стройность некролога. Не один год Можань регулярно заходила на сайт, собирающий некрологи со всей страны. Ей никогда не надоедали эти мягко подретушированные резюме чужих жизней. Без ее вторжения жизнь Йозефа была бы одной из этих безупречных историй любви и утраты: добропорядочное взросление в добропорядочном городе на Среднем Западе; счастливое супружество с той, к кому он был неравнодушен с детства, оборванное беспечным водителем; обожаемый отец четверых детей и дед одиннадцати внуков; многолетний участник местного хора, рьяный садовник, прекрасный друг, добрый человек.

– Я приеду повидаться, – сказала она, уже решая попутно, что после разговора забронирует перелеты и ночлеги в своей обычной гостинице.

– Но до июня еще далеко, – заметил Йозеф.

Каждый год последние одиннадцать лет Можань навещала Йозефа в июне в день его рождения – посидеть вместе за ланчем, но не за ужином, потому что ужин в день рождения – дело семейное, а у него были дети и

внуки. Он был подчеркнуто благодарен ей за эти ланчи, как будто не знал, что ей они нужны больше, чем ему.

До июня действительно было далеко, и можно ли было рассчитывать, что он доживет до июня? Та же мысль, должно быть, пришла в голову и Йозефу, и он заверил Можань, что прогноз неплохой: врачи говорят, еще пара лет как минимум, смотря по тому, как пойдет терапия.

Тогда зачем вообще надо было ей рассказывать? Почему нельзя было подождать до очередной встречи в июне и избавить ее от семи тягостных месяцев? Но она знала, что несправедлива к нему. Он сообщил ей, как наверняка и другим, далеко не сразу.

– Любой план допускает корректировку, – сказала она. – Или сейчас время для моего приезда неподходящее?

Нет, ответил Йозеф, время вполне подходящее. Но колебание в его голосе – то ли воображаемое, то ли реальное – уязвило Можань: в смерти, как и в жизни, у нее нет твердого права ни на что. Более легким тоном она сказала ему, чтобы он не беспокоился, она до Дня благодарения избавит его от своего присутствия. Обратный билет бронирует на среду; в этот день к нему, вероятно, придут с семьями дети.

– Думаешь, меня бы беспокоило, если бы ты осталась на праздник?

– Я не хочу навязываться, – сказала она.

Решить приехать к нему, она понимала, уже значило навязаться, но Йозеф был слишком добр, чтобы указать ей на это. Ее непоследовательность, которую она ему одному давала увидеть, сама была любовью своего рода, какой не получал от нее больше никто, хотя ничего хорошего такая любовь ни ему, ни кому-либо другому, если на то пошло, принести не может.

– В этом ты вся, – вздохнул Йозеф. – Вечно волнуешься из-за того, из-за чего не должна.

– Ты же связан с людьми, – сказала Можань, хотя имела в виду лишь привязанность его времени к окружающим.

Считать человека связанным в любом смысле – кровью, юридическими документами, касающимися брака или трудовой занятости, неписаными обязательствами перед друзьями, соседями и братьями по роду человеческому – иллюзия; время, однако, – дело иное. Беря обязательства перед другими, чем человек на самом деле жертвует – это временем: ланч, ужин, уикенд, брак, сколько он длится, последний промежуток у смертного одра; пойти, совершая ошибку, дальше, предложить свое подлинное «я» – у каждого есть история-другая о горьких уроках, которые получаешь, давая больше, чем просят.

– Я не могу просто прийти и попроситься в их компанию, – продолжила она.

– Почему нет, Можань?

– Мне казалось, ты уже понял, что я не подхожу, – сказала Можань.

То, что она не подходит и не может вписаться, было доводом, который она привела, прося о разводе. Вписаться – что за нелепая идея. Можно подумать, брак должен работать как рука мастера, постепенно сглаживающего твои углы и меняющего твои оттенки вплоть до невидимости, до полного слияния с окружением. Йозеф, пришедший тогда в смятение, сказал, однако, что их брак не предполагал ее приспособления к его миру, что такого у него и в мыслях не было.

Но упомянуть о своем мире значило, думалось Можань, получить несправедливое преимущество. Войдя в брак сама по себе – она сослалась на трудности с визой, объясняя отсутствие своих родителей на церемонии, – она могла опираться только на себя, тогда как у Йозефа была его семья, ставшая в итоге одной из причин, которыми она объяснила свой уход.

Конечно, заверил ее Йозеф сейчас, я понимаю твое беспокойство. Она пожалела, что он это сказал; ей хотелось, чтобы он не был так покладист. Она сказала, что свяжется с ним, когда забронирует билеты. Он ответил: хорошо, но голос был расстроенный. Почему она не могла быть к нему добрей?

Секунду поколебавшись, Йозеф сказал, что есть еще одно, о чем ей следует знать перед приездом: сейчас всюду, куда ему нужно, его возит Рейчел.

Во время своих прежних посещений Можань не видела Рейчел, и ей приходило в голову, что Йозеф, может быть, скрывает их ежегодные ланчи от детей и друзей. По их мнению, она все делала с расчетом: будучи иммигранткой, вышла за Йозефа, чтобы упрочить свое положение, а когда получила гражданство и ей предложили хорошую работу, тут же развелась. Можань представила себе, как он вынужденно просит Рейчел отвезти его встретить ее, просит с виноватым видом мужчины, пойманного на измене, и вместе с тем упрямо, вопреки своей беспомощности.

– Я возьму напрокат машину, – сказала она. – И буду возить тебя всюду, куда скажешь.

Йозеф поблагодарил ее.

– Тогда до встречи, Можань?

Можань судорожно вдохнула: тишина, которая вот-вот наступит, была страшна.

– Йозеф, – сказала она, чувствуя себя, вопреки всем резонам, овдовевшей.

– Да?

Она хотела сказать ему, что скончалась одна ее давняя знакомая, но вывалить эту новость на умирающего было бы эгоистично. Она хотела попросить его, очень попросить не отказываться от надежды, пусть даже сама, окажись в таком положении, наверное, сдалась бы без борьбы. Хотела попросить прощения за то, чего не сделала для него, и за то, что сделала не так. Но чувствовала, пока он терпеливо ждал, что эти слова, с которыми ее сердце было согласно, прозвучав, отдавали бы мелодрамой.

– Что с тобой? – мягко спросил Йозеф.

– Со мной, разумеется, все в порядке, – ответила она и добавила, что если у нее имеется талант, которым можно похвастаться, то это талант всегда быть в порядке.

Йозеф проигнорировал злобредство ее замечания (прежде всего по отношению к ней самой, а не к нему). Он никогда не был большим любителем сарказма.

– Тебя что-нибудь огорчает, Можань?

Не разбил ли ей сердце какой-нибудь другой мужчина – он об этом спрашивает? Он, конечно, проявил бы заботу – она вспомнила, как он утешал Рейчел после ее разрыва с университетским бойфрендом, – но как могла Можань объяснить ему сейчас, что не сердце ее разбито, а вера в одиночество? Прося о разводе, она сказала ему, что лишь малая часть его жизни пойдет насмарку. Дети и внуки, друзья и дом – все это ему оставалось, со всем этим она пересекалась лишь минимально, ничем из этого никогда не владела. В сравнении с тем, как томительно длинна жизнь, сказала она ему, пять лет, которые они провели вместе, – не более чем временное отклонение. Чего она ему не сказала – это что, отказываясь от супружества, решила жить более ограниченной жизнью: хотела одного – держать ум и сердце незагроможденными, и с помощью дисциплины она потом поддерживала суровый порядок, очищавший ее существование вплоть до стерильности. Но сегодняшние два звонка, две вести – одна о свершившейся смерти, другая о надвигающейся, – и чем наполнилось это незагроможденное пространство, как не болью, которую не облегчит даже самая безжалостная чистка? Она тосковала по Йозефу; она тосковала по людям.

– Что случилось, Можань?

Ничего не случилось, заверила она его. За прошедшие годы до его сознания, видимо, дошло, что она больше не ищет себе близкого человека,



однако она видела, что он продолжает надеяться, желая, чтобы наступило время, когда она, оберегая чьи-то чувства, перестанет ездить на его дни рождения.

– Прости, я скверно себя с тобой веду, – сказала она.

– Ничего подобного.

– Давай не будем об этом спорить, – сказала она, хотя с кем еще ей спорить, как не с ним?

На прощание велела ему беречь себя и подтвердила, что скоро приедет. Когда разговор окончился, она почувствовала напор извне, словно его голос оставил трещину, сквозь которую в комнату хлынуло безлюдье. Она вспомнила историю, которую прочла в юности, про голландского мальчика, обнаружившего течь в плотине и заткнувшего ее пальцем, чтобы сдержать океан. В этой истории море, которое раньше было ему веселым другом, зашептало в ухо мальчику, коварно его соблазняя, подбивая сдаться, а между тем онемение распространялось с пальца на руку и на все тело. Почему, сказала Можань мальчику и себе, не прекратить героическое сопротивление и не посмотреть, что случится?

Но ничего не случилось. Тишина – не шепчущее море, она не поглотила и не утопила ее, и женщина на картине Модильяни продолжала смотреть, милосердная в своей беззаботности.

Можань надела пальто, замотала шею шарфом и вышла на улицу. Темнело, поднимался ветер, он гнал листья по тротуару. В домах загорались окна, слышалось, как открывают и закрывают почтовые ящики, фырчали и умолкали после урчания гаражных дверей автомобиля, кое-где гудели, не желая светить тихо, уличные фонари. У здешнего пригородного вечера может быть такой же обманчиво идиллический саундтрек, как у вечера в швейцарской горной деревушке: машинам так же хочется добраться до дому, как овцам и коровам после пастьбы; собаки, прошедшие день в одиночестве, лают, заслышав хозяйские шаги, так же рьяно, как овчарки, которые после дневных трудов на лугах чуют запах теплого и жареного из кухонь. За каждой дверью, недостижимо для чужих любопытных или бесчувственных глаз, радости и печали очередного дня собираются воедино, прибавляя или отнимая, что-то видоизменяя, что-то маскируя, ведя чьи-то восприимчивые сердца по доброму или недоброму пути в место пусть неощутимо, но отличное от вчерашнего.

Когда-то Можань, стряпая в кухне, где Алена год за годом готовила для мужа и четверых детей, и прислушиваясь, не едет ли Йозеф, но не скупая по нему на самом деле, нафантазировала себе жизнь отдельно от Йозефа, как позднее нафантазировала жизни для Грации, для сапожника и для

пастуха с разбитым сердцем. Не разочарование в браке, как думал Йозеф, повело ее к этому, а сознание необходимости в каждую данную секунду жить лишь частичной жизнью. Время – тоненькая, ненадежная поверхность; верить в прочность момента, пока ступня не коснется следующего момента, столь же заслуживающего доверия, – все равно что идти во сне, ожидая от мира, что он будет перестраиваться, создавая для тебя сказочную тропу. Ничто так не губит полновесную жизнь, как неосновательность надежды.

Жизнь, которую Можань вообразила себе на кухне у Йозефа, не сильно отличалась от ее теперешнего существования: нарезая овощи, она репетировала одиночество. Оно было ее единственной защитой от того, чтобы сердце, подчиняясь Йозефу, их браку, ходу времени, двигалось в чуждую ей сторону. Порой, когда она не слышала дверь гаража, погрузившись в шипение масла под крышкой, она вздрагивала при внезапном появлении Йозефа. Кто ты такая и что делаешь в моей жизни? – чуть ли не ждала от него вопроса, и мелькала мысль, не ждет ли он, увидев в ее глазах мимолетную враждебность, такого же вопроса от нее.

В своей взрослой жизни, полагала Можань, она безошибочно предугадывала будущие события: переезд в Америку, замужество, позднее развод с Йозефом. Посторонние сказали бы, что она просто подгоняет жизнь под свое видение, осуществляет его, но это было не так. Да, человек может видеть то, чего нет, может лелеять пустые надежды, но все-таки себя обмануть труднее, чем окружающий мир. В случае Можань – невозможно.

Странно, однако, было то, что ясность видения изменяла ей, когда речь шла о прошлом. На ранней стадии их отношений Йозеф любопытствовал насчет ее жизни в Китае. Она не была способна удовлетворить его любопытство сполна, и ее уклончивость ранила его – по меньшей мере печалила. Но как можно делиться воспоминаниями о месте, не перенося себя туда? Безусловно, были моменты, которые останутся живыми до самой ее смерти. Зимними утрами мать, прежде чем вытащить Можань из крепости одеял и покрывал, терла свои руки одну о другую, чтобы согреть, и пела песню о том, что рано вставать полезно для здоровья. Ржавый велосипедный звонок отца, звучавший так, будто вечно был простужен, однажды украли; кто, недоумевала семья, позарился на старый звонок, когда вокруг масса новых, блестящих, с ясным и громким звуком? Возникали лица соседей, умершие выглядели живыми и полными жизни, состарившиеся – молодыми. В первом классе, когда пришли из районной поликлиники брать кровь на анализ, она недоумила Бояна, который во всем ей доверял, помассировать мочку уха, чтобы кровь шла лучше, и медсестра

потом на него наорала, потому что кровь долго не останавливалась.

Но может ли человек, думала Можань сейчас, гарантировать достоверность своих воспоминаний? Определенность, с которой ее родители называли Жуюй виновной, не отличалась от определенности, с которой они верили в невиновность своей дочери. Ищущие убежища в несовершенстве памяти не разграничивают случившееся и то, что могло случиться.

Можань не верила – ни раньше, ни теперь, – что Жуюй намеревалась причинить кому-нибудь вред. Убийство требует мотива, умысла, плана – или совершается в минуту отчаяния и безумия вроде тех, что в ее воображении побудили молодого пастуха утопить разом невинное дитя и свою любовь. Можань недостаточно знала Жуюй, когда они были школьницами; даже сейчас она не могла сказать, что понимает Жуюй: она была из тех, кто противится тому, чтобы их понимали. Когда обнаружилось, что Шаоай отравлена, Жуюй не проявила ни сожаления, ни беспокойства. Делает ли это ее более виноватой, чем другие? Но то же самое можно сказать о разводе Можань: многие друзья и родственники Йозефа сочли ее интриганкой, получившей от брака все, чего хотела, и после этого сразу от него избавившейся. Объяснения, которые она дала Йозефу, были вялыми, ее сдержанность в присутствии других выглядела вызывающей, и это делало ее более достойной осуждения, чем если бы она просила простить ее.

Йозеф, так или иначе, ее простил. «Заботливая бывшая жена пережила его», вспомнились ей его слова. Йозеф умирал, Шаоай умерла; на его умирание недостаточно было смотреть издали, ее же смерть, даже видимая из такого далека, мучила и смущала. Можань ускорила шаг. Через три дня она приблизится к Йозефу, хотя смерть будет к нему еще ближе.

В Пекине многие стороны бытия Жуюй требовали объяснений. Чья она дочь? Где родилась? Чем собирается тут заниматься? Эти вопросы, наряду с менее существенными, касающимися ее первых пекинских впечатлений и деталей прошлой жизни, надоедали: люди спрашивали то, на что не имели права, или то, на что не стоило трудиться отвечать.

Когда выяснилось, что Жуюй не может дать удовлетворительных ответов, Тетя взяла ее под защиту и вместе с тем, казалось, была сконфужена на ее счет; соседи утешали Тетю, говоря, что Жуюй еще тут новенькая, что она стесняется, что мало-помалу разговорится. Жуюй старалась не пялиться на людей, когда они говорили такое в ее присутствии. Она не понимала, что они имеют в виду под ее стеснительностью: она никогда в жизни ничего подобного не ощущала – человеку либо есть что сказать, либо нет. Соседям по двору, однако, эта идея была недоступна: здесь жизнь с утра до ночи проживалась на общественный манер, всем было дело до всех; ее молчание не радовало и стариков, которые сидели в проулках в тени бобовых деревьев, пока утренний ветерок не сменялся немилосердным летним зноем, и, устав от старых баек, с надеждой смотрели на незнакомое лицо Жуюй: не скрасит ли она чем-нибудь свежим и легко забывающимся монотонность дня, оставляя нетронутой безмятежность?

Вскоре она прослыла во дворе и ближайшей округе девочкой, которой нравится сидеть с умирающим. В том, чтобы смотреть, как человек медленно приближается к смерти, не было ничего нездорового, хотя окружающие, сознавая Жуюй, этого не поймут. Чужие люди, сразу предъявившие на нее права как на свою – как на подружку, племянницу, соседку, – искали объяснения ее смущающей склонности и, найдя, успокаивались: в конце концов, эта анемичная замкнутая девочка – круглая сирота, подкидыш. Со временем удастся привить ей некую нормальность, сделать из нее нечто лучшее, пока же надо проявлять к ней особую доброту, заботиться, как о больной птице. В этом общем усилии участвовал почти весь двор – за исключением Шаоай, которая постоянно где-то пропадала, и ее деда, чья смерть была так близка, что, казалось, от него хотели одного: чтобы не откладывал свою кончину надолго.

Прикованный к постели старик почти все время вел себя тихо, но, когда хотел есть или пить или надо было вытащить из-под него подгузник,

собирал оставшиеся силы и испускал громкие крики; если приходили не сразу, он бился туловищем о кровать, производя ужасный шум. Привыкшие, думалось Жуюй, к этим неистовым сигналам, Дядя и Тетя реагировать не спешили, промедление было единственным, чем они протестовали против затяжки с уходом. Когда соседи заводили речь о старике, о нем говорили как об умелом часовщике, как о мастере по ремонту авторучек, как о любителе поиграть на двуструнной скрипке и порассказать всякие небылицы; словно этот лежащий в комнате мешок с костями лишь прикидывался живым человеком и его не следовало путать с тем, настоящим.

При любой возможности Жуюй проскальзывала в комнату Дедушки. В ногах кровати стояла самодельная деревянная тумбочка, пустая, если не считать курящейся спирали от насекомых, банки с мазью от пролежней и старой семейной фотографии в рамочке: Шаоай, совсем еще малышка с косичками, сидит между дедом и бабкой, а родители, молодые и благонравные на вид, стоят сзади. К стене был прислонен складной стул, на который иногда Дядя, но обычно Тетя садилась кормить старика. Маленькое окно под потолком держали открытым, но все равно постоянно пахло несвежей постелью, мокрым подгузником, дымом спирали, плюс острый запах мази.

Комната, в отличие от остального дома, не была загромождена вещами и странным образом напоминала Жуюй квартиру ее тетя. Хозяйство они вели безупречно и, Жуюй знала, не были бы польщены, стань им известно, что они ассоциируются, пусть даже только в сокровенных мыслях Жуюй, с неприглядностью болезни и угасания в комнате Дедушки. Но тети-бабушки никогда не спрашивали ее мнения ни о чем таком и поэтому никак не могли узнать, что у нее на уме.

В тишине их квартиры Жуюй не находила ничего необычного, пока не приехала в Пекин, где слова использовались в быту как смазка и где все, что загромождало, захламляло людям жизнь – бессмысленные события, мелкие предметы, – давало бесчисленные поводы для болтовни. В ее прежнем жилище не было, в отличие от дома Тети, роняющих старые лепестки цветов в горшках, откуда сочится грязная вода; там не было ни стопок старой оберточной бумаги, собирающей пыль, ни запутанных комков синтетической бечевки в ожидании повторного использования. Два раза в год – перед летом и перед зимой – тети доставали швейную машину. Несколько последующих дней квартира пребывала в состоянии деятельного хаоса, от которого Жуюй никогда не уставала: старые юбки и блузки аккуратно распарывались по швам ножничками, куски

перекомпоновывались и размечались мелкими по бумажным выкройкам, чтобы стать частями новой одежды; маленькая масленка, если нажать на плоское круглое доньшко, издавала приятный успокаивающий звук; шпульки ниток разных оттенков синего и серого располагали в ряд, чтобы найти нужную под цвет материи; когда одна из тетей жала на педаль, серебристая иголка, ожив, принималась метаться вверх-вниз сквозь ткань. Но даже в эти праздничные швейные дни Жуюй училась отдавать должное спокойствию и порядку. Она вдевала для тетей нитки в иголки, убирала обрезки ткани и кусочки ниток и, когда тети позволяли, сшивала обрезки в маленький шарик – но знала, что свое удовольствие от этих дел нужно прятать: шитье собственной одежды было больше чем необходимостью, оно было для тетей способом отделить себя от окружающего мира, в который они не вписывались; извлекать счастье из исполнения долга – по меньшей мере самовознесение перед Господом.

Господь-то и привел Жуюй в комнату Дедушки, где она чувствовала себя как дома: здешняя пустота была не гнетущей, а гостеприимной, тишина удерживала мир на расстоянии.

Вначале Жуюй только стояла у двери, готовая уйти, если старик выразит неудовольствие. Время от времени он обращал на нее взгляд мутных глаз, но большей частью словно не видел ее – ведь она никогда не приходила ни с едой, ни с питьем, ни с парой заботливых рук. Убедившись, что он никак зримо не протестует, она осмелела и начала садиться у кровати. В качестве предлога приносила с собой бамбуковый веер, и Тетя, заходя в комнату старика, несколько раз застала ее за тем, как она обмахивала его плавными движениями.

– Ты очень добрая к Дедушке, – сказала Тетя однажды вечером, войдя с тазиком воды и полотенцем. – Но не скажу, что мне нравится, сколько времени ты здесь проводишь.

– Почему? – спросила Жуюй. – Дедушка против?

– Что он понимает? – отозвалась Тетя. – Я думаю, это для тебя нехорошо.

По глазам старика не было видно, что он слушает. То, что он ближе всех остальных, кого Жуюй встречала, к смерти, наводило ее на мысль, что он, может быть, знает то, чего другие не знают; неспособность говорить поднимала его в ее глазах, он, должно быть, лишен дара речи в наказание за все, что взял от жизни. Глядя на Дедушку, она ощущала с ним необъяснимое родство: он, как она, вероятно, способен видеть вещи и людей насквозь, пусть и отличается от нее тем, что его молчание вынужденное, а ее – всегда добровольное.

Не дождавшись от Жуюй ответа, Тетя вздохнула.

– Ты ведь еще ребенок. Лучше гони от себя эту задумчивость.

Жуюй подвинулась, чтобы Тетя могла поставить тазик на стул.

– Мне не скучно сидеть с Дедушкой.

– Твои тети не для того тебя сюда послали, чтобы нянчить инвалида, – сказала Тетя.

Жуюй не была бедной родственницей, навязанной Тете и Дяде, она была платной гостьей. Перед ее отъездом тети-бабушки упомянули о том, что будут платить за ее содержание сто юаней в месяц – больше, чем зарабатывает каждый из супругов. Что, приняв Жуюй, семья существенно поправит свое положение, тети прямо не сказали, но она видела, что они хотели дать ей это понять.

– Я же ничего для Дедушки не делаю, – возразила Жуюй. – Просто сижу здесь, и все.

– В твоем возрасте надо быть с друзьями, – сказала Тетя. – Вот пошла бы сейчас, нашла бы Бояна или Можань и поехали бы кататься на велосипеде.

На велосипеде Жуюй ездить не умела – никто в родном городе, даже те из соседей, кому до всего было дело, не мог ждать, что две немолодые женщины будут бегать за девчонкой, едва сохраняющей равновесие, готовые подхватить ее, когда она начнет падать. Поначалу этот ее изъяз, похоже, смутил Можань и Бояна – они-то были настоящие пекинские дети, выросшие в седле так же, как растут в лошадином седле дети монгольских скотоводов. Автобусы, трамваи и метро, считали Можань и Боян, – это для стариков, для маленьких и для тех невезучих, кто почему-то лишен свободы, которую дает велосипед.

В прошедшие недели Жуюй часто с ними бывала. Зная город назубок, они по очереди возили ее на багажнике, выбирая боковые улицы и переулки, чтобы не остановила полиция: ездить вдвоем на одном велосипеде запрещено. Если нельзя было избежать магистрали или бульвара, они вели велосипеды, показывая Жуюй по пути старые швейные мастерские, столетние мясные лавки и булочные.

Жуюй не имела ничего против побыть одна, но других – Бояна, Можань, соседей – ее готовность к одиночеству, судя по всему, напрягала. Для Тети каждый час, что Жуюй проводила сама по себе, был своего рода укором. Рьяное желание окружающего мира сделать ее не такой, какая она есть, заставляло ее смотреть на все с недоверием. Почему, думала она иной раз, людям позволено быть такими глупыми?

Не получив ответа на свое предложение, Тетя сказала, что, может, и

нехорошо с ее стороны такое думать, но для своих лет Жуюй слишком много времени проводит со старыми людьми. Но Боян ведь живет у бабушки, возразила Жуюй, а Тетя сказала на это, что он другое дело, имея в виду, догадалась Жуюй, что у Бояна есть родители. То, что Жуюй не знает своих родителей, было на уме у всех знакомых с ее историей – ведь, согласно понятиям мира, ребенка должны произвести на свет отец и мать. Ребенок не может возникнуть, как растеньице, в трещине дороги; но Жуюй хотела, чтобы мир считал ее чем-то вроде этого – жизнью, упавшей сверху в щель между двумя ее тетями. Того, что для них троих это самое естественное, что, может быть, человек вроде Тети понять был не в состоянии.

Жуюй повернулась к старику, полузакрывшему глаза от скуки или усталости. Понимает ли он, задалась она вопросом, что все окружающие, кроме нее, если и не будут рады, то испытают облегчение, когда он умрет? Она, может быть, единственная почувствует утрату, хотя совсем его не знает.

Во дворе кто-то отпустил шутку, раздался смех, сопровождаемый хлопаньем ладоней, которые охотились в воздухе на кровожадных комаров. В последнем свете дня носились, уже пробудившись, летучие мыши, испуская тонкий пронзительный писк, не похожий ни на какие другие звуки, производимые живыми существами. Жуюй никогда раньше не видела летучих мышей, и эти странные животные, слепо и неистово летающие в сумерках, полюбились ей как мало что другое в Пекине. Даже из Дедушкиной каморки можно было порой увидеть летучую мышь, а то и двух, круто и безошибочно сворачивающих вбок перед самым столкновением со стеклом.

Тетя заменила спираль новой и зажгла ее; красный кончик был в комнате единственным живым источником света. Ни она, ни Жуюй не включали электричество, и в густеющих сумерках исхудалое лицо старика выделялось не так резко.

– Я никогда тебя не спрашивала, – заговорила Тетя после молчания не таким звучным голосом, как будто не была уверена в своем праве нарушить тишину. – Твои тети-бабушки – как они?

– Хорошо.

– Ты им писала?

Когда Жуюй только приехала, Тетя показала ей конверты и марки в ящичке ее нового письменного стола, но она только сообщила своим тетям-бабушкам телеграммой, что добралась благополучно, писем же не писала – их от нее и не ждали. Не желая сейчас в этом признаваться, она только



неопределенно кивнула; хотелось надеяться, что ни Тетя, ни Шаоай не будут считать марки и конверты в ящике. Получила ли она ответ, спросила Тетя и добавила, что они с мужем написали ее тетям-бабушкам, но от них ничего пока не пришло.

Жуюй сказала, что ей тоже не пришло, и почувствовала досаду, потому что Тетя, похоже, была огорчена их молчанием больше из-за нее, чем из-за себя.

– Ну, они всегда знают, как лучше поступить. Я думаю, они в нас уверены, не сомневаются, что ты устроилась хорошо, – сказала Тетя. – Или письмо где-нибудь задержалось. Такое всегда может быть.

– Ничего страшного, – отозвалась Жуюй.

– Есть там, где они живут, телефон? Сможет человек, который дежурит на телефоне, что-то им передать? Или их позвать? Я могу попросить Дядю отвести тебя на почту сделать междугородный звонок.

– По-моему, им не нравится, когда им звонят, – сказала Жуюй.

От писем они тоже не были в восторге. В подъезде их многоквартирного дома был зеленый деревянный ящик, куда дважды в день клали письма и газеты. Жители дома – не Жуюй и не ее тети – останавливались и проглядывали почту, читали заголовки чужих газет или бросали взгляд на чужие желто-коричневые открытки с зеленой почтовой эмблемой, которые стоили дешевле писем и предпочитались, когда нечего было скрывать. Как-то раз в первом классе Жуюй, только-только научившуюся читать, потянуло заглянуть в ящик. Верхнее письмо было адресовано семье на третьем этаже, но, помимо этого, она мало что увидела. Младшая из ее тетей, которая шла впереди и уже начала подниматься по лестнице, остановилась и оглянулась на нее. В глазах пожилой женщины не было упрека, она ничего не сказала, но Жуюй сразу поняла: сделав это из бесцельного любопытства, она опустилась ниже того, ради чего ее растили тети.

– Нет, правда, ничего страшного, – сказала она сейчас. – Тети напишут, если надо будет.

Тетя, вздохнув, промолвила, что Жуюй, конечно, знает их лучше. В ее голосе прозвучала нотка поражения; Жуюй, впрочем, унаследовала от своих тетей убежденность в том, что людям, особенно не слишком умным, нравится, когда у них случаются мелкие неприятности и пустые недоумения. У нее не было слов, чтобы облегчить Тетино беспокойство.

Старик, все это время мелко дышавший в полутьме, потерял терпение. Раздалось утробное ворчание, грозившее перейти в нешуточный протест. Тетя зажгла десятиваттную флюоресцентную лампу, свисавшую с потолка

на двух цепочках; свет придавал голой комнате, ее обитателю и двум посетительницам мертвенно-бледный вид. Тыльной стороной запястья Тетя проверила воду в тазике – несомненно, она была в лучшем случае еле теплая, но какая разница?

– Ты теперь иди, найди своих друзей, – сказала Тетя. – Дай мне обмыть Дедушку, пока он совсем на меня не рассердился.

Жуюй, прежде чем уйти, последний раз посмотрела старику в глаза, ища понимания, которым, воображала она, он наделен. Она верила, что ему, как ей, жалко Тетю, чьи разговоры с Дядей часто были односторонними: он кивал, бормотал что-то в знак согласия – и только. Когда Тетя заговаривала с дочерью, Шаоай отвечала крайне неприятным тоном – если вообще отвечала, – но Тетя, судя по всему, воспринимала угрюмость Шаоай безропотно, без обиды. Зачем вообще говорить, думала Жуюй, если люди, к которым обращаешься, либо бесчувственные стенки, либо всеохватные пустоты?

– Нет-нет, да и задумаюсь, – сказала Тетя Дедушке, когда услышала, как за Жуюй закрылась дверь дома, – что было бы, если бы эту девочку мать оставила у детского приюта.

Старик слушал. Теперь, когда слова сидели в нем взаперти, ему нравилось слушать разговоры невестки. Она знала это, потому что в дни, когда у нее пропадало настроение чесать языком, он становился неспокоен. В былые времена он не скрывал презрительного отношения к ее болтливости, хотя в своем браке он сам был разговорчивой стороной. Можешь не опасаться, что тебя сбудут с рук как немую, часто говорил он ей и не раз заявлял соседям, что его сын женился на женщине, страдающей *недержанием речи*. Но его собственная тихая, ни на что не жалующаяся жена давно умерла, три замужние дочери заботились о своих свекрах и свекровях, а сын, который унаследовал материнскую сдержанность, был плохим собеседником: он обмывал и кормил отца молча. Иногда Тетя испытывала мстительную радость от того, что не позволила свекру заткнуть себе рот.

– Знаю, знаю, – сказала она ему сейчас. – Никчемные это всё мысли. И все-таки разве не хотелось бы, чтобы девочка была чуть-чуть более нормальной?

Старик издал горловые звуки, не соглашаясь.

– Конечно, вам она такая нравится. Какой еще подросток будет иметь терпение сидеть тут с вами?

Тетя сняла со старика нательную рубашку и принялась обтирать его торс, стараясь не тереть полумертвую кожу слишком сильно и не нажимать

на выступающие кости. Несмотря на его многолетние насмешки, она относилась к нему тепло, ощущая близость, какой никогда не чувствовала к свекрови: тихие люди внушали ей почтение и смущали ее.

– И, само собой, ее тетям-бабушкам она тоже такая нравится. А до того, как ей в мир выходить, им нет дела, потому что их-то уже не будет, они не увидят. Вот так же вы Шаоай избаловали, а теперь мне расхлебывать.

Старик закрыл глаза, но Тетя знала, что он слушает.

– Что, не хотите слушать? И все-таки где, по-вашему, Шаоай набралась идей, что можно не выполнять правила? Своих детей вы такому не учили, правда же? Дочкам внушали, что надо быть послушными.

Не захочет ли она сама когда-нибудь, мелькнуло в голове у Тети, поощрять во внуке или внучке вольнолюбие и непослушание, вступить с ребенком в заговор против его родителей? Она тут же отогнала эту искушающую судьбу мысль, как надоедливое насекомое.

– Не думайте, что я просто так, без причины на вас набросилась. Когда последний раз Шаоай приходила с вами посидеть, поговорить? Мне сдается, ни вы, ни я, ни даже ее отец – мы для нее не существуем. Быть хорошей дочерью, внучкой? Исполнять свой долг перед старшими? Для нее все это – прогнившие идеи.

Старик упорно не желал открыть глаза. Тетя стянула с него кальсоны и трусы и, задерживая дыхание, осторожно обтерла ему пах. Закончив, сказала старику, что теперь перевернет его. Он не издал ни звука, и она увидела мокрые дорожки от уголков его глаз к обоим вискам. Ее сердце немного смягчилось, но тут же вползла хмурость. Она цыкнула на него; сентиментальность никому еще добра не приносила.

– Не смейте слишком много про это думать! Мы, видно, что-то ужасное сделали Шаоай в прошлой жизни, вот она и мучит нас теперь. Кто знает? А этой девочке, Жуюй, вы, может быть, в той жизни сделали хорошее, и теперь она о вас заботится, – сказала Тетя. – Она, наверно, тоже совершила в прошлой жизни какое-нибудь доброе дело и поэтому получила тетей, которые думают о ее будущем, а не выросла в приюте.

Но что это может быть за будущее, подумала, качая головой, Тетя; она подсунула руку под ноги старику, который, казалось, с каждым днем становился все легче. Ей бы хотелось с кем-нибудь посторонним поговорить о тетях-бабушках Жуюй, не с мужем и не с соседями: они считали этих двух женщин всего лишь ее дальними родственницами. Про то, что ее когда-то сговорили им в невестки, она никому не рассказывала.

Две сестры родились у третьей наложницы преуспевающего торговца

шелком. Их мать умерла при родах их младшего брата, и две девочки – им было тогда двенадцать и десять – можно сказать, вырастили мальчика, борясь без материнской поддержки за положение в огромной семье, где соперничали за внимание и материальный достаток четыре другие жены и пятнадцать братьев и сестер. В юные годы они стали католичками, и Тетя подозревала, что Церковь благодаря своей связи с Западом и влиянию, превышавшему возможности местных властей, помогла им отстоять свои права в семье. Когда брату исполнилось пятнадцать, две сестры обрели независимость и перебрались с ним в родную деревню их матери. Как им это удалось, никто не знал, но когда они приехали – две незамужние с деньгами, но без шансов на брак, и красивый и образованный, но слишком утонченный для сельской жизни подросток, – в деревне к ним отнеслись с подозрением и некоторым трепетом. Юноша вскоре поступил курсантом в военную академию в столице, но до его отъезда сестры организовали помолвку между ним и их дальней родственницей.

Тетя порой недоумевала, почему выбрали ее, а не кого-нибудь из ее сестер, родных и двоюродных. В девять лет она не была ни самой миловидной, ни самой проворной в шитье. Перемещение с небольшой сумкой одежды и подушкой на другой конец деревни не стало для нее потрясением – ей повезло, надо радоваться, сказали ей родители. Она знала, что бывает хуже: кое-кого из подруг сговорили и отправили в другие деревни. Жить у чужих непонятных людей иному ребенку ее возраста могло быть тяжело, но она слыла самой жизнерадостной и необидчивой из сверстниц. Несчастной у новых опекунов она себя не чувствовала. Да, они держали ее в строгости, но были с ней справедливы и научили ее читать, что помогло ей потом, когда она надумала пойти в медицинское училище.

– *Глупому – везение дурака, слабому – везение мозгляка,* – промолвила Тетя сейчас, думая о своей собственной таинственной доле.

Для старика это, должно быть, бессмыслица, но она, когда жизнь ставила ее в тупик, получала утешение, повторяя чужие мудрые слова. Ее помолвка с молодым человеком длилась пять лет, за это время она видела его только дважды, когда он приезжал на побывку из академии; вскоре после выпуска ему, служившему в артиллерии, пришлось бежать на Тайвань, когда его сторона проиграла гражданскую войну.

По сравнению с тем, чего лишились его сестры, она мало что потеряла, хотя иные в деревне сочувственно качали головами: овдовела до свадьбы. Когда стало ясно, что раздел страны может продлиться всю ее жизнь, сестры сказали ей, что оставаться у них ей нет никакого смысла. Не желая за них цепляться, но не в силах перестать думать о себе как о части

их жизни, она уехала, но так и не забыла их полностью, вопреки их ожиданиям. Писала им раз в год; после замужества и рождения Шаоай всякий раз прилагала семейную фотографию. Они отвечали учтивыми письмами, где желали добра ей и ее семейству и добросовестно сообщали о переменах в своей жизни: о переезде в провинциальный город, о том, как они, чтобы принадлежать к рабочему классу, стали вышивать в близлежащей мастерской шелковые платки, о том, как вышли на пенсию и как год спустя обнаружили под своей дверью ребенка. Прожитые ею у сестер годы, когда она помогала им по хозяйству, а они взамен учили ее, в письмах никогда не упоминались, как и мужчина, которому они были обязаны своей связью. Однажды, на шестом году Культурной революции, в ее больницу пришел и потребовал встречи с ней один из разъездных следователей, которых все боялись. Известно ли ей что-нибудь, хотел он знать, про брата этих женщин, бежавшего из Китая; он дал ей понять, что дело серьезное, тайваньско-американский шпионаж. Тетя сказала, что ничего не слышала; ложь незнакомцу отяготила ее совесть меньше, чем решение утаить этот разговор от мужа и его родни: маленький секрет, если опоздать его открыть, может стать большим. Какое-то время Тетя из-за этого плохо спала, две сестры и ее отроческие годы у них занимали слишком много места в ее сердце; чтобы выгнать вон старые воспоминания, она даже стала пить снотворное.

Как эти две женщины прошли через столько революций невредимыми, Тетя не знала – хотя кто мог быть уверен, что они остались невредимыми? В письмах они не упоминали ни о каких тяготах, и с какого-то времени, по-прежнему раз в год получая от них письма, она радовалась за них – радовалась тому, что их не бросили ни в какую тюрьму и не сгубили там. Может быть, это и правда их бог – может быть, это он обезопасил их во враждебном мире? Когда она жила у сестер, они молились дома на свой лад, потому что церкви в деревне не было; два раза в год ездили к своему старому священнику – вот уж о ком его бог точно не позаботился, новые коммунистические власти казнили его примерно в сорок девятом как контрреволюционера. То, чему сестры учили Тетю по части своей веры, она в какой-то мере усвоила как поверье, как предрассудок, так что она никогда в душе не говорила «нет» возможности существования божества в вышине. Представить только – они могли бы ее обратить, не сбегать ее жених из Китая; представить только – она могла бы мало того что стать женой офицера националистических сил, но еще и оказаться в контрреволюционном лагере, будучи религиозной!

Немного пользы в таких размышлениях. И все же, застегивая на

старике рубашку и укрывая его одеялом, Тетя жалела, что не может рассказать ему, как ему повезло, что она ухаживает за ним сейчас, что она будет его провожать, когда придет время ему оставить этот мир. Она могла выйти за молодого гомиьндановского офицера и покинуть вместе с ним страну; ее родных стали бы допрашивать во время Культурной революции, и они считали бы своим невезением, что их родственница оказалась в стане врагов. Я могла стать другим человеком, захотелось ей сказать старику, но она уже огорчила его один раз сегодня вечером. Она погладила его по щеке и велела отдохнуть перед тем, как принесет ужин.

Мертвые не отступают в тень, если их смерть остается под спудом. Впервые Боян оценил важность погребальных церемоний. Ему довелось побывать на нескольких, все они были организованы очень экстравагантно, и прославление брэнного казалось ему тогда смешным жестом. Но похоронные обряды, понял он сейчас, предназначены не для тщеславия покойников. Их-то уже нет, а вот живым нужны свидетели – нужны не столько на свадьбах, сколько на похоронах. Счастье и горе на этих церемониях взрываются, как фейерверки, и если счастье, которого не стали демонстрировать, сохраняет некую ценность на будущее, то горе, обращенное внутрь, всего лишь становится токсичным.

Ни Можань, ни Жуюй не ответили на имейл Бояна, и пустота, где он пребывал, ожидая ответа, вопреки своему нежеланию признаваться в этом себе, грозила придать смерти Шаоай больше веса. Где твой здравый смысл, спрашивал себя Боян; ты что, хочешь поместить объявление о розыске? И какой будет денежная награда? Но надежда, что смех над собой уменьшит его смятение, оказалась напрасной. Переносимая в одиночку, смерть становится хронической болезнью, которую надо прятать от окружающих.

Прошла неделя, но Боян так и не побывал у Тети, как обещал. Если бы она спросила про Можань и Жуюй, он не смог бы сообщить ей ничего нового; но спросила бы она? Может быть, он больше, чем вопроса, боялся молчания вместо вопроса: если бы Тетя не упомянула про Можань и Жуюй, он почувствовал бы себя еще более одиноким и злым. Его мать после их единственного разговора, похоже, перестала любопытствовать, и было бы неумно с его стороны заговорить с ней об этом снова. Разумеется, она бы не прочь увидеть, как он возвращается к теме, точно сомневающаяся рыба к наживке; возможно, она ждала этого с хитроумием рыболова.

Почему, думал Боян однажды вечером, в моей жизни толпится столько народу, а единственные, о ком невозможно перестать думать, верны своему обету отсутствия? Их молчание давало им власть над ним; люди, если их молчание не вынужденное, выбирают его, должно быть, именно ради подобной власти. Исчезновение – старый трюк, тем не менее он действует на сердце любого возраста; может ли быть, что мы никогда не избавимся от ребенка в себе, который, в панике от того, что больше не увидит любимое лицо, кричит и кричит до сего дня?

Вяло просматривая список контактов на своем мобильном, Боян играл

с новым приложением, позволявшим выбирать для контактов иконки. Мужчинам, с которыми можно выпить и обменяться похабными шутками, он присваивал иконку в виде рюмки или женской фигурки; женщинам, к которым не прочь бы прикоснуться с ненавязчивой лаской в темном караоке-клубе, – в виде губной помады. Дойдя до Коко, он заколебался и поднял на нее взгляд; она сидела в кресле, налегая на подлокотник, и смотрела на него, поджав губы. Он не забыл, спросила она его раньше, что они собирались встретиться с ее подружками в караоке-баре и отпраздновать день ее рождения? Спросила, а он ответил, что у него нет настроения выходить, и добавил, что нелепо начинать отмечать день рождения за неделю; кем она себя считает, поинтересовался он, – Иисусом Христом, английской королевой?

– Ты не опоздаешь к своим подружкам? – спросил Боян сейчас.

Он помнил, что согласился провести с ней этот вечер, посчитав, что компания глупых девиц в шумном заведении будет отличным противоядием молчанию. Но извиняться смысла не было: если не можешь освободиться от власти других над собой, приходится компенсировать это за счет тех, кто отдает себя в твою власть.

Сухим голосом Коко спросила его, все ли хорошо у него в бизнесе. Предложила сделать ему чашку чая – или он хочет массаж?

Больше всего, ответил он, ему нужно сейчас пространство, чтобы подышать и подумать, – и, пожалуйста, никаких слез и никаких вопросов, добавил он, тяжело утопая в глубинах дивана.

Актером он был неважным и, решив сыграть хама, делал это не более убедительно, чем исполнял роль почтительного сына ради матери, чей интерес к Бояну, далекий от материнского, был аналитическим, препарирующим. Будь Коко так же проницательна, как его мать, она легко расстроила бы ему игру насмешливой недоверчивостью, но Коко не смела отходить от сценария, где она была молодая и привлекательная приезжая из провинциального города, которая не может позволить себе искать в столице любовь, но, не лишенная смекалки, способна получить многое другое. Она соскользнула с кресла, как томная кошка.

– Позвонить тебе завтра или как?

Вопрос, Боян знал, был задан в надежде, что он захочет провести с ней ночь. Коко делила квартиру с двумя спальнями в обшарпанном доме с тремя девушками ее возраста. Она первая нашла в городе любовника с хорошей квартирой; две другие последовали ее примеру, но все продолжали снимать, потому что на постоянной основе их в эти вторые гнезда не приглашали. Единственная соседка, не преуспевшая таким же



образом, была, по словам Коко, внешне вполне себе, но не слишком ухватистая: она встречалась с парнем их возраста, у которого за душой ничего не было, кроме низшей должности в рекламном агентстве. Три более удачливые великодушно позволяли молодому человеку время от времени оставаться в квартире на ночь. Бояну пришло в голову, что сегодня, может быть, один из таких дней. Он ни разу не был у Коко, но без труда мог представить себе эту квартиру, где девушки, когда им было необходимо, прятались в свои занавешенные углы и зализывали в одиночестве раны, нанесенные миром с его потребительским к ним отношением; но неизменно они потом овладевали собой и снова бодро выходили в мир, ибо этого от них требовали их роли. Жизнь – битва, в которой меньшим не предоставлена роскошь дезертирства на полпути.

– Конечно, позвони мне завтра, – сказал он и пожелал Коко хорошенько повеселиться.

Коко замешкалась у двери, борясь вначале с застёжками сапог, потом с перчатками, а Боян, сидя где сидел, получал от ее неловкой возни неблагородное удовольствие, слишком обозленный, чтобы предложить помощь. Отправить Коко обратно в тесную квартирку, где молодые влюбленные, не имеющие в этом городе будущего, жмутся друг к другу ради ночи нищенского удовольствия, значило преподать ей житейский урок, пусть даже это был урок, какой, бывало, она отказывалась усваивать. В свои без одной недели двадцать два Коко уже выказывала признаки усталости, более глубокие, чем можно было сгладить освежающим сном или спрятать под косметикой.

Боян познакомился с Коко два года назад на вечеринке. Она записалась на курсы косметики, сказала Коко Бояну; ее цель – место визажистки в свадебной фотостудии, а когда накопится опыт – работа в киноиндустрии или на телевидении. Вы знакомы с продюсерами, спросила она Бояна, и, услышав в ответ, что кое с кем, может, и знаком, не отходила от него до конца вечеринки. Кто оплачивает вашу учебу, спросил он ее, и она сказала: родители, но она им врет, что учится на медсестру.

– Чтобы девочка хотела заботиться о стариках и больных, когда вырастет большая? Еще чего, – сказала она ему, по-детски морща носик.

Кем ты желаешь быть, когда вырастешь большая, хотел он иногда спросить Коко, но такой вопрос был не для папика: ему не следовало чувствовать себя ответственным за ее растраченную зря молодость. Кыш, произнес сейчас Боян мысленно, кыш, кыш, махая рукой девушке, которая, как ни была обижена, не забыла послать ему воздушный поцелуй, не зная, что это, увы, поцелуй в никуда, в бескрайность равнодушного мира.

Бояна радовало, что его неудачный брак был бездетным. Он не мог бы защитить ребенка от зловредств окружающего мира иначе, как воспитывая в нем способность причинять боль первым; или же ему пришлось бы еще больше постараться в бизнесе, добиться большего успеха, чтобы ребенок имел возможность вырасти порядочным человеком и не дать при этом себя затоптать. Но мысль о воображаемом ребенке – о его повзрослевшем ребенке – как о хорошем человеке так же выводила Бояна из равновесия, как фантазия о нем как о носителе скверных качеств. Конечно, между хорошим и скверным есть много всего в промежутке, но можно ли быть толстокожим и добрым одновременно – достаточно толстокожим, чтобы мир не наносил тебе ран, но достаточно добрым, чтобы эта толстокожесть не имела для тебя последствий в божественном плане?

От родителей Боян свое нежелание стать отцом не скрывал, и, насколько ему было известно, их это не особенно огорчало: его сестра, во всем идеально соответствовавшая родительским стандартам, родила пару прекрасных близнецов. В своих устремлениях, он знал, он довольствовался тем, чтобы обеспечить себе комфортабельную жизнь и иметь возможность быть около родителей, когда они состарятся. Он не чувствовал себя застрявшим посреди лестницы; если на то пошло, послужной список человека, делающего правильные вещи в правильное время, позволял ему чувствовать себя удачливым. Он прервал после первого года учебу в колледже, чтобы затеять типографскую фирму, когда цифровая печать делала в стране только первые шаги; после колледжа потратил два года на компьютерную программу, позволявшую вводить китайские иероглифы, и, когда ему надоело программирование, продал ее крупной компании; на фондовый рынок и на рынок недвижимости он пришел раньше многих, и сейчас, имея в активе девелоперский проект на свое имя и пару не связанных с ним бизнесов – органическую лавандовую пригородную ферму с одноэтажными коттеджами для отдыха, привлекательными для горожан, желающих быть в тренде, и кислородный бар в центральном деловом районе, где воздух, импортируемый из Японии, предлагался по высокой цене тем, кому была по карману его чистота, – Боян чувствовал себя вполне удовлетворенным. Он мог представить себе, что поднимается на несколько ступенек выше, но в целом не ощущал потребности оказаться где-то еще, не там, где сейчас; целеустремленность, по его мнению, ценилась выше, чем заслуживала. Он был свободен от привычек, вредных или нежелательных для человека его статуса: он пил, но не чрезмерно, он не баловался наркотиками, у него была девушка, но такая, от которой легко можно было избавиться, и он не испытывал большого интереса ни к чему

идеологическому – отказался поддержать группу подпольных кинодокументалистов и не клюнул, когда один из так называемых независимых художников попытался увлечь его своим фотопроектом, в котором обнаженные мужчины и женщины снимались в оргиастических позах на фоне сильно загрязненных индустриальных пейзажей.

Телефон просигналил – Коко прислала эсэмэску. Она гласила: «Сиди дома, не ищи себе другую!», дальше шла смеющаяся рожица, за ней сердитая, за ней шеренга поцелуев.

Бедная Коко – уже учится обращать все в шутку, в ее годы жизнь должна быть более серьезным делом. В ее возрасте девушка, с которой Боян встречался и которая потом стала его женой, а позднее любовницей другого человека, еще верила в любовь и преданность. По крайней мере Боян мог отдать бывшей жене должное: она заработала право смеяться над своим прошлым, пройдя все правильные стадии – сначала грезы, затем пробуждение, затем разочарование в мире, упорно не желающем оправдывать юные надежды. А над чем будет через десять или двадцать лет смеяться Коко? Над своими неуместными шутками? Или, хуже, будет постоянно сосредоточена на смехотворном в других, чтобы не иметь свободной минуты для размышлений о своей собственной глупости? Боян не видел у Коко впереди ничего обнадеживающего, но он мало что мог с этим поделать. Он сам к ее будущему не принадлежал, и, кроме того, он не подряжался в ее спасители.

Его бывшая жена после развода испытывала раскаяние. Хорошо, что он любил ее в меру, еще лучше, что обеспечил ее более чем в меру: квартира, которую он ей оставил, если городской рынок недвижимости не рухнет совсем, даст ей достаточно на черный день, и это одно освобождало его от всякой неловкости. Боян был не против того, чтобы в нем видели хама, но все же старался без нужды не причинять людям боли. Старался быть, как говорится, бандитом с принципами.

А ведь славную Коко прислала эсэмэску! Он весь день колебался, обдумывал за и против – позвонить или нет незнакомой женщине не старше Коко, девушке, в сущности. Но вот пришла эсэмэска, и эта мольба, замаскированная под предостережение, сработала как стимул. Не откладывая, он набрал номер девушки.

После четырех гудков она взяла трубку, голос в ней был еще более юный, чем при знакомстве. Слышен был только ее тоненький голос, без фонового шума. Где она – в художественном магазинчике, куда мало кто заглядывает, или уже пришла с работы, тихо проводит вечер в комнате, которую где-то снимает? Боян назвал себя и сказал, что он – тот, кто

приходил в магазин накануне и купил по ее рекомендации воздушного змея «двойной дракон».

– Хотя, может быть, вы много змеев продали вчера, – добавил он. – В таком случае я один из тех, кого вы уговорили купить змея.

– Нет, я помню вас, – ответила девушка. – Я только одного змея вчера продала.

– Сегодня больше?

– Нет, не больше, – произнесла она тихо, словно извиняясь.

Или, может быть, звонок уже кажется ей подозрительным? Накануне, когда она вышла в складское помещение, чтобы найти для змея подходящую коробку, Боян взял с прилавка ее мобильный и быстро позвонил себе, чтобы узнать ее номер. Интересно, заметила ли она этот звонок. Он не знал, как ее зовут.

– Гм, вы знаете, я звоню, чтобы спросить, нет ли у вас желания запустить змея в эти выходные.

– Но я не умею запускать змеев.

Продавщица змеев, захотелось Бояну сказать, должна хотя бы делать вид, что умеет их запускать. Он хотел пошутить, что ей следовало бы предоставлять более полный пакет услуг, но решил, что прозвучало бы развязно, не совсем пристойно даже. Девушка, он помнил, не откликалась на фамильярность многообещающим образом. Он заметил в магазине, что у нее есть привычка, слушая, смотреть собеседнику в глаза; благодаря темным зрачкам, почти все время сфокусированным, она выглядела и невинной, и владеющей собой.

Не важно, сказал он ей, что она не умеет запускать змеев. Он сам хорошо это делает; нужна только небольшая помощь. Девушка с колебанием в голосе ответила, что не уверена. Они договорились с подругой, что в субботу пойдут на художественную выставку.

– Что это за выставка?

– О, ничего серьезного, – сказала она смущенно. Что, подумалось ему, смутило ее – что ее поймали на лжи? Или что к ней клеятся, к чему она не привыкла? – Маленькая выставка, посвященная древней архитектуре, я подумала, что стоит сходить для работы.

Накануне между деловым ланчем и встречей в баре у Переднего моря Боян забрел на боковую улочку, где, он знал, был диковинный старый дом, частью музей, частью торговое предприятие, связанное с организацией, специализирующейся на народном искусстве и ремеслах. Пожалуй, подходящее место, чтобы присмотреть что-нибудь для матери на день рождения, плюс не худший способ убить час, выветривая выпитое за

ланчем вино. К декоративному искусству под старину Боян, как и его мать, особой любви не питал, но, насколько он знал, практически все, что он мог предложить, у нее уже было. Он смутно представил себе, что покупает ей бесполезную копию керамической фигурки династии Хань или искусно вырезанную на скорлупках грецких орехов знаменитую попойку поэтов династии Цзинь – что-нибудь, что мать оценит только потому, что ему непросто было это раздобыть. Любовь, измеряемая усилием, была единственным доступным ему видом любви.

Когда он вошел, в торговом помещении была только продавщица, и, услышав от него, что он хочет осмотреться, она предложила показать ему выставку воздушных змеев, изготовленных мастерами. Она помнила материал наизусть и время от времени приглашала его подойти к тому или иному змею поближе, оценить тонкость и качество прозрачных стрекозиных крылышек у миниатюрного шелкового змея величиной с ладонь или рассмотреть каллиграфическую надпись на другом – дикие, пляшущие иероглифы, которых, если бы не девушка, Боян не смог бы расшифровать. Тайком он положил в рот жевательную резинку, чувствуя себя виноватым перед девушкой, которой приходилось делать вид, что не ощущает, как от него разит спиртным. Волосы у нее были некрашенные, и Боян не помнил, когда последний раз видел у девушки такой натуральный черный цвет. Коко была перекрашена в рыжеватую блондинку.

– Вы одна из этих художников? – спросил, когда они выходили с выставки, Боян, показывая на плакат на стене с именами художников, входящих в организацию.

Девушка ответила, что, конечно, нет. Почему, спросил Боян, и она сказала, что большинство художников – мужчины из видных семей, где секреты мастерства передаются от отца к сыну и лишь в редких случаях от свекра к невестке, чтобы искусство сохранялось в чистоте.

– Правила требуют учить сына, но не дочь, учить невестку, но не жену, – сказала она, явно цитируя из текста руководства. Прозвучало до смешного серьезно и почтительно к правилам.

– Тогда почему вы здесь, если они не доверяют вам своих секретов?

Ее взяли, объяснила девушка, потому что она изучала историю старинного народного искусства в колледже. Он видел, что она всего-навсего образованная продавщица, и, судя по одежде и устаревшему мобильному, платили ей мало.

– Куда вообще идут с дипломом по истории искусства? – спросил он.

– Никуда по большому счету, – ответила она слегка удрученно. Ей повезло, что у нее есть работа, добавила она.

– Что делают те, кто с вами учился?

– Каждый свое, у всех по-разному, – сказала девушка, но он видел: она не рада, что разговор пошел в эту сторону.

Он, пожалуй, лучше, чем она, представлял себе, как у них складываются дела: выпускники из семей с хорошими связями вступили в новую фазу своей жизни, образование украсило их резюме как нельзя лучше; и были те, кому, как этой девушке, придется либо сделаться еще одной Коко, либо оставаться в продавщицах.

– Почему вы пошли на эту специальность, если нет хороших рабочих мест? – спросил он.

– Но она мне нравится, – ответила девушка, поднимая глаза, словно была удивлена неуместностью вопроса.

– Понимаю, – сказал Боян, хотя на самом деле не понимал.

Родители и родственники, должно быть, много раз задавали ей этот вопрос; это что, единственный ответ, какой она может дать?

Где-то в глубине здания звякнула микроволновка, открылась и с хлопком закрылась дверца. Он попытался представить себе, как девушка проводит дни в этом магазине, который находится не на бойком месте и никак не рекламируется. Ей одиноко на этой работе? Или она общество вещей предпочитает людскому? Может быть, она не возражала бы, если бы никто сюда не заходил, но люди все-таки появляются – праздные типы вроде Бояна, у которых то ли ничего, то ли слишком многое на уме, или члены организации, художники в годах, которые берут ее юные ладошки в свои, пространно рассуждая о своих славных достижениях. Какое будущее эта девушка рисует себе в воображении?

– Может быть, вы станете невесткой одного из этих людей и узнаете секреты ремесла, – сказал Боян. Вы из таких девушек, каких любят старые мужчины, на благородный или неблагородный манер, добавил он мысленно.

– Но я не хочу быть привязана к одному-единственному ремеслу, – сказала девушка так серьезно, что он не знал, смеяться над ней или сочувствовать.

Если бы он не выпил за ланчем лишнего, если бы не совершил только что сентиментальную прогулку вдоль пруда, у которого часто бывал с Можань и Жуюй, он выбросил бы девушку из головы, сочтя ее наивной дурочкой. Но его тронуло ее упрямство – так тронуло, что он купил самого дорогого змея в магазине, а затем тайком позвонил с ее телефона на свой, чтобы унести с собой что-то, принадлежащее ей.

– Я могу сопроводить вас с подругой на выставку, если вы не

возражаете, – сказал Боян сейчас. – А потом мы могли бы запустить змея.

– Но подруге это не понравится.

– Вы хотите сказать – вам это не нравится?

– Нет, подруге не понравится, что с нами незнакомый человек. Ей, может быть, хочется о чем-то со мной поговорить, но не при посторонних.

– А как насчет воскресенья?

– В воскресенье я работаю.

Это, казалось бы, завершало разговор; Боян чувствовал – девушка ждет, чтобы он повесил трубку. Он не мог понять, испытывает ли она из-за его звонка тревогу или раздражение; голос, однако, не звучал ни подозрительно, ни нетерпеливо.

– Могу я узнать ваше имя?

– У Сычжо.

– Когда вы заканчиваете работу в воскресенье?

Помедлив, девушка ответила, что в семь.

– Можно мне встретиться с вами после работы?

– После семи уже поздно будет запускать змея.

– Но не поздно где-нибудь скромно поужинать – если у вас нет других планов.

От того, как Сычжо согласилась, без колебаний и проявлений любопытства, сердце у Бояна слегка сжалось. Он был готов к вежливому отказу, который не помешал бы ему в воскресенье за несколько минут до семи вечера войти в магазин и сказать, что забронировал столик неподалеку – просто на случай, если она передумала. Привыкший к уклончивости во взаимоотношениях – по крайней мере в начале игры, денежной или амурной, – Боян, подобно многим, считал, что только преследуя или будучи преследуемым можно получить мерило для ценности персоны. Слегка обескураженный, он не нашелся, что сказать, когда девушка подтвердила время и попрощалась.

Боян пытался теперь вспомнить, была ли в голосе Сычжо нотка энтузиазма или готовности, которая дала бы ему повод отменить ужин; но он ее не находил. «Но она мне нравится», – припомнились ему ее слова и искренний взгляд, прозрачный и непроницаемый одновременно. Странно: он будто вернулся во второй класс на урок физкультуры, когда надо было бросать ручную гранату. Когда настала его очередь, он оглядел длинный ряд гранат – все старого советского образца, с деревянными ручками и черными металлическими головками; выбрал тщательно и со всей силы метнул. Он был высоким и крепким для своего возраста и рассчитывал установить рекорд класса, но металлическая головка, разболтанная за годы

приобщения детей к армейским делам, свалилась позади него со стуком, а деревянная ручка, кувыркаясь, неубедительно взлетела к небу и упала, сильно не долетев до цели. В первый раз тогда Боян почувствовал, что такое *несоразмерный* *замах*, почувствовал не перекрученным восьмилетним плечом, а где-то внутри, испытал незнакомое до той поры недоумение; и то же самое он ощутил сейчас: он не знал – или не желал знать, – чего хочет, когда звонил по мобильному, а теперь, похоже, было поздно, не имело смысла прокручивать все назад и разбираться.

Бояну хотелось, чтобы кто-нибудь был сейчас рядом, чтобы можно было, думая, разговаривать – не про девушку, которой он звонил, а про воспоминание о неудачном броске. Что, подумал он, дети сейчас бросают на физкультуре на дальность – бейсбольные мячи или какие-нибудь новые ручные гранаты в форме «сердитых птичек»? Можно спросить Коко, но она обратит это в шутку на совсем другую тему. Нет, Коко последняя, с кем он может поделиться этим воспоминанием. Ему нужен был кто-то, способный за неразберихой и хаосом увидеть серьезное: учительница побледнела, хотя, к счастью для нее и всех остальных, металлическая насадка не попала никому в голову, не раскроила детский череп; дети страшно возбудились, как будто им подарили неожиданный выходной; Можань мягко, озабоченно пощупала его руку и плечо, а потом ни с того ни с сего разразилась безудержным смехом. Да, он хотел, чтобы кто-нибудь увидел вместе с ним его прошлое, увидел детей в физкультурных формах синего цвета, самого неаппетитного из его оттенков, не настолько светлого, чтобы ассоциироваться с чем-нибудь восхитительным, и не настолько темного, чтобы выражать достоинство; ему нужен был кто-то, способный посмеяться вместе с ним и его подругой детства, вместе, но не *над* этими двумя гадкими утятами, не знающими своей судьбы и всей душой принимающими все, что им выпадает. Но, помимо этого, ему нужен был кто-то, способный понять, что момент, даже, казалось бы, пустячный, может со временем накопить в себе вес и значимость. Если оглянуться назад – не его ли это амплуа: герой, чье единственное достижение – пожертвовать собой, а заодно и окружающими? Стремление сделать что-то хорошее, поступить правильно – кто может с уверенностью утверждать, что оно отделено от стремления причинить вред, принизить? Позволив неизлечимо больной женщине не только втайне от его семьи существовать в его жизни, но и определять то, как он обращался с миром – недоверчиво и отчужденно, – он толкнул свою жену в чужие объятия. Отвернувшись сейчас от Тети, когда она осталась в мире совсем одна, он, вероятно, превзошел в жестокости Можань и Жуюй, которые отвернулись давно.



«Помнишь, как во втором классе развалилась граната?» Он вообразил, что начинает так электронное письмо к Можань; это побуждение к ностальгии ей трудно будет проигнорировать. Почувствует ли она себя обязанной ответить ему, если он не упомянет Шаоай и Жуюй, если письмо будет только о них двоих? Когда-то, много лет тому назад – если он пытается убедить себя, может быть, и ее сумеет убедить? – жила-была сказка о них или зародыш сказки; помнит ли она? Не может не помнить.

В сердцах он яростно выкинул из головы плаксивое послание. Обойтись с человеком плохо и отказаться признать это плохое обхождение – не проглядывает ли, подумалось Бояну, в его былом обращении с Можань то, кем он стал впоследствии: эгоистом, но не настолько, чтобы быть невосприимчивым к боли, причиненной его эгоизмом; непреклонным в своем отказе страдать, но не вполне слепым к страданиям других.

Боян знал, даже когда они были совсем юными, что чувство Можань к нему – не просто дружеское или сестринское. Тем, что он никогда ее ни к чему не поощрял, он оправдывал себя – и все-таки, когда произошло отравление, когда над их жизнями взяли власть безумие и утрата, он не подавил в себе желание сделать Можань больно, наказать Можань за ее любовь, за то, что она жива, здорова и добропорядочна.

Кем он себя покажет, если будет настаивать на том, чтобы взглянуть на прошлое свежим взглядом? С родителями Можань Боян все эти годы не общался, но слышал от старых соседей, что они немало ездят по свету, – значит, у Можань где-то налаженная жизнь, в которой много хорошего: муж, карьера, двое или трое детей (ведь она любила детей, всегда была терпелива с младшими в их дворе) – достаточно всего, чтобы не хотеть ворошить прошлое с ним на пару.

В воскресенье Боян решил немного опоздать на встречу с Сычжо. Он взял такси, чтобы не рисковать: может быть, предстоит потом везти девушку домой – или к себе. Последнее маловероятно, решил он; самое правильное – доставить ее туда, где она живет. Коко оставила массу следов и в его машине, и в квартире, как животное метит свою территорию. Защищать все ради первого свидания – нет, не нужна такая морока.

Боян попросил шофера высадить его на другом берегу Переднего моря. Он прошелся вдоль берега, а затем двинулся по каменному арочному мосту, где женщина-экскурсовод произносила заученный текст, объясняя по-английски с сильным акцентом группе иностранцев происхождение названия моста – «Слиток серебра» – с такой серьезностью, будто для этих белокожих туристов имело значение, что мост был построен при династии Юань, когда в Пекине правили монголы, а не при династии Мин, как

обычно и ошибочно думают.

Кому важны сейчас эти династии? Бояну захотелось сказать экскурсоводу, что она переоценивает интерес слушателей. Для Коко и ее подруг то, что случилось двадцать лет назад, было такой же древностью, как события двухсотлетней или двухтысячелетней давности.

В средней школе Можань и Боян вспыхнули интересом к своему городу. Копались в старых книгах на букинистическом рынке у храма Конфуция, покупали, скидываясь, все, что могли себе позволить на карманные деньги, об истории и архитектуре Пекина, о городских байках, накопившихся за поколения. Некоторым книгам было пятьдесят или шестьдесят лет, а иным больше ста, пальцы чувствовали хрупкость тонких пожелтевших страниц; на многих под обложками виднелись экслибрисы или подписи прежних владельцев. То, как Можань и Боян стремились познать свой город, ровесникам казалось странным и даже извращенным, но им было все равно, они гордились собой, как будто вдвоем открыли этот город и жили в нем одни. После школы закрывались у Бояна в комнате и всем говорили, что делают уроки, а на самом деле читали старые книги, рассматривали иллюстрации, радовались разнообразию украшений на старинных решетчатых окнах, запоминали истории и легенды, связанные с улицами, площадями и храмами. Кому, задавался Боян вопросом сейчас, принадлежали эти книги до них? Его удивляло, что этот вопрос не приходил им в голову тогда; они присваивали эти книги с такой же легкостью – возможно, свойственной только юным, не тронутым ни сомнением в себе, ни недоверием к миру, – с какой присваивали городские истории и красоты.

Лето, когда приехала Жуюй, показалось им идеальным временем, чтобы похвастаться накопленным: они свозили ее на перекресток казней, где сто лет назад люди собирались посмотреть на публичное обезглавливание и хлопали в ладоши, когда оно совершалось; они показали ей ветхий храм, у которого две девятисотлетние сосны срослись в неразделимую пару близнецов; они обращали ее внимание на керамические фигурки на свесах крыш старых домов, по которым можно было судить о статусе владельца. И, самое главное, они проводили долгие послеполуденные часы здесь, под ивами, у Переднего или Заднего моря, разговаривая о... Боян не помнил сейчас о чем. Что могло заставить их думать, что Жуюй когда-нибудь полюбит предмет их страстной любви? Что было у нее на уме тем летом, когда она к ним приехала? Нелюбопытные, полные самомнения, они с Можань, должно быть, допустили ошибку из разряда тех, что почти все в какой-то момент допускают в юности. Они ни

на секунду не готовы были увидеть Жуюй в ином качестве, нежели им хотелось: не сиротой, которую они согреют и окутают своей дружбой. Они оба были очарованы ею, даже пленены, и торопились предложить ей все, что имели – долгую историю города, короткую историю своего существования, – потому что не видели другого способа приобрести для нее значение.

Первая любовь иногда опасна, из-за нее в сердце может разверзнуться пропасть неуверенности и отчаяния; бывает, она выявляет то, что нас не красит, – многие ли из нас, оглядываясь на свою первую любовь, не усмехнутся над собственной глупостью или не подосадают на собственную нечуткость? В большинстве случаев, однако, первая любовь сходит на нет, не губя попутно человеческую жизнь. К его же первой любви присоединилась смерть, пусть и запоздавшая на двадцать один год; это как умереть от потери девственности, думал Боян с сарказмом, – несчастливо до смешного.

Мимо прошла молодая пара – китаянка, обеими руками уцепившаяся за европейца, который ни за что не хотел вынимать рук из карманов куртки. Глядя на него снизу вверх, она что-то сказала ему с настойчивостью ребенка, ищущего одобрения, но он лишь рассеянно кивнул. В свете уличного фонаря она выглядела ненамного старше Коко и была очень на нее похожа: крашеная блондинка, лицо и шея слишком бледные из-за пудры, выражение лица преувеличенно кукольное. У Бояна был друг, который открыл неофициальное агентство, поставлявшее иностранцев коммерческим структурам, которым нужно было белое лицо или несколько белых лиц, чтобы изображать потенциальных зарубежных компаньонов и спонсоров. Коко он по крайней мере в одном мог отдать должное: она не настолько глупа, чтобы поставить свое будущее в зависимость от какого-нибудь белого проходимца, ищущего в этом городе золотую жилу, – хотя, если подумать, какая разница? Коко знала, как и он сам, что сделала ставку на человека, доверять которому нельзя.

Хотя Боян задолго знал наперед, в какую сторону пойдет развитие этого места, ему досадно было видеть, во что превратились эти водоемы и все вокруг – в культурный магнит своего рода, к которому стекаются шикающие белые воротнички, экспаты всех национальностей, туристы, всяческие имитаторы – юнцы с кричаще-яркими ирокезами или дредами, фешенебельные женщины с дизайнерскими сумочками, открыто оценивающие аутентичность того, что видят у других и на других, длиннородый художник-авангардист в сером монашеском балахоне, который выглядел бы умудренным старцем, если бы не заботился о том,

чтобы вокруг него неизменно порхали, точно бабочки, две или три красивые молодые женщины. Что вас сюда всех манит, хотел Боян спросить кого-нибудь, взяв за плечо; что вас заставило покинуть свою страну, свой город, свою округу ради этой ярмарки тщеславия? Когда-то это был просто один из участков города, где люди существовали, разыгрывая свои мелкие трагедии и комедии. Ныне же, читал Боян в брошюрах для туристов, это самый сексуальный кусочек Пекина. Интересно, что подумала бы Можань, если бы вернулась и увидела, что там, где они любили проводить время в детстве, теперь главная сцена костюмированного представления? Впрочем, скорее всего, она бывала в подобных местах, бывала и сама участвовала в нелепой показухе. Он представил себе ее сидящей где-нибудь на римской пьядце или в парижском кафе на открытом воздухе; наверняка она прочла об этих местах достаточно и теперь непринужденно рассказывает историю-другую соседу по столику, больше смеясь, чем улыбаясь, потому что она не из тех женщин, что умеряют свою радость ради того, чтобы выглядеть элегантными. Проходящему мимо она кажется воплощением беззаботности, и в чьих-то воспоминаниях о городе она будет жить. Так почему не вернуться, спросил бы, если бы мог, он ее сейчас. Почему не посидеть у Переднего моря и не рассказать приезжему о дочери императора, которой он, когда повстанцы вошли в Пекин, отрубил руку? Не в силах вынести мысль, что она окажется в руках у дикой оравы, он хотел убить пятнадцатилетнюю принцессу, но она, защищаясь, подняла руку и стала умолять его сохранить ей жизнь; при виде кровавой раны он заплакал и сказал, что императорское происхождение навлекло на нее беду. Боян помнил, как Можань рассказывала тем летом эту историю Жуюй. Они стояли у дерева, на котором император повесился, не сумев заставить себя убить любимую дочь. *Конец династии Мин*, вспомнились ему слова Можань, ее серьезность была слишком искренней, чтобы даже сейчас у него возникло желание усмехнуться. Жуюй внешне была безразлична; и все же потянулась рукой над невысокой оградой к историческому дереву, чтобы сорвать листок, – но не достала.

Почему не вернуться сейчас, две беглянки, две дезертирши? Одной жизни пришел конец из-за тебя и тебя – но и с себя самого Боян не мог снять ответственность. Одной жизни пришел конец, и никто из них не вправе считать себя невиновным. Ведь это серьезно, нет? Многих ли из гуляющих по этому берегу посещают мысли об убийстве, многим ли являются, бросая тень на их рассудок, мрачные призраки, от которых приходится отворачиваться? Многие ли преуспели в убийстве?

Боян походил еще несколько минут, чтобы успокоиться и

сосредоточиться на свидании. Когда он наконец, двигаясь по неосвещенной стороне улицы, приблизился к Сычжо, он увидел, что она уже заперла магазин. Стоя на границе оранжевого пятна от ближайшего фонаря, она не набирала на телефоне текстовых сообщений, не смотрела нетерпеливо по сторонам, озабоченная его опозданием. По ее виду – она стояла с прямой спиной, неподвижно как статуя, глядя прямо перед собой, хотя в темноте впереди мало что можно было разглядеть, – он не мог понять: то ли она привыкла ждать других, то ли, наоборот, никогда не бывала в таком положении, и терпеливое ожидание еще не утомило ее.

«Пожалуйста, знай, что каждый мой день живется ради встречи с тобой. Пожалуйста, пусть чужие вокруг меня остаются чужими. Они не знают тебя, и они жалеют меня, потому что не знают тебя».

Жуюй перестала, чувствуя: что-то пошло не так. Она всегда любила этот момент в самом конце дня, когда ничто не стояло между Богом – ее будущим – и ней; даже ее тети-бабушки, которые вели за занавеской свою личную беседу с ним, теряли на время значение. Жуюй не понимала, однако, что вера для них – единственный способ сохранять достоинство в жизни, забравшей у них слишком многое: их слабовольная мать умерла слишком рано, брат, на которого они истратили свой запас любви и надежды, исчез, имущество конфисковали, привилегию принадлежности к Церкви отняли. Мир для сестер был сумрачной транзитной зоной, где они, вооруженные против него религией, с течением времени все больше становившейся для них вещью их собственного изготовления, либо не подозревали, какую тень бросают на жизнь сироты, либо считали это несущественным; ей же, приспособившей зрачки к вечному сумраку, стерильность принимающей за чистоту, отчужденность – за благочестие, то, что она различала в наводящей страх тени двух женщин, казалось единственной жизнью, достойной такого названия.

Но после приезда в Пекин спокойствие, которое давал Жуюй разговор с Богом, пропало. Могло ли быть, что он отдалился от нее просто для проверки? Не остался ли он на месте, дав ей уехать к чужим? Ее мольбы к нему, многократные и отчаянные выражения любви и преданности – все это, не востребованное, было разбросано вокруг нее, трупики нежеланных слов валялись, точно дохлые мухи осенью. Странно, думала Жуюй сейчас, что другие насекомые исчезают с наступлением холодов, а мухи падают мертвые на подоконники, на пол в углах комнат; им даже перед смертью не позволено скрыться, их уродство выставляется на общее обозрение.

Может быть, на это есть причина, ведь своя причина есть на все; ее тети сказали бы, что один Бог знает, в чем она. Но если Бог может покинуть мух и лишить их смерть пристойности, то как знать – может быть, она, Жуюй, не отличается в его глазах от этих мух? Ее тети-бабушки неизменно уповали на Бога, но что если они допустили ошибку – что если он, как ее родители, не увидел в ней ничего такого, ради чего ее стоит беречь?

Паника ударила по Жуюй с такой неистовой силой, что ей стало

физически больно – так больно, что сперло дыхание. Она открыла глаза и разняла руки, но вокруг все было по-прежнему: на письменном столе ровно светила лампа, перчатки нарисованного на циферблате часов Микки Мауса потихоньку перемещались, отмеряя время. В спальне, которую она делила с Шаоай, она была одна, сидела спиной к двери, занавеска висела спокойно. Дядя и Тетя уже легли, дав Дедушке снотворное, чтобы тихо проспал до утра. В общей комнате сидели Шаоай и ее университетская подруга, смотрели телевизор, уменьшив громкость. Через открытое окно до Жуюй донесся крик цикады, встревоженный, отчаянно призывный, – и умолк. В траве стрекотали первые осенние сверчки, их оркестр звучал меланхолично.

Жуюй приказала себе собраться. В любую минуту Шаоай и ее подруга Енин могли выключить телевизор и войти в спальню. Енин пришла вечером, приехав на поезде из своего родного города на осенний семестр, и ночевала у них, прежде чем вселиться в общежитие. Само собой разумелось, что на двуспальной кровати, которую Жуюй делила с Шаоай, они отлично разместятся втроем.

«Пожалуйста, прости меня и, пожалуйста, дай мне храбрость, чтобы быть достойной твоей любви», – начала вновь Жуюй, хотя страх, что она ему отвратительна, все нарастал. Она оставалась в том же положении и, не открывая глаз, ждала, чтобы прошла жестокая боль, но все время понимала, что боль не может быть ничем иным, как наказанием, которое наложил он. Он видит все, что надо видеть, и печется о ее благе. Так почему же тогда она, что ни день, просит его дать ей силу, которая уже должна у нее быть? Не досадно ли ему видеть, что она не может исполнять его требования; не тяготит ли его то, что она такая надоедливая, что не умеет выказать свою любовь, что постоянно кланится у него, вечно кланится, вечно?

Кто-то беззвучно вошел в комнату, и только когда вошедшая бросила на кровать подушку, Жуюй ощутила ее присутствие. Резко обернувшись, Жуюй увидела Енин, которая сидела на кровати; ее взгляд был обращен на Жуюй, но расфокусирован, она, похоже, всматривалась в то, что сама себе рисовала в воображении. Жуюй обратила внимание за ужином, что Енин, высокая и худосочная девушка, со всеми вежлива, но мало ест и мало говорит. Тетя не бомбардировала гостью вопросами и не потчевала ее усиленно, но видно было, что Тетя нервничает, и ее непрерывная трескотня была еще глупей, чем обычно. Жуюй замечала – и поведение Тети при госте это подтвердило, – что она суеверно боится тишины, как будто даже крохотный перерыв в обмене репликами – проявление ее несостоятельности или, хуже, предвестие некой беды.

– Я думала, ты смотришь телевизор с Шаоай, – сказала, подождав, Жуюй старшей девушке, которая все молчала и не отводила глаз.

Что-то в Енин внушало Жуюй тревогу, но она была слишком юна, чтобы это распознать: старшая девушка действовала в жизни в том же, что и Жуюй, амплуа нарушительницы принятых правил; самое болезненное поражение из всех – поражение от своей же стратегии в чужих руках.

Енин дернула плечами. В общей комнате – в спальне это было слышно – Шаоай переключила канал.

– Что ты делала, когда я вошла? – спросила Енин.

– Ничего.

– Невозможно делать ничего.

– Просто сидела и думала.

– О чем думала? Или о ком?

Жуюй пожала плечами и тут же осознала, что переняла этот недружелюбный жест у Енин.

– Ты случайно не с богом своим разговаривала? Шаоай говорит, ты с ним общаешься больше, чем с нами, смертными, – сказала Енин, выбирая слова со зловредной аккуратностью.

Жуюй встретила с ней взглядом. Енин ждала и, так и не услышав ответа, показала подбородком на футляр с аккордеоном в углу.

– Твой аккордеон?

– Да.

– Говорят, тут никому не удалось уговорить тебя снизить и сыграть.

Ее что, подумалось Жуюй, Шаоай послала ее унижать? Иначе зачем Шаоай вообще могло понадобиться говорить про нее с подругой? Шаоай ее невзлюбила, это было ясно как день. Она почти не разговаривала с Жуюй, что было, надо сказать, к лучшему, потому что в эти дни она редко разговаривала с кем-либо без того, чтобы огрызнуться; но поздно вечером она без устали демонстрировала свою к ней враждебность и отвращение. Ждала, пока Жуюй ляжет, гасила свет и продолжала читать при переносной лампе, яростно переворачивала страницы и иногда, кончив чтение, швыряла книгу на пол через комариную сетку. Жуюй, старавшаяся вставать как можно раньше – к счастью, Шаоай спала слишком долго, чтобы затевать утром новый раунд молчаливой конфронтации, – иногда бросала взгляд на книгу на полу, если она лежала названием вверх. Несколько дней подряд это была книга «Второй пол» некой де Бовуар; название смутило Жуюй, и, запомнив этот желтый корешок и потрепанный вид, она старалась не смотреть, даже если книга паялилась на нее с пола. Были и другие, потоньше, все с неприятными названиями: «Тошнота», «Мухи», «Чума».



Одна книга, впрочем, привлекла внимание Жуюй: «Исповедь сына века»; она была не прочь узнать, о чем это, но не смела шевельнуть страницей, боясь, что Шаоай проснется и застанет ее.

– Я играла на пианино в твоём возрасте, – сказала Енин. Смешно, подумала Жуюй: говорит так, будто мы из разных поколений. – Все время практиковалась. И все равно времени не хватало, я жалела, что в сутках не сорок восемь часов. Вот я и удивилась, когда наша с тобой подруга мне сказала, что ты здесь ни разу не притронулась к инструменту.

– Аккордеон – громкий инструмент.

– Все инструменты громкие.

– Не хочу беспокоить Дедушку.

– С чего ты взяла, что можешь его обеспокоить? – спросила Енин, но затем ее голос смягчился. – Меня тревожит, что ты потеряешь навык, если не будешь играть каждый день.

– Я могу подождать до начала школы. Можань говорит, там есть музыкальный класс.

– И все-таки ваши соседи наверняка думают, что ты от заносчивости не хочешь им сыграть.

– Никто так не думает, – возразила Жуюй.

– Откуда такая уверенность? – Енин с невинным удивлением широко открыла глаза, но затем опять их сузила. – Ты слишком юная, ты ничего еще не знаешь. Ты и половины не знаешь того, что люди о тебе думают, – промолвила она с мягкой печалью бессилия, словно об искалеченном животном или мертвом младенце.

Жуюй передернуло. И правда, несколько соседей просили ее дать во дворе вечерний концерт. Она вежливо качала в ответ головой и удивлялась про себя, почему люди так настойчивы, ведь она ясно дала понять, что не хочет. К аккордеону, на котором она играла, потому что так решили ее тети, она не питала ни любви, ни нелюби. Инструмент неважно ей подходил. Массивный, он ощущался как неизящное продолжение ее груди. Звучал громко, вещи, которые она играла – польки и вальсы из мест, где, она воображала, вечно светит солнце, – были слишком радостные. Дома, у теть, Жуюй иногда практиковалась, нажимая на клавиши, но не растягивая мех; только тогда она воспринимала себя как исполнительницу музыки, безмолвные мелодии были продолжениями ее мыслей, никто их не слышал, никто не обращал на них внимания.

– Какая милая, какая очаровательная невинность, – сказала Енин, улыбаясь себе, словно смакуя свое замечание, но прежде, чем Жуюй смогла ответить, она начала взбивать подушку. – Какая твоя сторона кровати? –

спросила она, и ее лицо вдруг сделалось ледяным, как будто она истощила запас доброжелательности и теперь хотела отстраниться от всего.

Потом, лежа без сна, Жуюй услышала, как Шаоай забирается в кровать между ней и Енин. Обеих старших девушек трудно было назвать приятными, и Жуюй удивилась тому, что они подруги. Или, может быть, у них не могло быть иначе, лезвие одной постоянно должно было врезаться в лезвие другой, желание ранить было неотделимо от желания быть раненой.

Много позже Жуюй разбудило злое перешептывание. Она не знала, который час и как долго длилась ссора. Она лежала как могла тихо, старалась дышать ровно, и вскоре стало ясно, что они спорят из-за парня.

– Пускай себе идет в монахи, – сказала Шаоай, – раз не имеет храбрости постоять за себя.

– Не в храбрости дело. Вопрос в том, что для него лучше.

– Или в том, что лучше для тебя? Разумеется, тебе труднее будет его охмурить, если он побреет голову и будет жить в храме.

– Это гнусно, Шаоай.

– А правда – она такая. Неприятная на вкус.

– Ты к нему несправедлива, ты слишком строго его судишь, потому что ревнуешь.

– Ревнуешь – неверное слово, – сказала Шаоай. – Он недостойн моей ревности.

– Еще бы, – сказала Енин. – Любой парень, на какого я обращаю внимание, для тебя низменное существо. Ты хочешь, чтобы я никого не любила и вечно была приклеена к тебе.

– Если у тебя такое ощущение, ничто не мешает отклеиться в любую секунду.

– Немудрено, что ты теперь так говоришь, когда с тобой делит постель миленькая и глупенькая девчушка.

Какое-то время обе лежали тихо, затем Жуюй почувствовала щекой легкое дуновение: Енин подняла комариную сетку.

– Куда ты? – спросила Шаоай.

Енин не ответила, и пару секунд спустя Жуюй услышала шаги ее поношенных шлепанцев в сторону общей комнаты. Она стала ждать колокольчика на входной двери, но он молчал.

– Ну как, вдоволь наслушалась? – спросила Шаоай тихо, но не шепотом.

Жуюй лежала не шевелясь.

– Я знаю, что ты не спишь, – сказала Шаоай. – Просто чтоб ты не поняла ситуацию превратно: парень, про которого мы говорили, был и

моим другом, но теперь он боится дисциплинарных мер из-за участия в протесте. Его родители устроили так, что он уходит на время из университета и перебирается в храм. Вообрази себе. Подальше от мирских дел.

Пожалуйста, сделай так, чтобы она перестала. Пожалуйста, убери ее, ведь она для тебя пустое место, и для меня поэтому тоже.

– Мы с Енин не согласны насчет его решения – я думаю, это все, что тебе надо знать, – сказала Шаоай. – Она считает, это хорошая идея. Любая идея, которая спасет его задницу, для нее хорошая идея. Но потом она чувствует себя несчастной из-за того, что отпускает его в мир, куда ей нет доступа. Мечтает, видимо, стать его персональным храмом.

Столько горечи звучало в этих словах, что Жуюй не вытерпела:

– Я не просила тебя мне рассказывать.

– Я для того тебе рассказываю, чтобы сэкономить твое время, чтобы ты не раздумывала над этим долго, – сказала Шаоай. – Теперь ты все знаешь, и лучше выкинь это завтра из головы.

Но Жуюй понятно было, что это не все; впрочем, это не имело для нее большого значения, потому что отделять правду от неправды – не ее дело; секреты, какими бы они ни были, порождают уродство. Жуюй чувствовала, что к ней льнет нечистота, словно присасываются к телу пиявки, про которых она читала.

– Хотя, если подумать, тебе, может быть, и полезно будет узнать чуть побольше про то, как все на свете устроено, – сказала Шаоай. – Твои тети-бабушки, похоже, здорово постарались тебя изуродовать.

– Ты даже их не знаешь, – сказала Жуюй.

– А я хочу их знать? – отпарировала Шаоай. – Судя по тому, как они тебя воспитали, я бы всякому юному существу посоветовала бежать от них как можно дальше.

Дома Жуюй приучилась не волноваться, видя, как люди обмениваются за спиной у ее тетя насмешливыми взглядами: никто из них ее тетя-бабушек не понимал, и, что важнее, тети не нуждались в понимании посторонних. Ей хотелось сейчас, чтобы она могла воспринимать болтовню Шаоай как нечто столь же маловажное, но Шаоай, судя по всему, твердо решила, что не отстанет.

– Дай-ка объясню, что я имею в виду, – сказала Шаоай. – Вот что ты думаешь про Енин? Она хорошая, по-твоему? Твои тети назвали бы ее хорошей?

– Она твоя подруга, – отозвалась Жуюй. – Зачем тебе мое мнение?

– Твой ответ как раз-таки мою мысль и доказывает. Да, она моя

подруга, но прежде этого она человеческое существо, она *существует*; любой должен иметь возможность составить о ней мнение. Моя мать думает, что она чудачка. Мой отец, скорее всего, считает ее избалованной девчонкой вроде меня. Наш очень трусливый приятель – будущий монах – считает ее жутко привлекательной и хочет, чтобы она ждала его, пока он отсиживается в храме, а потом вышла за него замуж. Но ты, ты – твое мнение какое? Ты только смотришь на нее холодным взглядом и говоришь себе: она не имеет ко мне никакого отношения. И она становится для тебя ничем. Понимаешь? Есть человек, которого ты, пользуясь абсурдной логикой, навязанной тебе твоими тетями, лишаешь бытия, превращаешь в ничто.

Жуюй почувствовала себя так, будто слова Шаоай сметают ее в пропасть – слова, в которых нет смысла, но есть что-то безумное и потому неодолимое.

– Но мы с Енин правда не имеем друг к другу отношения, – сказала она и тут же поняла свою ошибку. Сойти с позиции молчания, дать себе ввязаться – уже она позволяет Шаоай то, чего та не заслуживает.

– Ты не поняла, – сказала Шаоай. – Я о ней говорю только для примера. Хорошо, может быть, она неудачный пример. Но те, кого убили на площади Тяньаньмэнь? Ты задумалась хоть на секунду о них, об их семьях? Ты спросила Можань или Бояна про то, что они видели или слышали? Нет и нет, потому что эти погибшие не имеют к тебе никакого отношения; следовательно, они для тебя ничто. Смею тебя заверить, такой взгляд не у тебя одной. Революция подавлена, и теперь все больше и больше людей будут выбирать эту позицию, но тебя это не извиняет. Ты, должна тебе сказать, видимо, бессердечная от рождения – или твои тети-бабушки великолепно промыли тебе мозги. В любом случае твое безразличие ко всему, кроме твоей крохотной веры, просто ужасает. Конечно, ты можешь пожать своими грациозными плечиками и сказать: какое мне дело до твоего мнения?

Жуюй, дослушав монолог Шаоай, ничего не сказала. Ее молчание, похоже, разозлило Шаоай еще больше.

– Ну? – спросила она. – Снизойдешь до того, чтобы ответить мне?

– Что ты хочешь от меня услышать?

– Дело не в том, что я хочу от тебя услышать, а в том, что ты сама хочешь сказать. Давай же, защищайся. Защищай своих тетей. Пусть у нас по крайней мере будет хоть какой-то разговор на равных.

– Мои тети не нуждаются в моей защите.

– А ты сама?

– Считай меня кем угодно, да хоть никем, мне все равно, – сказала Жуюй и, к своему облегчению, услышала шлепанцы Енин.

До того как Шаоай успела найти новые слова, Енин вошла в спальню.

– Почему вдруг молчание? – промолвила она в темноту с легким смехом. – Мне казалось, вы тут хорошо проводите время.

На следующий день Шаоай помогла Енин перебраться в общежитие, и, когда она не вернулась к ужину, Тетя поинтересовалась вслух, не говорила ли Шаоай, что и сама собирается сегодня туда переселиться.

– Неужели я такую важную вещь прослушала? – спросила она Дядю, но он заверил ее, что и сам ничего такого не слышал.

Тетя спросила Жуюй, и она ответила, что тоже не знала о таком намерении Шаоай, если оно было. Может быть, в глазах Шаоай Жуюй была кем-то вроде тех птиц, что занимают чужие гнезда; но эта мысль не заставила Жуюй испытать сожаление и не уменьшила ее облегчение от перспективы получить спальню в свое полное распоряжение.

Когда кончали ужинать, Шаоай вернулась и с жестким лицом объявила, что решила в этом семестре ездить на занятия из дома. Дядя и Тетя нервно переглянулись.

– Кто-нибудь из начальства говорил с тобой? – спросила Тетя.

– Нет.

– И что это значит? Что все будет хорошо?

– Ничего никогда не будет хорошо, если тебе интересно мое мнение, – отрезала Шаоай.

– Но университет... они... они тебя... – Тетя тщетно пыталась подыскать слова.

– Тебя беспокоит, что меня исключат? И я не получу диплома, не устроюсь на службу и вечно буду жить за твой счет? – спросила Шаоай. – Я вот что тебе на это скажу: на свете происходят вещи и похуже, чем не получить бесполезный диплом по международной торговле и отношениям.

Тетя и Дядя проводили взглядами Шаоай, метнувшуюся в спальню. Была бы в ней дверь, подумала Жуюй, Шаоай хлопнула бы ею, разыгрывая свою драму как положено, и, словно Шаоай пришла в голову та же мысль, она вышла из спальни, сказала, что в доме душно и она выйдет прогуляться. Тетя посмотрела на часы на стене и хотела что-то сказать, но не стала, увидев, как Дядя еле заметно покачал ей головой. Секунду спустя дочь хлопнула входной дверью; колокольчик на ней, никем не придержанный, бешено закачался.

Никто не проронил ни слова, но затем Тетя, подняв глаза и встретившись взглядом с Жуюй, вздохнула и пожалела вслух, что они с

Дядей не смогли обеспечить ей более спокойное житье, что Шаоай так вызывающе себя ведет.

– Знали бы твои тети, какие мы плохие родители, не послали бы тебя сюда, наверно, – сказала Тетя с удрученным видом.

– *Для каждой семьи написана своя книга испытаний*, – промолвил ее муж, глядя на Жуюй участливо, побуждая ее согласиться с ходячей фразой, что она и сделала, сказав, что Тетя не должна так переживать, что все в конце концов образуется.

Очень желая поверить кому-то – предпочтительно не мужу, – Тетя, похоже, ухватилась за слова Жуюй и повторила изречение, словно, успокоившись благодаря собеседникам, захотела внушить им в ответ еще большее успокоение. Когда из комнаты Дедушки, который еще не ужинал, послышались требовательные звуки, Тетя встрепенулась и взялась за дело. Дядя с нежной печалью смотрел, как она наполняет миску жидкой кашей и добавляет сверху мягкий ферментированный тофу. По крайней мере, подумала Жуюй, у нее есть он, а у него она, они могут держаться друг за друга, как держатся ее тети-бабушки.

Когда Тетя вышла из комнаты, Дядя сказал, обращаясь к полупустым тарелкам:

– Очень мило с твоей стороны, что ты такая тактичная.

Жуюй невольно усомнилась, что Дядя, который очень редко начинал разговор, сейчас говорит именно с ней. Она посмотрела на него, но он только улыбался, глядя на остатки еды, как улыбался, когда соседи дразнили кого-нибудь во дворе или когда Тетя жаловалась на погоду. Жуюй не была уверена, что он ждет от нее ответа.

– Шаоай с самого начала была своенравная, – продолжил Дядя. – Трудный ребенок, прямо скажем. Мы разговаривали с Тетей про второго ребенка, она хотела, но я был против, мне подумать было страшно, что придется пройти через все еще раз.

– У вас мог родиться кто-нибудь с другим характером, – сказала Жуюй. – Я слышала, что у одних и тех же родителей могут быть совсем непохожие дети.

Дядя вздохнул.

– Нам многие это говорили, но я не верил. Честно говоря, я жалею теперь, что был такой упрямый. Если бы мы завели второго, сейчас нам, может быть, легче было бы, как ты считаешь? По крайней мере Шаоай бы училась быть доброй к младшим. Нам очень грустно, что она не приняла тебя как члена семьи.

Жуюй покачала головой, словно давая понять, что это не имеет

значения. Если бы у Дяди и Тети был еще кто-нибудь – мальчик, скажем, – ее тети-бабушки, скорее всего, сочли бы эту семью неподходящей для Жуюй и отправили бы ее жить в другое место, к другим людям... но все это пустые, бесполезные мысли. Она встала и сказала, что уберет со стола, если Дядя не будет доедать.

Последние дни лета, как всегда, были солнечные. Августовская жара, хоть и сходила уже на нет, была все же достаточно сильна, чтобы создавать иллюзию нескончаемости минуты, дня, времени года. Цикады, упрямые создания, долгие годы прожившие под землей, не желали покидать своих постов на деревьях; но дни их были сочтены, закат глушил их песни и приносил, наряду с первым прохладным дуновением, осенний стрекот сверчков.

*Один лист падает, и знаешь, что осень настала;* утром в последний день августа Жуюй услышала, как во дворе бабушка Бояна, беседуя с соседкой, вспоминает эту пословицу. Смена времен года, судя по всему, пробудила в людях сентиментальность, все как будто готовились к тому, что некая их малая часть умрет, как умирают летние существа. Арбуз Вэнь, услышав слова пожилой женщины, затянул фальцетом отрывок из оперы, где старый военачальник горюет о дереве, одряхлевшем за пятьдесят лет его службы; близнецы Вэня пустились передразнивать отца из-за сетчатой двери, а потом захихикали, оборвав представление и уменьшив печаль.

Подожди немного, не раз говорили Жуюй соседи, ты полюбишь пекинскую осень. Или же: дождись осени, и ты полюбишь Пекин. Идея, что можно полюбить место или отрезок времени, была нова для Жуюй; она, может быть, переварила бы это лучше, не будь все убеждены, что ее чувства должны быть именно такими. Время года было для нее временем года, не больше и не меньше, потому что так воспринимали время ее тети-бабушки, каждый день был для них копией предыдущего; а место – любое место – было всего лишь частью пространства, дающей тебе пристанище на пути от начала к концу. Лишь на театральных подмостках старик может положить руку на шершавую кору дерева и предаться печали из-за своей грядущей смерти; в реальной жизни, если человек горюет о себе, это горе так же бессловесно, как тусклый свет в глазах Дедушки, который лежит в застойной лужице дней, скопившихся вокруг его умирающего тела.

Утром 31 августа Боян прикрутил аккордеон Жуюй сзади к своему велосипеду, а Можань, перекинув ногу через раму, ждала, пока Тетя кончит говорить с Жуюй и та сядет на багажник. Для поступающих в старшую школу это был день регистрации. Вдобавок к заявлению Тетя дала Жуюй записку о том, что после регистрации она должна зайти к учителю музыки.

Школа № 135 занимала территорию при бывшем храме. В обширном дворе, похожем на парк, там и тут высились старые вяза и тутовые деревья, ухоженный некогда сад посередине давно зарос дикими цветами и плющом. В несколько рядов стояли грубые одноэтажные кирпичные учебные и жилые корпуса сравнительно новой постройки, придававшие всему здесь вид наспех спланированной народной коммуны. Сам же храм, который занимали администрация и учителя, был разделен на два уровня и разгорожен тонкими стенками на кабинеты, однако первоначальная архитектура давала себя знать высокими потолками, круглыми деревянными колоннами и длинными узкими окнами. Внутри стоял вечный полумрак; старая деревянная обшивка стен и потолков была выкрашена в темно-коричневый цвет, пол был тоже старый – кирпичный, серый, неровный и кое-где подцементированный. В коридоре и кабинетах жужжали трубчатые лампы дневного света. Любить, подумалось Жуюй, в этой школе нечего.

Можань и Боян, узнав, что их троих записали в один класс, похоже, обрадовались. После регистрации они повели ее к Шу, учителю музыки. Музыкальный класс находился в дальнем конце территории, в строении, где раньше, сказал Боян, ночевали посещавшие монахов родственники. Жуюй представила себе Енин, подругу Шаоай, в таком же домике при другом храме, вообразила, как парень, которого она любит, одетый в длинный серый балахон, молча перебирает четки, пока она изливает ему душу. Как странно, подумала Жуюй, оказаться в месте, не имеющем отношения к твоей жизни, но необходимом на какой-то срок; тети-бабушки и помыслить не могли, что она будет учиться в бывшем буддийском храме.

Учитель Шу оказался одним из самых некрасивых людей, каких Жуюй встречала. Низенький, лысый, плохо выбритый, с круглыми глазами, постоянно открытыми до предела и, казалось, немигающими, он напомнил ей взъерошенную сову, не столько грозную, сколько растерянную. Когда он улыбался, его лицо выражало неприкрашенное веселье, зубы были желтые от курения. «Я тебя ждал», – сказал он, когда Жуюй назвала себя, и махнул рукой Бояну и Можань, отправляя их из класса. Они послушно вышли, но задержались на веранде, оставив дверь приоткрытой.

Жуюй сыграла «Песню матадоров» и «Голубой Дунай»; учитель попросил еще, и она сыграла две польки. Она не практиковалась месяц, и пальцы, хотя уверенность сохранилась, несколько раз споткнулись на местах, где раньше не спотыкались. Учитель Шу задумчиво кивал и, когда она кончила, попросил у нее аккордеон.

120-кнопочный инструмент «Попугай» наилучшей модели, который



тети Жуюй, когда ей исполнилось девять, купили задорого на черном рынке, произвел на него, судя по всему, более сильное впечатление, чем игра Жуюй и ее свидетельство о восьми классах музыкального образования. Он потрогал головку золотистого попугая на корпусе, а затем стер след пальца рукавом. Можно мне попробовать, спросил он. Да, ответила Жуюй и постаралась не смотреть на его грубоватые тупые пальцы с табачными пятнами, когда он взялся за инструмент и стал ослаблять ремни.

– Давно ты играешь?

– Шесть лет.

Шесть лет, сказал учитель Шу, неплохо для этого возраста.

– А родители твои играют на чем-нибудь? – спросил он, но, не успела Жуюй найтись с ответом, он начал «Песню монгольских пастухов».

Пальцы его неказистой правой забегали вверх-вниз по клавиатуре с балетной ловкостью, левая разводила и сводила мех непринужденно, ритмично. Посреди пьесы к домику подошла высокая жилистая женщина. Можань и Боян, которые стояли, прислонившись к дверному косяку, быстро выпрямились и пропустили ее внутрь. Она села на ближайший стул и стала смотреть на учителя Шу – без явной улыбки, но что-то в ее лице смягчилось. Когда он доиграл, она назвала себя: директор Лю. Позднее, познакомившись с Жуюй получше, учитель Шу, когда они бывали наедине, рассказывал ей про директора Лю: что она осталась незамужней, чтобы стать педагогом высшего уровня, что, внешне суровая и строгая, на самом деле она добрая и довольно одинокая женщина.

– На аккордеоне ведь как надо играть? Это оркестр из одного человека, и ты должна быть всем понемножку. И петь надо, и шептать, и рычать, и говорить, и нежно мурлыкать, и даже плакать, – сказал учитель Шу, снимая аккордеон и аккуратно передавая Жуюй. – Вообрази себя одним из этих матадоров, и на тебя несется огромный бык. Что ты почувствуешь? Вот с этим и надо начинать играть.

Жуюй смотрела на него. Он задал ей вопрос, но она не знала, нужно ли отвечать. Учитель Шу почесал в затылке.

– Ладно, может быть, я слишком многого от тебя требую. Хорошо, матадором ты быть не можешь. Но представь, что ты в длинном ниспадающем платье кружишься в вальсе на венском балу.

Учитель Шу начал напевать себе под нос «Голубой Дунай» и, взяв за талию воображаемую даму, подняв подбородок, проделал несколько кругов. Боян засмеялся было, но Можань заставила его притихнуть.

– Ну, и как движется в этом танце твое тело? – спросил учитель Шу,

остановившись перед Жуюй.

– Я не умею танцевать.

– Это не обязательно. Просто представь себе. Вообрази себя принцессой Сисси. Вообрази себя Роми Шнайдер, играющей Сисси, – сказал учитель Шу. – Знаешь, о каком фильме я говорю?

– Нет.

Учитель Шу, помолчав секунду, развел руками.

Жуюй не знала, получила она одобрение или нет. С музыкантами, кроме учителя Шу и своего пожилого бывшего учителя игры на аккордеоне, которому тети платили за два урока в неделю, она никогда не имела дела, музыка и ее исполнители мало ее интересовали. Она не питала к музыке ни любви, ни нелюбви: любить или не любить что-либо в жизни – значит сбиться с дороги. Она ровно с таким же успехом могла бы стать шахматисткой, или художницей, или балериной – чем угодно, что отличило бы ее от других в провинциальном городе. С тем, что для нее была выбрана музыка, а инструментом стал аккордеон, Жуюй смирилась как с чем-то неизбежным. Переселяться в воображаемое тело принцессы она смысла не видела.

Учитель Шу кивнул директору Лю, и они ушли в маленький кабинет, примыкавший к музыкальному классу. Можань поманила Жуюй, та секунду поколебалась и подошла к двери, неся футляр с аккордеоном.

– Ведь правда учитель Шу страшно милый? – спросила Можань.

– Ты так думаешь? – отозвалась Жуюй.

Можань покраснела.

– Он вначале может не понравиться, но поверь мне, он один из лучших учителей.

– К твоему сведению, – шепнул Боян Жуюй, – Можань уже три года как равнодушна к учителю Шу.

– Эй, ты, – сказала Можань. – Хватит!

– А учитель Шу, между прочим, не женат, – продолжил Боян, все еще обращаясь к Жуюй, но улыбаясь Можань, которая хотела что-то сказать, но не стала, потому что учитель Шу и директор Лю вышли из кабинета.

Учитель дал Жуюй папку с нотами и сказал, что будет заниматься с ней по вторникам в четыре, начиная со следующей недели. Она может, добавил он, оставлять здесь аккордеон, и он вручил ей два ключа: маленький от комнатки, где хранились инструменты, и большой, медный, – от входной двери в домик.

Тети-бабушки ничего не говорили Жуюй о музыкальных уроках, и она задалась вопросом, надо ли сказать учителю Шу, что у нее нет денег, чтобы

ему платить. Повлияет ли это на ее положение в школе? Немного погодя она поделилась своим сомнением с Можань и Бояном.

– Зачем тебе ему платить, если тебя приняли в школу? – спросил Боян.

– Иначе какой смысл ему меня учить? – сказала Жуюй и объяснила, что дома ее учителю платили десять юаней за урок плюс проезд на автобусе.

– А учитель Шу получает в школе зарплату, – сказала Можань.

– Но разве школа будет ему за меня доплачивать? – спросила Жуюй. – Я могла и не приехать. Он бы не тратил на меня время, а получал столько же, правда?

Можань повернулась к Жуюй и пристально посмотрела на нее, но ее лицо было, как всегда, непроницаемо. Озабоченность Жуюй была вроде бы осмысленной, но Можань не могла отделаться от мысли, что с логикой у Жуюй что-то не так. Жизнь – это не только деньги, хотела Можань объяснить Жуюй, и в уме она могла объяснить это хорошо, так же терпеливо, как она улаживала ссоры между соседскими детишками. Как и другие семьи во дворе, семья Можань была очень скромно обеспечена, трудности у ее родителей были ровно те же, что у большинства знакомых: приходилось очень точно все рассчитывать, чтобы сводить концы с концами, чтобы на месяц хватало яиц, мяса и других продуктов, выдаваемых по карточкам. Тем не менее родители Можань никогда не скупились на пельмени для соседей и делились с ними свежими фруктами, которые ее отец иногда получал на работе бесплатно. Другие семьи не оставались в долгу, и в жизни, которую Можань знала, в жизни, проходившей не только в семье, но и в такой же степени снаружи, с соседями и друзьями, достаток не играл важной роли, о нем не особенно думали. Но, объясняя это в уме, Можань чувствовала, что ее расстроило не только излишнее внимание Жуюй к денежным делам. Для Жуюй в том, чтобы представить себе жизнь учителя Шу без нее, не было, похоже, ничего неестественного; так же легко ей, вероятно, было вообразить себе жизнь без учителя Шу или, если на то пошло, без Бояна и Можань. Не зная, что в пределах ее досягаемости, а что нет, Можань бессознательно подвинулась ближе к Жуюй, словно искала успокоения.

– Если хотите знать, что я думаю... – начал Боян.

– Никто не хочет этого знать, – отрезала Можань, удивив их обоих.

– Хотите или не хотите, скажу все-таки, что предлагаю из-за этого не волноваться, – сказал Боян. Так или сяк, все сложится, добавил он, и, чем глупо стоять, как новенькие, у школьных ворот, почему бы не отправиться на Заднее море, не взять лодку и не получить удовольствие от последнего

дня лета перед тем, как возвращаться в клетку?

– В клетку? – переспросила Можань. – Услышали бы твои родители, как ты говоришь про школу, забрали бы тебя к себе.

– Вот это была бы беда настоящая, – сказал Боян и, изобразив обезьяну в клетке, издал жалобные вопли.

Жуюй смотрела на этот маленький спектакль, и, увидев, что она, в отличие от Можань, не улыбается, Боян спросил, беспокоится ли она все еще об уроках музыки. Жуюй покачала головой.

– Откуда ты знаешь, что ты не в клетке здесь и сейчас? – спросила она.

– Ха-ха, ущучила меня, – сказал Боян. – Самые лучшие шутки выдают такие, как ты, даже не улыбаются, когда говорят смешные вещи.

Можань взглянула на Бояна и напонила про лодку. Солнце на безоблачном небе все еще стояло высоко, и день отличался от других, был реальным и нереальным одновременно. Картинки предстоящей школьной жизни, мелькавшие в голове у Жуюй, когда Боян и Можань показывали ей территорию и корпуса, были странно далеки от того, к чему она успела привыкнуть летом. Заново выкрашенные классы, где стулья лежали на столах кверху ножками, образующими маленький металлический лес, выглядели знакомыми и вместе с тем негостеприимными; в научном крыле, где в одном кабинете на скамье у двери стояли бунзеновские горелки, а в другом поверх старых плакатов были наклеены новые, с наглядно изображенными внутренностями лягушки и человека, было как-то холодно и безжизненно; у беговых дорожек учитель физкультуры мыл из шланга бетонные столы для пинг-понга; в дальнем конце территории, где были жилые корпуса, уже заселившиеся ученики вывесили наружу проветрить цветные одеяла; две девочки, стоявшие у входа в один из корпусов, увидели, к своему замешательству, что термос, который одна из них поставила слишком близко к краю крыльца, почти беззвучно упал и горячая вода, дымясь паром, льется по ступенькам.

Все волнения указывали в завтрашний день – в день действий и взаимодействий, которые решат, кто будет кем в новом классе, в новой компании; нынешний день поэтому сделался пуст, преждевременно уничтожился.

Можань внешне безучастно посмотрела на Жуюй, надеясь, что она согласится на предложенную экспромтом вылазку, и страшась, что она скажет нет. День в одиночестве был невыносим, по крайней мере для Можань, и редкий день в ее жизни проходил без Бояна; а Жуюй что в их обществе, что сама по себе выглядела одинаково безмятежной.

– Еще один день на пруду? – спросила Жуюй тоном таким же

неопределенным, как выражение ее лица, и Можань не могла понять, что она предпочитает.

Можань и Боян могли бы запросто поехать на велосипедах на пруд, к своему любимому месту, залезть в лодку и провести остаток дня на воде, слушая цикад в кронах деревьев, поглядывая на разносчиков в аллеях и болтая о пустяках, но эта перспектива, которая месяц назад выглядела бы идеальной для привычно бездумного летнего дня, теперь рождала ощущение неполноты, как будто Жуюй, войдя в их мир, уменьшила его этим. Они трое уже, по крайней мере для Можань, были в большей мере единым целым, чем просто она и Боян.

– Ну давай с нами, а? – сказала Можань, и от нотки мольбы в собственном голосе по ней прошла легкая дрожь в тени деревьев.

Можань дважды прочла памятку сотрудника, однако среди законных причин для удлиненного отпуска болезнь бывшего супруга, пусть даже смертельная, не фигурировала. Тут не было ничего неожиданного, но это лишний раз напомнило ей, что перед лицом смерти никакие связи, помимо кровных и брачных, не берутся в расчет как значимые. Она задумалась, какие у нее есть другие возможности. Не отдает ли жадностью сама идея взять отпуск? Смерть, как память, требует от тебя сердце полностью, оставляя мало места для торга.

На листочке бумаги Можань перечислила то, о чем надо позаботиться, прикинула возможные расходы и доступные средства. У нее был некоторый запас отпускных дней: помимо ежегодной поездки с родителями, она редко что-то брала. Договор об аренде дома был заключен до конца августа, но, если не удастся сдать его в поднаем, можно платить издалека. Банковский счет позволял ей протянуть два года, а то и больше; она всегда жила просто и не собиралась изменять этому после переезда. Ценные бумаги принесли ей кое-какой скромный доход: она была консервативным, неамбициозным инвестором, и потому недавний финансовый спад ее почти не затронул. Акции своей компании, накопленные за годы работы, она прибережет на непредвиденный случай. Вся эта конкретика – списки, колонки цифр – успокоила Можань, придав вечеру целенаправленность, которой другие вечера были лишены. Машину, подержанный «сааб», она сохранит, как и одежду и те немногие вещи, что стали ей дороги. Чтобы более или менее освободить дом, можно в выходные устроить гаражную распродажу, а что не продается – отвезти в благотворительный магазин. На Среднем Западе ей не понадобится жилье такого размера, как теперешний дом, она спокойно обойдется квартирой-студией. Она уже могла ее себе представить – нет, не квартиру как физическую реальность, а царящее в ней нерушимое одиночество, которое стало для Можань необходимостью, средой обитания.

Можань подбадривало то, что можно сделать многое, и сделать без особых затруднений. Шестнадцать лет назад она приехала в страну с двумя чемоданами, куда положила все, что сочла необходимым, чтобы начать новую жизнь: одежду, туго свернутые и связанные, чтобы не занимали много места, стеганое одеяло и подушку, две фарфоровые миски, две палочки для еды, складной нож, топорик для мяса, две жестянки чая, зонтик, две пачки гигиенических салфеток и китайско-английский словарь.

Что не влезло в багаж – «сони уокмен» с большой коллекцией кассет, ее книги, несколько девчачьих дневников и единственный альбом с ее фотоснимками в разном возрасте, обычными и моментальными, составленный ее матерью, – мать пообещала хранить. Но она так за всем этим и не приехала – *люди редко пытаются вернуть потерянное*, прочла она где-то; *они просто заменяют это другим*. Ее родители, поняв, что она, может быть, вообще никогда не приедет, отдали ей фотоальбом и дневники во время одного из своих посещений Америки. Можань убрала все это, ни разу не открыв.

После развода Можань переехала с теми же двумя чемоданами, где вещей было еще меньше. Все сколько-нибудь значимое оставила. Свое кольцо отдала Йозефу; мысль, что он второй раз остается с двумя кольцами – можно хранить, можно избавиться, – отозвалась в ней сердечной болью, но она не знала, что можно сделать для облегчения своей боли, да и не хотела ничего делать, боясь ранить Йозефа еще сильнее. Свадебные фотографии и снимки, сделанные во время медового месяца (неделя на море в Южной Каролине – Йозеф предлагал Багамы, но Можань с ее китайским паспортом трудно было тогда выезжать из Штатов), она попросила Йозефа сохранить вместе с его семейными фотографиями. Ты всегда так налегке, сказал он, высадив ее из машины у аэропорта, и его голубые глаза наполнились нежной печалью, а на уме у него было и печалило его по-настоящему то, что она *относится* ко всему так легко. Иммигрантский менталитет, сказала она ему, – готовая отговорка, она использовала ее потом не раз, ведя жизнь, которая, на взгляд Йозефа и других людей, наверняка была временной, межеумочной, но с годами приобрела постоянство. Способность в любой момент извлечь из земли корни, углубившиеся совсем ненадолго, способность уйти незаметно, никого этим сильно не огорчая, – это давало ей странное ощущение девичества и свободы. *Все, что затрагивает сердце, оставляет его в смятении*, написано в одной из буддийских книг, которые она читала после отравления Шаоай; *кто ничего не желает, тот неуязвим*.

Но многим ли сердцам взаправду удастся быть невосприимчивыми ко всему, что может возмутить их спокойствие? Благодаря дисциплине Можань удавалось после развода поддерживать в себе внутренний покой; и даже в браке она ни о чем другом не мечтала. Но подобный душевный мир – только закрытые ворота, и Йозеф чаще, чем кто-либо, указывал ей на это, мягко, без давления, но и не притворяясь, что не видит. Не поэтому ли она нарушила брачный обет? Можань вышла за Йозефа ради всего, что могла унаследовать из его прошлого – ради его друзей, детей, внуков, –

чтобы ей не надо было строить собственную жизнь; густонаселенность его мира, думала она, позволит молодой жене вести тихую жизнь, его первый брак, долгий и счастливый, даст ей достаточно защитной тени, чтобы быть всего лишь заменой. Но она ошиблась. Йозеф воспринимал брак не так легко, как она. Жизнь, по-своему – порой неожиданно – справедливая, расставляет сети даже для самых неприметных существ; Можань, оказавшись в затруднительном положении – просила только доброты, а ей предложили любовь, – запаниковала так, что готова была, выпутываясь, пожертвовать одной-двумя конечностями, и оставила при этом несколько шрамов и на жизни Йозефа. В то, что могла нанести ему более глубокую рану, она не позволяла себе поверить. Мысль, что она способна быть безжалостной, была для нее непереносима: безжалостность она ассоциировала с Бояном, до него с Жуюй, а до нее ни с кем, ибо ей, ослепленной своей готовностью любить, мир казался в те дни полным любовного начала.

Можань познакомилась с Йозефом в первый год своей жизни в Америке на экскурсии в окружную тюрьму, устроенной местной церковной группой для того, чтобы познакомить студентов-иностранцев с американской юридической системой. Группа проводила и другие мероприятия – обеды вскладчину в парке, бесплатные вечерние уроки английского по вторникам и четвергам, концерт со сбором средств в пользу церкви, – но на них Можань ни разу не была.

К тюрьме кроме Можань подошли только четыре студента: двое индийцев и молодая пара из Таиланда. Через несколько минут появился мужчина – небольшого роста, пухлый, лысый, в строгом темном костюме – и представился Йозефом. Он сказал, что женщина, которая все организовала, заболела желудочным гриппом и он ее заменяет.

Шерифа, проводившего экскурсию, немногочисленность желающих, похоже, не смутила. Его вступительный рассказ в вестибюле занял почти час: он в подробностях поведал о том, как в него стреляли, когда он был подростком, как он пережил психологическую травму, с какими повседневными трудностями сталкивается сотрудник правоохранительных органов, что такое Америка и ее юстиция.

Тайский студент и студентка улыбались и кивали, сплетя пальцы за спинами. Индийцы галантно выставили руки, когда шериф достал наручники, чтобы продемонстрировать более жесткий и менее жесткий способы ареста. Можань подумывала, нельзя ли тихо уйти, но путь прилежно загораживал Йозеф, стоявший позади подопечных. В очередной раз она прочла табличку на стене с часами свиданий, которые уже выучила



наизусть. Была суббота – единственный день, когда свидания не разрешались. В голове у Можань иголкой пульсировала боль, но побыть в окружной тюрьме, откуда ее, так или иначе, выпустят, – конечно, не самое тяжелое из того, что следует вытерпеть в жизни.

Когда шериф отпер металлические ворота, посетители-иностранцы испытали облегчение, смешанное с тихим почтением. Через решетчатую дверь камеры общего режима они увидели нескольких мужчин в оранжевом, сидящих за столом и играющих в карты; никто из заключенных даже не взглянул на процессию в коридоре. Когда тайцы робко спросили, из-за чего эти люди оказались здесь, шериф ответил, что по самым разным причинам. В пустой камере шериф показал им металлический унитаз без крышки и сиденья и свернутый коричневый матрас в углу. С помощью рулетки показал, какого размера окно: ширины не хватит, чтобы даже самый тощий человек мог пролезть, но вид на окружающий мир – на голые кроны деревьев, на низкие свинцовые облака – вполне достаточный.

Из четырех камер строгого режима занята была одна, и шериф остановился у двери. Он отпер окошко, заглянул и снова запер. Послышался женский голос: хныканье, потом крик, потом опять негромкое хныканье. В металлической корзинке на дверной раме лежали зубная щетка и крохотный тюбик пасты.

Тайская пара отвернулась, им как будто было неловко за шерифа. Когда он спросил, хочет ли кто-нибудь испытать на себе смирительную рубашку, которая висела в коридоре, никто из жизнерадостных индийцев не вызвался. Круглым путем они пришли в кабинет, где шериф произнес еще одну длинную речь. Когда группу наконец выпустили на холодный пустой тротуар, уже смеркалось. В оранжевом свете фонарей беззвучно падали большие хлопья снега, и мир уже был покрыт непотревоженным слоем белизны.

Индийцы и тайцы увидели снег первый раз в жизни и все как один приободрились, словно предыдущее было испытанием, которое они должны были пройти, чтобы заслужить это восхитительное зрелище. Вскоре обе пары удалились – одна потянулась вверх по склону, другая двинулась к озеру. Какое-то время Можань и Йозеф стояли на месте: каждого сковывал страх перед своим отдельным одиночеством. Потом он спросил ее, как она, и предложил выпить по чашке горячего шоколада, чтобы оправиться от тяжелых впечатлений.

В кафе Йозеф спросил Можань, откуда она, что изучает в университете и испытала ли в Америке культурный шок. На эти вопросы у Можань имелись готовые ответы, удерживающие собеседника от дальнейших

вопросов. Получив ответы, Йозеф сказал о себе, что не принадлежит к церковной группе, но его старается приобщить к ее деятельности одна супружеская пара, его старые друзья.

– Надеюсь, другие мероприятия вам понравились больше, чем сегодняшнее, – сказал он.

Можань ответила, что ни на одном из других не была.

– Вам захотелось именно в тюрьму? – спросил Йозеф. – Не на футбольный матч? Не на Октоберфест?

На это у Можань не был заготовлен ответ, и она только покачала головой, как будто тоже была озадачена. Она познакомилась в новом городе кое с кем, но дружбу заводить не хотела; в Мадисон, учиться инженерному делу, приехала и другая девушка из ее колледжа, но, когда она предложила поселиться вместе, Можань отказалась. Йозеф молчал, ждал ответа, и тогда она сказала, что у нее, вероятно, отрицательный взгляд на мир, что ее притягивает темная сторона жизни. Она умолчала о том, что Октоберфест и университетский футбол не привлекли ее потому, что туда ходят вместе с другими.

Йозеф посмотрел на нее пристальнее. Разъяснений, если бы он попросил, она не захотела бы дать, да и не смогла бы. Но Йозеф только показал на ее бейджик и спросил, обычное ли это имя в Китае: Лара.

Она подумала, ответила Можань, что американцам, может быть, трудно будет произносить ее настоящее имя, и поэтому взяла английское. Это было правдой лишь отчасти: в университетской программе, нацеленной на получение докторской степени по химии, ее знали как Можань, и в Уэстлон-хаусе – в трехэтажном женском корпусе для научных и технических специальностей, где Можань занимала комнату и делила кухню, ванную и холл с восемью другими девушками – с двумя из Польши, с тремя из Украины, с двумя из Иордании по обмену и с одной канадской корейкой, – все без проблем произносили ее китайское имя. Ларой она была только с чужими – с молодым человеком за грилем в студенческой столовой, с кассиром в продовольственном магазине, у которого был крюк вместо руки и который всегда так рьяно ей махал, что волей-неволей приходилось идти к его кассе. Он рассказал Можань, что в прошлом был алкоголиком; обеих детей забрала после развода бывшая жена, а перед этим он потерял руку, когда врезался на машине в стену. Ни капли потом не брал в рот, сообщил он жизнерадостно, и он всегда, пробивая чек здоровой рукой, желал Ларе всяческих успехов в Америке.

Йозеф задал ей какой-то вопрос, но она прослушала и попросила его повторить.

- Почему вы выбрали имя Лара? – спросил он снова.
- Хотела что-нибудь простое.
- Но почему Лара? Почему не Лили или Нэнси?

Можань задалась вопросом, не из тех ли Йозеф зануд, кому доступно лишь то, для чего есть готовое объяснение. В колледже Можань довольно вяло встречалась с одним, потом с другим, и оба утомляли ее своим стремлением свести мир к некой куче, которую надо разобрать и рассортировать. Не выводил ли Йозеф в молодости, подумала Можань, подобным образом девушек из себя? Но он, не подозревая о презрительных мыслях Можань, терпеливо ждал, глядя на нее ясными глазами. Впервые Можань видела голубые глаза так близко.

- Я взяла имя из русского романа, – сказала Можань.
- Не из «Доктора Живаго» случайно?

Можань удивленно подняла на него взгляд.

– Я сразу подумал, когда вы назвали себя, – сказал Йозеф и принялся напевать тему Лары из фильма.

Его голос, громкий как раз настолько, чтобы слышали они двое и больше никто, поразил Можань: его печальная красота, казалось, принадлежала к другой эпохе, когда мужчины были красивы мужской красотой, а женщины женской, когда для романтических чувств была своя мелодия и смерть напоминала о себе лишь постепенным затемнением кадра.

- Песня моей молодости, – сказал Йозеф, окончив.
- Моей тоже, – отозвалась Можань.

В ее комнате в Пекине осталась коробка с романами – в их числе был «Доктор Живаго»; она не захотела продать книги перед отъездом, хотя знала, что не вернется и не будет перечитывать. Книги верой и правдой служили ей два последних школьных года. Шаоай и ее родителей тогда уже не было в их дворе. Жуюй по-прежнему училась в ее школе, но перешла на пансион и, когда они встречались в школе, не говорила ей ни слова. Бояна родители забрали к себе и перевели в школу при университете; по выходным, когда он появлялся в их дворе, навещая бабушку, Можань либо находила предлог, чтобы куда-нибудь уйти, либо сидела у себя, зарывшись в толстый роман, переведенный с русского или с французского. Раньше она не так много читала художественную литературу, но эти романы, чьи герои носили длинные и плохо запоминающиеся имена, давали ей успокоение: даже самые сложные истории несли с собой ясность, которой она не находила в окружающем мире, и каждый персонаж принимал свою судьбу безропотно, доктор Живаго умирал, разминувшись с Ларой, Лара

прощалась с ним и со счастьем.

– Вы ведь молоды, – сказал Йозеф.

Можань хотела резко ответить, что только глупые люди воспринимают возраст так примитивно. Но чужой человек был добр и всего лишь сказал о том, что видел. Можань было без двух месяцев двадцать три. Когда твоей молодостью восхищаются, хотя ты видела тупик, в который ведет молодость, – это, может быть, в какой-то мере утешает, но этого недостаточно, чтобы забыться. Йозеф мог в своем возрасте уйти в святилище воспоминаний, а у Можань впереди были годы, десятилетия. Она жалела, что ей не столько лет, сколько ему: необходимость жить дальше, когда прожитого уже хватает, превращает человека в усталого имитатора.

Можань принялась вытирать салфеткой стол вокруг своей чашки, думая о замечании Йозефа: на него должен быть правильный ответ, но она не знала какой. Когда снова подняла глаза, ей по лицу Йозефа стало ясно, что он сказал что-то, но не хочет смущать ее, повторяя еще раз. Чтобы не молчать, она спросила его, бывал ли он в тюрьме раньше.

Нет, сказал Йозеф, сегодня первый раз; он и все, кого он знает, – законопослушные граждане.

– Не то чтобы это здорово окупалось, – добавил он.

Такому человеку, как Йозеф, любопытно, должно быть, заглянуть в другой мир, испытывая довольство от собственной разумно оберегаемой жизни. Но жизнь – любая жизнь – защищена хуже, чем он думает. Может быть совершенно – или, еще хуже, наполовину совершенно – преступление, и неоконченное убийство может быть хуже убийства спланированного и хладнокровно осуществленного. Но всего этого Можань не сказала Йозефу ни тогда, ни потом.

Чуть погодя Йозеф завел речь об Алене – о том, как его с ней короновали как божьего принца и принцессу на чешском празднике в 1952 году, как год спустя она выиграла в их штате конкурс аккордеонистов. Аккордеонистов? – вполголоса переспросила Можань, но ничего не добавила, и Йозеф кивнул: да, не самый обычный инструмент в этой стране, но оба они, и он и Алена, на нем играли, как все дети чешских иммигрантов. Их деды и бабушки перебрались на другой континент из соседних деревень, их отцы были собутыльниками, одинаково любившими маринованный говяжий язык. Можань было ясно: брак между Йозефом и Аленой удался, детей они растили с попечением о том, что для них будет лучше, друзьям были верны, историей прежних поколений дорожили, десятилетия памяти добросовестно хранили в семейных альбомах. Когда

Йозеф заговорил о несчастном случае с Аленой, Можань увидела, что его глаза увлажнились. Кое-чем легче делиться с чужим человеком, когда приближается пора с ним прощаться; смерть не такую мрачную тень отбрасывает в сердце прохожего.

Перед тем как они расстались, Йозеф спросил Можань, есть ли у нее планы на ее первый День благодарения в Америке. Она сказала нет, и он предложил отметить праздник с ним и его семьей. Он умолчал о том, что это будет первый для него и его детей День благодарения без Алены, но Можань догадалась. Потому ли она приняла приглашение, что чужие раны всегда к чему-то побуждали, оправдывали ее существование? После развода у Можань возникла привычка придирчиво рассматривать все в своих отношениях с Йозефом. В конце концов, вся эта история – два года они встречались, потом три года жили в супружестве – история, не имевшая никакого отношения к ее жизни в Китае, сохранилась целиком, точно в янтаре, и была единственной, у какой она могла найти начало и конец; но даже в этой простой истории она, разглядывая ее пристально, видела мало смысла. Что если она нашла бы повод и отклонила бы приглашение Йозефа, как отклоняла все подобные приглашения и тогда, и позже?

Но в тот вечер в кафе ответить Йозефу согласием было только естественно: пригласить человека, приехавшего в новую для себя страну, – хороший, добрый поступок. Давая ему свой номер телефона, она сказала, как ее на самом деле зовут.

– Как вас лучше называть – какое имя предпочитаете? – спросил Йозеф.

– Не имеет значения, – ответила она, хотя знала, что имеет.

– Что ж, тогда будем называть вас Можань, – сказал Йозеф, и она обратила внимание, что он охватил этими словами и своих родных. – Ваше имя что-нибудь означает? Я слышал, что все китайские имена значащие.

Такое имя, как у нее, может записываться разными способами, сказала она. Иероглифы, которые выбрали для нее родители, означают тишину, тихий нрав.

– Молчаливость?.. – попыталась она уточнить, но затем сказала, что скорее это сдержанность. – Это значит, что человек склонен хранить свое мнение при себе.

Какое странное имя для ребенка, ожидала она услышать от Йозефа, но он только кивнул, как будто не усмотрел ничего необычного. И она пожалела, что отказалась от Лары, которая была бы совсем другой: привлекательной, дерзкой, таинственной.

Уезжая из Китая, Можань знала, хоть и не сказала родителям, что никогда не вернется; не сказала она этого и Бояну, когда за несколько дней до вылета попросила его устроить ей встречу с Шаоай. К тому времени они уже были чужими друг другу: Можань выбрала университет в Гуанчжоу – самый дальний от Пекина, какой могла, а Боян и Жуюй поступили в один и тот же университет в Пекине, но на втором курсе Жуюй внезапно бросила учебу и вышла замуж, чтобы уехать в Америку.

Дядю и Тетю, должно быть, предупредили о визите Можань: они оба ушли до ее прихода, оставив Шаоай на попечении Бояна, который помогал ей двигаться по квартире, пуская в ход сильные руки и терпеливые слова. Вещество, искалечив мозг Шаоай, оставило ее почти слепой и с разумом трехлетнего ребенка. Потерявшая нормальное зрение, Шаоай приблизилась к Можань, сидевшей на краешке стула, и придвинула лицо совсем близко, как будто могла за один раз увидеть только губы, или нос, или кусочек щеки. Бормотание Шаоай было бессвязным, и перепады ее настроения – то смех, то плач, то скулеж, – казалось, нисколько не смущали Бояна и не повергали его в уныние. Его лицо, в котором появилась незнакомая Можань суровость, уже не было мальчишеским, и она чувствовала себя приниженной тем, что угадывалось под его мягкой властью в отношении Шаоай и безукоризненной вежливостью с самой Можань: это был человек, нашедший в жизни все решения, в каких нуждался, и готовый, как и другими, пожертвовать ею, если она каким-нибудь образом будет ему мешать.

Пробыла она там недолго. Опасная полнота Шаоай и то, как неожиданно она могла метнуться из одного угла комнаты в другой, привели Можань в нервное состояние, облегчить которое, она видела, Боян желания не имел; более того, ее беспокойство, казалось, доставляло ему какое-то мстительное удовольствие. Уже не один год как он выдвинул причину, по которой прекратил их дружбу: из-за своего чувства к нему, более сильного, чем детская привязанность, она несет главную ответственность за нераскрытое преступление.

Будь Можань другим человеком, она в той квартире восстала бы против его несправедливости: за трагедию легче предъявить счет кому-то персонально, чем обвинить в ней судьбу, которая бьет по всем без разбора. Но гордость удержала ее. Она не хотела выглядеть так, будто выпрашивает у него прощение.

Проводив ее к выходу, он вложил ей в руку свою визитную карточку. «Не забывай нас», – проговорил он медленно и, не успела она ответить, закрыл за ней дверь.

Очень хорошо ее зная, он понимал, что делает, налагая на нее это заклятие, и вся самозащита, на какую она была способна, состояла в стараниях не думать о том, чего не могла забыть. Если забвение – это искусство изъятия человека, места из своей истории, то Можань знала, что никогда не достигнет в этом искусстве подлинного мастерства. Она была скорее прилежным ремесленником и неустанно, не теряя бдительности, совершенствовала в себе более скромный навык: не оглядываться, не думать о прошлом.

Не так вела бы себя женщина по имени Лара – она выбрала бы, что из прошлого забыть, а что взять с собой в лучшую жизнь. После развода у Можань надолго вошло в привычку называть себя Ларой, заказывая кофе в «Старбаксах». Однажды в бостонском аэропорту она познакомилась с другой Ларой: обе ждали кофе, обе двинулись к стойке, когда одну из них выкликнули. Другая Лара сказала ей, что у ее родителей был период, когда они благоговели перед всем русским, вот и назвали ее Ларисой – Ларой – в честь героини русского романа. Но потом им надоело хипповать, и ее младшим сестрам они дали более нормальные имена: Дженнифер, Молли, Эйми.

Странно, думала Можань сейчас, пристегиваясь и ожидая взлета, какую собираешь коллекцию ненужных воспоминаний. Она легко могла вызвать в памяти ту Лару из бостонского аэропорта: рыжая шевелюра, усталость в глазах, когда она заговорила о родителях, «зимующих» – Ларино слово – во Флориде. Она с ними не очень близка, сказала Лара, как и три ее сестры. «У меня есть подруга-психолог, она мне твердит: в холодильнике пусто, перестань к нему бегать», – сказала Лара, глотая кофе с голодным неистовством.

*Сестра Лань и брат Цзэчэнь!*

*Ваши два письма, написанные соответственно 5 августа и 17 августа, пришли благополучно, и мы внимательно их прочли. Благодарим вас, что приняли Жуюй в свою семью; то, как вы все устроили, нас более чем удовлетворяет. Мы послали почтовым переводом двести юаней за октябрь и ноябрь. Телеграммой подтвердить не обязательно – дайте знать только, если деньги не придут.*

*Жуюй написала нам, и мы верим, что ей у вас хорошо. Как вы сами нам сообщаете, она не из тех, с кем много хлопот, но мы были бы вам признательны, если бы вы время от времени напоминали ей о ее цели. В отношении ее будущего самое важное для нас и, следовательно, для нее – возможность уехать в Америку; мы были бы благодарны, если бы вы проследили за тем, чтобы она усердно занималась и практиковалась в игре на аккордеоне. Мы не слишком озабочены воспитанием так называемой разносторонней личности, на которое, судя по всему, обращает особое внимание современная школа, но должны подчеркнуть, что хорошие оценки и специфические музыкальные способности чрезвычайно важны в ее случае.*

*Завершаем письмо нашими наилучшими пожеланиями. Наши слова – это мы сами.*

*Сестра Вэньлу и сестра Вэньшу  
2 сентября 1989 года*

*Жуюй,*

*твое письмо, написанное 24 августа, прибыло благополучно, и мы внимательно его прочли. Мы рады, что ты устроилась на новом месте, что Тетя, Дядя и Шаоай ласковы и заботливы и что ты нашла себе друзей.*

*Вновь хотели бы напомнить тебе, что с того дня, когда ты была нам послана, ты избранное Божье дитя. Мы верим, что ты видишь цель и значение своего жизненного пути, что ты достаточно проницательна и знаешь, как жить среди людей, не понимающих, кто ты и что ты.*

*Здесь все в порядке, так что о нас можешь не беспокоиться. Наши слова – это мы сами.*

*Тети-бабушки*



2 сентября 1989 года

В разных комнатах Тетя и Жуюй прочли письма, которые принесли в вечерней почте. Обе потом эти письма убрали, но ни та, ни другая не могла избавиться от возникшего настроения. Инстинктивно Жуюй понимала, что ее единственное послание тетям разочаровало их. Это было ее первое настоящее письмо, если не считать школьных поздравлений с праздниками солдатам-срочникам в местных военных лагерях и ветеранам войн, Корейской и более ранних, старевшим и умиравшим в Доме Славы. Она не стала бы писать домой, если бы ее настойчиво не побуждала к этому Тетя.

Жуюй не знала, когда сидела над письмом, что ей сказать тетям-бабушкам: они мало значения придавали ее словам, важно было, что у нее в душе. В итоге пропела хвалу хозяевам и соседям и спросила тетю, все ли у них хорошо, – так, она считала, положено в письмах. Но тети-бабушки своим ответом коротко и ясно напомнили ей о ее месте в жизни, как всегда делали, когда она была младше и попадалась на том, что излишне давала волю чувствам. Взглядом или покачиванием головы они гасили ее смех, волнение, плач; любая эмоция – будь то радость или печаль, злость или довольство – была признаком гордыни людской. Подумай, как ты выглядишь в вышних очах, говорили они не мягко и не жестко, а потом отправляли ее в тихий угол. Немного поразмыслить, говорили они, не в наказание, а ради того, чтобы поучиться отодвигать от себя все пустячное, побуждающее смеяться или плакать. На человека всегда смотрят, объясняли они ей, жизнь проживается под взглядами многих глаз, но только одна пара имеет значение.

То, что она изменила поведение под воздействием обстановки и написала письмо, которое могла бы написать Можань, чья высшая цель, кажется, состоит в том, чтобы угодить всем вокруг, вероятно, огорчило ее тетю. Жуюй жалела, что у нее так мало силы духа, что она так глупа и впечатлительна; казалось, всем в Пекине хочется что-то в ней переменить, как будто важно не то, какая она есть, а то, какие возможности создает окружающим, чтобы вообразить на ее месте другую личность. Даже близнецы Арбуза Вэня сказали ей, что если бы она больше улыбалась, то выглядела бы точь-в-точь как молодая актриса в популярной детской телепередаче. Сестра Жуюй, заявили мальчики во всеуслышание, ну стань, пожалуйста, телезвездой и возьми нас к себе в программу, и Жуюй подсадовала мысленно, что ни один взрослый во дворе не велел им перестать молоть чепуху.

Но сильно переживать из-за письма тетя ей не следовало, ведь

сосредоточиваться на их реакции – это опять-таки жить в людских глазах. Правда в том, что их суждения о ней значат не больше, чем то, что думают о ней другие. Их цель, не раз говорили ей тети-бабушки, – привести ее к Богу; но если она может перестать жить для них – а вдруг она способна перестать жить и для него? От этой мысли, которая раньше не приходила ей в голову, у нее перехватило дыхание. Инстинктивно она закрыла глаза, прося у него прощения.

За ужином Жуюй была особенно отчуждена, и ее молчание, добавляясь к угрюмости Шаоай, расстраивало Тетю. Письмо от двух старых женщин она мужу еще не показала; позднее сегодня надо будет показать, но ей нужно было время, чтобы оправиться от их слов. Которая из сестер писала, она не могла определить, у обеих, она помнила, был один и тот же неженский почерк в старом стиле династии Вэй. Когда она жила под их крышей, они и ее пытались научить этой каллиграфии, заставляя копировать слова, написанные на древних дощечках. Она не была блестящей ученицей и выглядела в их глазах глупой, труднообучаемой. Когда она только открывала письмо, сердце у нее уже забилося; каждый штрих на конверте дышал суровостью, давил неодобрением, вновь делая ее маленькой и пугливой, приводя в бессмысленное оцепенение.

– Ну как, прочитала письмо от своих тетей-бабушек? – спросила Тетя Жуюй, когда молчание стало неестественным. – Рады они были твоему письму?

Жуюй кивнула, но больше ничем разговор не поддержала.

– По-моему, они довольны, – сказала Тетя. – По тому, что они нам написали, кажется, что довольны.

Шаоай издала горловой звук, отдаленно напоминающий смех, но Тетя пока еще не хотела переключать внимание на дочь. С начала учебного года Шаоай побывала в университете всего три-четыре раза. Пошел четвертый год ее обучения, и вскоре она должна была получить направление на практику. Но родители боялись, что Шаоай никуда не направят и тем самым лишат возможности получить диплом и устроиться на постоянную работу.

– Они спросили про тебя, – вновь обратилась Тетя к Жуюй, задумчиво прожевав кусок. – Тебе ведь нравится школа, да?

– Да.

– А домашние задания? Трудные? Успеваешь со всем справляться? Если что, спрашивай Бояна и Можань. По учебе лучше Бояна, но со всем остальным Можань вполне может помочь.

Жуюй ответила, что все у нее хорошо. Первая школьная неделя

закружила ее вихрем; половина одноклассников, как и она, были в школе новенькими, но Можань и Боян, которые в средней школе учились здесь же и знали все порядки, были около нее неотлучно и старались, чтобы она не чувствовала себя покинутой. До школы было примерно полчаса пешком, но Можань и Бояну, похоже, и в голову не могло прийти, что Жуюй предпочла бы ходить туда одна. Каждое утро они отправлялись со двора вместе, втроем на двух велосипедах, и во второй половине дня возвращались таким же образом.

– А аккордеон? Тети-бабушки спросили об этом особо.

У нее был урок с учителем Шу, сказала Жуюй, и ему понравилось, как у нее получается. Она надеялась, продолжила она, что можно будет оставаться после школы и подолгу практиковаться в музыкальном классе, но не прошло и недели, как директор Лю собрала учеников первого класса старшей школы и сообщила им о важном политическом поручении: вечером первого октября – в сороковую годовщину народного Китая – надо будет, наряду с четырьмястами тысячами сограждан, принять участие в грандиозном праздновании на площади Тяньаньмэнь. Чтобы подготовиться к мероприятию, сказала директор Лю, все ученики должны каждый день после уроков задерживаться в школе на два часа для репетиций групповых танцев; позднее пройдут генеральные репетиции на уровне подрайона, района и города.

– Тебе хватает времени на аккордеон? – спросила Тетя.

Жуюй ответила, что играет каждый день по полчаса после обеда на большой перемене; когда пройдет месяц танцев, она надеется, будет больше времени во второй половине дня.

Шаоай подняла одну бровь.

– Итак, ты будешь в числе счастливцев, которым доверено отпраздновать нашу коммунистическую победу? Какая честь.

Тетя посмотрела на Дядю с просьбой во взгляде. Но он молчал, и, подождав, она вздохнула.

– Не надо так говорить, Шаоай, – сказала она. – Какой у Жуюй выбор?

Шаоай наклонилась к Жуюй – она точно не слышала Тетиних слов.

– Ты не думала о бойкоте? – спросила Шаоай.

– Не понимаю, что ты имеешь в виду, – сказала Жуюй.

– Ну, пропускать репетиции, а еще лучше – вообще не пойти на празднование, – объяснила Шаоай. – Моя мама может написать записку, что ты больна, – правда, мама?

– Это политическое мероприятие, – возразила Тетя. – Не настраивай Жуюй так, как не надо.

– Я учу ее думать своей головой, – сказала Шаоай. – В школе ее никогда этому не научат.

Дядя вздохнул и положил палочки рядом с тарелкой, постаравшись, чтобы они лежали ровно, одна к одной.

– Позволь задать тебе вопрос, Шаоай, – промолвил он. Он так редко вставлял свои слова в разговоры за ужином между Шаоай и Тетей, что в комнате вдруг воцарилась непривычная атмосфера. – В праздновании на площади будут участвовать четыреста тысяч человек. По твоей оценке, сколько процентов из них способны думать самостоятельно?

– Ноль процентов, – ответила Шаоай. – Думающие найдут способ не пойти.

– Допустим, Жуюй послушает твоего совета и не пойдет на площадь. Как ее отсутствие скажется на мероприятии?

– Я понимаю, куда ты клонишь. Нет, если она не пойдет, никто не заметит. Но предположим, все четыреста тысяч наберутся смелости и останутся дома.

– Если рассуждать практически, какова вероятность этого события?

– Ну, пусть не четыреста тысяч, но хотя бы четыреста или четыре тысячи.

– Допустим, четыре тысячи человек будут бойкотировать празднование. Что, по-твоему, их поступок изменит? Телевизор все равно покажет четыреста тысяч человек на площади. А у этих четырех тысяч потом, вероятно, будут серьезные неприятности. Мы что-нибудь получим в итоге, кроме вреда для них самих и для их семей?

– Да, ты совершенно прав! Мы все должны быть послушными, делать, что скажут, и жить по законам трусости, – сказала Шаоай и, чуть поколебавшись, добавила: – Так, как ты.

Лицо Тети стало напряженным. Она разомкнула губы, но, видимо, вовремя опомнилась и промолчала. Вышла из-за стола, закрыла единственное в комнате открытое окно, сходила в свою спальню за вентилятором и включила его.

Лицо Дяди было, как всегда, спокойным, слова Шаоай не отразились на нем вовсе. Он опустил глаза на свои палочки и выровнял их еще лучше.

– Когда я был чуть помоложе тебя, гражданская война еще шла, и какая сторона возьмет верх, понять было невозможно. Помню, мы с Дедушкой иногда заходили в чайные, и в каждой на стене висело одно-единственное правило: *Здесь не говорят о политике*. Дедушка мне на это показал и говорит: этот урок должен усвоить всякий ответственный человек. А теперь подумай, сколько он пережил правительств и революций,

и скажи: разве он мог преподавать своим детям более разумный урок?

– А тебе не кажется, что из-за таких, как он, и из-за таких, как ты, эта страна для нашего поколения невыносима? Вот почему мы выходим на борьбу: потому что вы не вышли.

Жуюй вдруг почувствовала усталость. Скуку. Она хотела сказать Шаоай, что не надо быть посмешищем, не надо принимать свою персону слишком всерьез. В школе, когда директор Лю объявила о политическом поручении, некоторые ученики возроптали: а как же баскетбол после уроков, как же пинг-понг? Но директор Лю отмела все эти жалобы. «Политическое поручение есть политическое поручение, это вам не детская игра, – сказала она. – Умейте находить во всем хорошую сторону. Репетиции – это возможность лучше познакомиться с новыми товарищами. Получайте удовольствие от танца просто как от танца». Как ни странно, те, кто громче всех жаловался, со временем, судя по всему, стали получать от репетиций наибольшее удовольствие. Как и предсказывала директор Лю, танцы после уроков стали для трехсот учеников, поступивших в старшую школу, чем-то вроде ежедневной вечеринки. Когда внешнее кольцо мальчиков и внутреннее кольцо девочек вращались навстречу друг другу, мальчик получал возможность поддержать каждую девочку за руки.

– Каждое поколение, не задумываясь, определяет, что ему должно предыдущее, – сказал Дядя. – Каждое поколение считает, что способно добиться того, чего предыдущее не добилось. Мы достаточно за нашу жизнь перенесли революций из-за таких мыслей.

– Но это будет наша революция. Она не будет иметь ничего общего с вашей. Все ваши революции произошли из-за бездумного следования за лидерами.

Дядя кивнул с утомленным видом. Не дождавшись, чтобы он еще что-то сказал, Тетя осторожно промолвила:

– Да, конечно, мы понимаем, что ты нам говоришь. Но молодежь забывает о своем благополучии. Мы твои родители, а значит, должны стараться удерживать тебя от крайностей.

– Чтобы у вас, когда состаритесь, под рукой была дочь и заботилась о вас, как вы с папой о Дедушке? – спросила Шаоай. – По этой логике у Жуюй еще больше причин пойти в революционерки. Кто подходит для этого лучше, чем подкидыш?

Тетя резко вздохнула, Дядя нахмурился, но оба промолчали. Шаоай насмешливо, дразняще посмотрела на Жуюй, с презрением, подумала младшая девушка, потому что у Шаоай имелись двое родителей, но она позволяла себе роскошь пренебрегать их любовью. Жуюй ответила ей

прямым взглядом и обезоруживающе улыбнулась. Учтивым тоном сказала, что ей, к сожалению, придется разочаровать сестру Шаоай, потому что в ней нет ни капли революционной крови.

Шаоай отодвинула свой стул и встала.

– Вряд ли вы когда-нибудь меня поймете, и я вашу позицию ни за что не приму, так что оставим это, – заявила она родителям, не сводя глаз с Жуюй.

Дядя и Тетя смотрели, как Шаоай берет ключ от велосипедного замка и выходит во двор; слышно было, как она деланно приятным голосом здоровается с бабушкой Бояна. Арбуз Вэнь проговорил что-то через двор, и моментально присоединилось еще несколько соседских голосов. Как говяжье рагу, спросил Шаоай кто-то, видевший, должно быть, Тетю за приготовлением ужина, и она ответила: как обычно. Считай, что тебе повезло, раз на ужин есть говядина, сказала бабушка Бояна. В пятьдесят восьмом году в провинции Хэнань семья ее мужа даже хорошей древесной коры не могла найти, чтобы пропитаться.

Тетя встрепелась. Посмотрела в Дядину тарелку и сказала, что если он кончил, то может ее не ждать. Тетя беспокоилась, когда они с Дядей опаздывали во двор после еды, словно соседи могли расценить их отсутствие как знак пренебрежения. Дядя кивнул и пообещал, что семья будет представлена: он выйдет через минуту. Двор был сценой, которой ни Тетя, ни Дядя не могли даже мысленно манкировать, оба старались участвовать, как могли – он тихими улыбками и кивками, она разговорами, желанием во всем найти хорошую сторону.

Когда Дядя присоединился к соседям, Тете, похоже, немного полегчало. Она повернулась к Жуюй и сказала, что ей печально из-за того, какая Шаоай иногда бывает неприятная. Жуюй видела, что Тетя хочет сказать больше, но под ее взглядом Тетя осеклась и переменяла тему: спросила у Жуюй, достаточно ли яркая настольная лампа, удобно ли ей заниматься по вечерам. Жуюй улыбнулась и ответила, что, конечно, удобно, а потом показала на настенные часы и сказала, что Дедушке пора ужинать, он, наверное, проголодался.

Девочка лучше подошла тетям-бабушкам, чем она сама в свое время, думала Тетя, кормя старика с ложки жидкой кашей. Когда жила у двух сестер, она чувствовала себя беззащитной губкой, впитывающей их критику, и с тех пор она мало изменилась: как была, так и осталась пористой. Напротив, Жуюй, судя по всему, такая судьба не грозила: в ней есть что-то водоотталкивающее, не дающее увязнуть в мировой сырости. Тетя вздохнула. Интересно, подумала она, в какую женщину Жуюй

вырастет.

Сидя за письменным столом, не способная сосредоточиться на уроках, Жуюй перечитала письмо от тетя-бабушек. Поражение, которое она увидела в лицах Дяди и Тети, дало ей понять, что, сколь бы неистово Шаоай ни кидалась на неправильно устроенный мир, они все равно будут ее любить, жалея, что не могут свою собственную плоть сделать подушкой, защищающей ее от опасностей. Но ничем вы ей не поможете, подумала Жуюй; спасти ее вам не удастся. Эта мысль успокоила Жуюй. Невольно она начала уже симпатизировать Тете и Дяде, но тем меньше это оставляло в ней терпимости к их глупой родительской любви.

В тот день Шаоай вернулась раньше, чем Жуюй ожидала. Всего за двадцать минут до того к ней в комнату пришли Можань и Боян – они часто под конец вечера заходили проверить ее и себя по английским словам, заданным на завтра, и просто поболтать. Тетя всякий раз была им рада, и Жуюй, которая у них, сколько ее ни звали, почти не бывала, смирилась с их появлениями.

Можань, когда Шаоай вошла, встала, но старшая девушка показала ей жестом, что не надо покидать свое место на краю кровати рядом с Жуюй, и сказала Бояну, чтобы не освобождал единственный стул. Жуюй уже успела заметить, что Можань и Боян боготворят Шаоай, а она относится к ним с уважением, к которому примешивается фамильярное поддразнивание.

– Ну, как вам старшая школа? – спросила Шаоай, сев на край письменного стола.

Жуюй слушала, как Можань и Боян делились с Шаоай разными разностями: какие прозвища дали учителям их предшественники, какой странный у них новый одноклассник, что собираются построить на школьной территории.

– А как обстоят дела с грандиозным политическим поручением? – спросила Шаоай.

Можань осторожно подняла на нее глаза, а потом повернулась к Бояну; тот пожал плечами и сказал, что все нормально. Танцы терпимые, и в любом случае это только на месяц. Шаоай молчала, и тогда Можань добавила, что мало кто по-настоящему этим горит и был разговор, чтобы прийти на площадь в черном в знак траура.

– Это серьезно или просто пустая похвальба? – спросила Шаоай с интересом.

Можань смутилась, и Жуюй пришло в голову, что она, может быть, это выдумала. Жуюй таких разговоров не слышала – правда, у нее не было друзей, все школьные новости и сплетни она узнавала от Можань и Бояна.

– Или лучше спросить: может быть, это всего лишь ваши праздные мечтания? – сказала Шаоай.

– Мы с Можань говорили кое с кем из друзей насчет черного в знак протеста, но каким-то образом это дошло до учителей, – сказал Боян.

– И?

– Директор Лю вызвала нас на разговор, – сказал Боян.

– И принудила к послушанию?

– Нет, не совсем так, – возразил Боян. – Она просто показала нам, какой это детский получился бы протест.

– Детский? Прямо так и сказала? – спросила Шаоай.

Боян пожал плечами и сказал, что, так или иначе, директор Лю ясно дала понять, что эти разговоры должны прекратиться. Можань нервно посмотрела на Бояна, потом на Шаоай, но они ничего больше не говорили, и тогда Можань сказала, что директор Лю вот что имела в виду: такое поведение повредило бы им самим и школе, только и всего. А этого, добавила Можань, они с Бояном не хотят.

– А чего вы хотите? – спросила Шаоай.

Вопрос, похоже, поставил Можань в тупик. Шаоай внимательно посмотрела на нее, а потом засмеялась безрадостным смехом.

– Нет, я вас не виню, – сказала она. – Я сама в этом возрасте не знала, чего хочу. Представьте себе: я думала стать нашей разведчицей.

Не дождавшись от Шаоай продолжения, Можань, понизив голос, объяснила Жуюй, что однажды, перед тем как Шаоай поступила в колледж, с ней в «английском уголке»<sup>[5]</sup> недалеко от площади Тяньаньмэнь познакомился тайный агент. Он сказал, что несколько недель к ней присматривался, что она как личность произвела на него сильное впечатление; он спросил, не хочет ли она стать тайным агентом, – от колледжа тогда придется отказаться, но она пройдет другое обучение.

Жуюй знала, что Шаоай слушает – может быть, рассчитывает, что эта история произведет на нее впечатление, – но она не хотела встречаться со старшей девушкой взглядами и едва кивнула, когда Можань окончила рассказ.

– Представляете – я могла бы сейчас уметь водить джип, ставить глушитель на пистолет и готовить любые яды, – сказала Шаоай и, не дав никому времени на это отозваться, резко сменила тему: опять стала спрашивать про школу.

Напряжение в комнате спало. Боян несколько раз заливался смехом. Веселость Можань была более осторожной, но Шаоай, судя по всему, настроилась на дружелюбие.



Позднее, когда ложились спать, Шаоай по-прежнему была миролюбива.

– Тебе нравится Боян? – спросила она, когда Жуюй улеглась на свою половину кровати.

– Почему ты спрашиваешь?

– Просто любопытствую. Впечатление, что тебе с ним уютно.

– Мне он точно так же нравится, как Можань, – аккуратно ответила Жуюй, чувствуя, как напрягаются мышцы. Она никогда не знала, куда повернет разговор с Шаоай.

– Или точно так же не нравится?

– Какое это имеет значение? Им не важно, нравятся они мне или нет.

– Мы не о том говорим, что важно им, – сказала Шаоай и, приподнявшись на локте, посмотрела на Жуюй. – Я вот что хочу знать: тебе они нравятся? Или кто-нибудь, если на то пошло?

– Почему мне кто-нибудь должен нравиться?

– Почему, в самом деле! – с досадой промолвила Шаоай. – Ну откуда у тебя такое презрение ко всему на свете?

– У меня нет презрения ни к кому, – возразила Жуюй.

– Ты хоть что-нибудь чувствуешь?

– Я не понимаю, что ты спрашиваешь, и не понимаю почему, – сказала Жуюй и, видя, что Шаоай не сводит взгляда с ее лица, закрыла глаза.

– Только потому, что подобная бесчувственность ко всему миру кажется мне просто необычайной. Ты отдаешь себе отчет, что такому человеку нельзя доверять?

Жуюй открыла глаза и не отводила их, хотя Шаоай продолжала вглядываться в ее лицо.

– Я не просила тебя мне доверять, – сказала Жуюй. – Почему ты не оставишь меня в покое?

– Я не просила тебя приезжать сюда жить. Мои родители взяли тебя без моего согласия. – Голос Шаоай вдруг сделался хриплым. – Оставить тебя в покое? А может быть, лучше ты избавишь нас всех от своих молчаливых осуждений? Почему ты *меня* не оставишь в покое?

На таком близком расстоянии лицо Шаоай казалось искаженным болью.

– Если ты мне объяснишь, как оставить тебя в покое, я сделаю ровно то, что ты скажешь, – промолвила Жуюй. – Я не знала, что буду тебе мешать. Твои родители написали моим тетям, что ты на учебный год переедешь в общежитие.

– Выходит, я виновата?

– Мне больше негде быть.

– Из-за тебя мне негде быть.

На долю секунды у Жуюй возникло ощущение, что Шаоай, неумолимая в своей злости, сейчас задушит ее. Она принудила свое тело лежать неподвижно и спокойным голосом сказала, что ей жаль, если у Шаоай такое чувство. Потом добавила, что поздно уже, а у нее утром в школе еженедельный опрос. Прежде чем Шаоай могла ответить, Жуюй погасила свет. У нее не нашлось за вечер свободной минуты помолиться, но она была слишком уставшая, чтобы беспокоиться об этом сейчас.

Некоторое время Жуюй бодрствовала, и она знала, что Шаоай тоже не спит. Жуюй смутно чувствовала, что имеет над старшей девушкой власть, но понимать, что это за власть, не хотела; в известной мере она предпочитала думать, что эта власть не отличается от ее власти над Бояном и Можань, хотя эти двое были прозрачны, а в Шаоай, сильно ей досаждавшей, была вместе с тем какая-то тайна. Однако даже мысль о том, чтобы понять эту тайну, вызывала у Жуюй отвращение. К тому же она не готова была дать превзойти себя в том, чем владела в совершенстве: непрозрачность делала ее таинственной в глазах людей. Чтобы узнать другого человека лучше, ей пришлось бы этим поступиться, стать не такой непроницаемой.

Прошло три дня, но разговора, которого Жуюй начала страшиться, в котором Селия потребовала бы объяснить, почему она сообщила о смерти знакомой Эдвину, но не сообщила ей, Селия не заводила. Мы не были с умершей очень близки, сказала бы Жуюй, но этого, она знала, было недостаточно. Для Селии всякая смерть, кто бы ни умер – чужой человек, про которого написали в газетах, дальний родственник кого-то малознакомого, чей-нибудь состарившийся питомец – была существенна, горе других людей било по ней, оставляло синяки, но и по-особому живило ее. Лишить Селию возможности погоревать значило отказать ей в праве что-то почувствовать.

Не без зловредного лукавства Жуюй подумала, что, может быть, надо было сказать Селии про смерть Шаоай: кто еще из чужих способен остро ощутить, как пошли прахом устремления и надежды Шаоай, представить себе двадцать один год тюрьмы, которой стало ее собственное тело? Так почему не сделать уступку и не принять Селию в заочные свидетельницы этой кончины? Кто лучше для этого подходит, чем Селия? Кто еще сделает это для Шаоай? Безусловно, мать Шаоай сейчас страдает. Боян в своем имейле не упомянул о Тете, но Жуюй знала, что она жива: когда несколько лет назад умер Дядя, Боян об этом сообщил. Но смерть собственного ребенка оплакивает всякая мать, горе матери, как и материнская любовь, мало что дает для искупления. В мире было бы больше доброты, будь матери, и только они, судьями своих детей. Все получали бы отпущение грехов даже до сердечного раскаяния, все, кроме *тебя*, подумала Жуюй со внезапной злостью; кроме тебя – одинокой, недоброй, не испытывающей сожаления сироты.

Смерть Шаоай не стала для Жуюй неожиданностью. Разве она, дав Бояну этот электронный адрес и регулярно проверяя почту, не ждала ее смерти все эти годы? Ждал ли он, подумалось ей; ждала ли Можань? Мало что связывало их, кроме этого ожидания, которое, теперь окончившись, наконец отпускало их в пустоту, где даже самое чуткое ухо не услышит в трех не связанных между собой музыкальных фразах того, что некогда они принадлежали к одной пьесе. Какую рябь, задавалась Жуюй вопросом, подняла эта смерть в других двух сердцах? Но, может быть, они зачерствели за годы, на что она, желая Бояну и Можань быть счастливее, надеялась.

Ни с ним, ни с ней Жуюй после отъезда из страны не виделась, но инстинктивно чувствовала, что они ее не забыли. Стало бы им легче, узнай они, что и она не забыла их? О других людях из своего прошлого – о тетях-бабушках, о двух бывших мужьях, об Эрике – она думала не часто. А когда думала, то без любопытства, мало затронутая их жизнями и, в случае тетя-бабушек, смертями. Но к Можань и Бояну она была более благосклонна; иногда позволяла себе задумываться, как у них сложилась жизнь. Им не повезло, что они с ней встретились, что забрели на поле сражения, где им нечего было делать. Но чье это было поле, чье сражение? Когда-то в прошлом Жуюй думала, что сражались между собой они с Шаоай. Но равного боя с ней Шаоай не заслуживала; возможно, это был бой между ней и Богом, но она не хотела – ни раньше, ни теперь – наделять его таким статусом.

Допустим, человек вступает в сражение без определенного врага и, испытывая слепую решимость, оставляет позади себя труп за трупом. Если ее жребий именно таков, то Жуюй не видела смысла ставить его сейчас под вопрос. Можань и Боян стали ее жертвами, но в каком-то смысле она, вероятно, подняла их жизни на новый уровень. Этот взгляд, который окружающему миру, без сомнения, показался бы бессердечным, успокаивал Жуюй: в них, когда она с ними познакомилась, не было ничего необычайного. Годы житья – ссоры с окружением, мелкие триумфы, которыми надо довольствоваться, – истаскали бы их невинность самым банальным образом. Впрочем, не обманутая невинность сделала их интересными – невинность всегда оказывается обманута, – а то, что ни Боян, ни Можань не понимали, как нести такую долгую ношу, как Шаоай, и почему это их ноша.

Богу, думала Жуюй, следовало сжалиться над Можань и Бояном; Бог давно должен был позволить Шаоай умереть. Своевольно, по прихоти он корректирует план в отдельных мелких подробностях, но творцу, чей всевидящий взор – его проклятие, переделка сценария – любого сценария – приносит, должно быть, мало удовлетворения. Чувствует ли он себя из-за этого одиноким, даже брошенным? Или скучает и свирепеет от скуки?

*А знаешь, мысленно сказала Жуюй богу, в которого давно перестала верить, сочувствую я тебе.*

Только раз в жизни Жуюй застали врасплох – застали пальцы Шаоай и ее язык, вторгшиеся туда, куда не имели права, и ее собственное парализованное молчание, которое Шаоай истолковала как согласие. Это тоже была часть Божьего сценария? Если у него в планах были и другие козни против Жуюй, то она проследила за тем, чтобы больше не

попадаться. В тот единственный раз она потому проиграла ему, что он Бог, а она была совсем юная.

Зазвенели колокольчики на входной двери. Жуюй постаралась подавить досаду: пришел покупатель, который чего-то хочет или, хуже, не знает, чего хочет, и рассчитывает на рекомендации от Жуюй, а потом на ее одобрение. Но, взглянув, она увидела, что это всего лишь Эдвин; он вошел в магазин боком, обе руки были заняты пакетами из ближайшей кулинарии. Поставив ногу между дверью и косяком, он сделал так, чтобы дверь закрылась мягко и колокольчики трезвонили не так сильно.

Ей следовало бы встать и поздороваться с ним, но несколько секунд Жуюй не двигалась, глядя, как за Эдвином, точно в замедленной съемке, закрывается дверь, и желая, чтобы немедленно вошел еще кто-нибудь и прорвал пузырь заговорщической тишины, который уже обволакивал их обоих.

– Привет, – сказал Эдвин.

– А, это вы, – промолвила Жуюй.

Зачем, спрашивается, приглушать колокольчик, который для того и повешен, чтобы звенел?

– У вас закрыто?

– Нет, – ответила Жуюй, стараясь оправиться от мимолетного раздражения. – Селия послала вас не только купить готовый ужин, но и раздобыть лакомства? – спросила она.

Должно быть, один из дней, когда Селия не находит в себе достаточно вдохновения, чтобы приготовить ужин, удовлетворительный как с эстетической, так и с питательной стороны.

Завтра сослуживец отмечает пятидесятилетие, объяснил Эдвин, и он подумал, что неплохо бы принести что-нибудь сладкое. Жуюй кивком показала на витрины и предложила выбирать. Ей следовало быть более услужливой, порекомендовать что-нибудь, спросить о детях, об их школьных делах, но из головы не шел приглушаемый дверной колокольчик – не здесь, не в этом уютном бутике на пригородной коммерческой улице, похожей на обаятельно-старомодную главную улицу городка на Старом Западе, а в пекинском дворе полжизни назад. Чаще всего колокольчик на входной двери в доме Шаоай не получал шанса звякнуть: Тетя, поспешив к нему, прихватывала его беспокойной рукой. Какой смысл в колокольчике, думала Жуюй тогда, если ему не дают звенеть? Если бы она спросила Дядю, он бы сказал, что Тетя – такой уж она человек – бережет колокольчик от лишнего износа или что она не желает тревожить лежащего Дедушку, но Жуюй знала, что Дядя всего лишь хочет верить своим ответам. Можно

повесить колокольчик на дверь, можно не вешать, и то и другое нормально, но повесить и придерживать значит вести себя непоследовательно, желать и в то же время не желать, чтобы о приходах и уходах становилось известно. Вороватое рвение, с которым Тетя спешила к колокольчику, заслышав приближающиеся к двери шаги, – Жуюй вспомнила его сейчас и содрогнулась от острого возмущения – не было ли оно жадностью своего рода: быть на месте, всегда на месте, первой встретить приходящего и последней попрощаться с тем, кто уходит?

– Как вы думаете, итальянские или французские? – спросил Эдвин, разглядывая коробки с трюфелями. – Или ни те, ни другие?

– Бельгийские, – сказала Жуюй, зная, что в любом выборе Эдвина Селия найдет какой-нибудь изъян. – Как Селия?

Озабочена, ответил Эдвин, как всегда перед приездом ее родителей на День благодарения: беспокоится, что ужин пройдет не так гладко и успешно, как хотелось бы. Жуюй сочувственно кивнула. В прошлом году Селию задело, что родители решили провести праздник у ее сестры. Второй год подряд, сказала тогда Селия; не то чтобы она мечтала о сопряженных с их визитом хлопотах, но не следовало ли им объяснить почему?

Эдвин положил на прилавок две коробки и смотрел, как Жуюй пробивает покупку.

– Ну, а вы как сейчас вообще? – спросил он тоном слишком непринужденным, чтобы его можно было счесть естественным.

Жуюй подняла на него глаза. Надо же, подумала она. Потратиться без нужды на две красивые коробки с трюфелями, только чтобы задать этот вопрос? Она положила на коробки золоченые наклейки с логотипом магазина и пригладила их пальцами. Не передать Селии их разговора Эдвин мог просто по небрежности; по крайней мере Жуюй предпочитала в это верить.

– Почему вы спрашиваете? – промолвила она.

– Помню, вы сказали, что умерла ваша знакомая, – сказал Эдвин. – Надеюсь, вы уже лучше себя чувствуете.

Почему, спрашивается, она допустила эту ошибку, почему сообщила ему то, что совершенно его не касается? И хуже: почему Эдвин, казавшийся благоразумным человеком, решил не забывать разговор, который не должен был состояться вовсе? Превратить что-то в секрет – так, как Эдвин поступил со смертью Шаоай, – все равно что нанести самому себе телесную рану. Дать об этом знать – войти в магазин и спросить про смерть еще раз – значит ткнуть своей раной кому-то в лицо. неизлечимый секрет

превращает человека, сколь угодно близкого, в чужака – или, хуже, в доверенное лицо, во врага.

– Со мной все хорошо, – сказала Жуюй. – Спасибо, что спросили.

Эдвин что-то проямлил и покраснел как рак. Жуюй вздохнула. Поддерживать легкий разговор продавщицы с покупателем она вообще-то умела и не ленилась. Люди приходили в этот магазин от нечего делать и празднично рассматривали милые предметы на полках: импортные конфеты и шоколад в изысканных обертках и коробках, кружки ручной работы со смешными, слащавыми или нарочито бессмысленными изображениями и надписями, хрупкие фарфоровые чайные чашки, обступившие заварочный чайник, как благонравные сироты, вечно просящие наполнить их любовью, жестяные заводные игрушки, непрочные и не привлекающие нынешних детей, но создающие такую ретро-атмосферу. Ни один из этих предметов, выставленных на продажу, не был кому-либо по-настоящему важен, но благодаря своей несущественности они продолжали быть и оставались в цене: отрада проистекает в жизни чаще всего не из абсолютности счастья и добра, а из надежды на относительное добро и относительное счастье. Потому-то, вероятно, люди и заглядывали в «*La Dolce Vita*» – магазин был из тех, куда заходишь, не зная, чего хочешь, думая найти в нем подсказку, решение или, по крайней мере, возможность на минутку развлечься. Делом Жуюй было убедить покупателя, что кто-то – друг, родственник или даже сам покупатель – заслуживает декаданса. То, что она проводит часть времени в магазине, который мало что по-настоящему значит для кого бы то ни было, Жуюй не беспокоило; такие места – магазин, кухня Селии, футбольное поле, куда она иногда возила сына Джинни на тренировки и рядом с которым ждала вместе с другими женщинами, смотревшими на своих детей с любовью, не знаящей усталости, – позволяли Жуюй быть среди людей и в то же время обращаться с ними как с целующимися голландскими куколками около кассы. На достаточном расстоянии она даже могла испытывать симпатию к этим мужчинам, женщинам и детям; и вот из этого изглаживающего тумана выступил Эдвин, требуя неизвестно почему, чтобы к нему относились как к кому-то реальному и незаменимому.

– Извините, если это резко прозвучало, – сказала Жуюй. – Просто я не хочу устраивать переполох на пустом месте.

– Смерть знакомой – это не на пустом месте.

Жуюй смотрела на Эдвина, не зная, презирает она его или жалеет – человека, по глупости готового стать жертвой собственной доброты. В его голосе звучало беспокойство зависимой души; давая ей понять, что его мучит ее утрата, он просил признать за ним право чувствовать ее боль.

– Она не была мне близкой подругой, – сказала Жуюй, прилагая все усилия, чтобы голос был ровным.

Что он ступил на это старое поле боя – его невезение, но сегодня ей не хотелось увеличивать счет раненых.

– На днях мне показалось, что у вас печальный вид.

– Вам показалось, – промолвила Жуюй. – Она была одной из тех, кого я не хотела больше видеть и слышать, и мне ни капельки не больно, что она умерла. Хотя нет, не совсем так. Боль причиняет мне только то, что она так долго не умирала. Убедила я вас теперь, что переживу это событие?

Эдвин задержался, пытаясь найти слова, но Жуюй, уже не испытывая к нему снисхождения, глядела на него в упор и не предлагала ему помощи в борьбе. Время, старое или новое, прожитое или предстоящее, было всего лишь телом, которое она носила в сердце, все меньше день ото дня выказывая отягощенность этой ношей, все лучше акклиматизируясь к ее холоду; подчиненность ноше легко было принять за самообладание. И была Селия – все Селии на свете, с которыми Жуюй не составляло труда быть кем она была: они смотрели, но не на и не сквозь нее – они искали в ее лице себя. Неужели брак ничему не научил Эдвина? Зачем приходить сюда в попытке воскресить то, что воскрешению не подлежит?

– Вы религиозны? – спросила Жуюй.

Эдвин покачал головой. Сконфуженно сказал, что его деды, бабушки и родители – да, и они воспитали его соответственно, но сейчас он не религиозен.

– Тогда не пытайтесь быть добрым к чужим, – сказала Жуюй. – Это бессмысленно.

– Я не понимаю.

– Простой пример: вот прямо сейчас не стоило ли бы вам больше думать о том, что ваш семейный ужин стынет, чем об умершей, которую вы знать не знали?

Эдвин опять зарделся.

– Простите меня, – сказал он. – Мне не надо было вторгаться.

Что-то в сердце Жуюй смягчилось. Побуждение смутить, побуждение унижить – такие же предательские, как побуждение быть доброй, в любом из этих случаев другой человек делается не столь гипотетическим.

– Давайте оставим эту тему. Умершая ни с чем тут не связана, и давайте не осложнять жизнь ничьей смертью, – сказала Жуюй, показывая на дверь, где колокольчики добросовестно ждали, готовые мелодично попрощаться с Эдвином. – Передайте Селии и детям мой нежный привет.

Позднее Жуюй шла домой в лунном свете. Туман, висевший днем над



заливом, уже надвинулся на сушу и распространился за каньон, оранжевый свет в окнах был дымчатым ровно настолько, чтобы возникал оттенок призрачности. Три вечера в неделю Жуюй оставалась в магазине до закрытия. Если бы она поднималась по склону с кем-нибудь вдвоем, это выглядело бы красиво, романтично, но, проходя этот путь без провожатого, она, должно быть, являла собой в глазах тех, кто знал ее в лицо, одинокую фигуру. Но одиночество – такой же плод обманчивой веры в значимость мира, как любовь: решая почувствовать себя одинокой, как и решая полюбить, ты выдалбливаешь около себя пустоту, которую должно заполнить другое существо: подруга, возлюбленный, игрушечный пудель, скрипач, услышанный по радио.

Всю жизнь Жуюй верила, что способна успешно защищаться от любви и одиночества; секрет состоял в том, что настоящему позволялось жить лишь пока оно было настоящим. Та, что вытирала полки в магазине, была так же реальна в своей весомой отдельности, как та, на кого хозяева двух померанских шпицев оставляли их, отбывая на отдых в южную Францию или Италию, и как та, что учила двух слабо мотивированных подростков мандаринскому. Рожденная убивать, она освоила искусство приканчивать каждый прошедший миг и лишь после этого отпускать к остальным, умершим такой же смертью. Ничто не соединяет одно «я» с другим; время, умерщвленное так, не становится памятью.

В кустах трещали сверчки, умолкая при звуке ее приближающихся шагов, так что в каждый момент ей слышны были только дальние. Эти осенние жалобщики были опасливей соловьев, хоть и грустили хором, и они наводили большую печаль, чем совы. Близился День благодарения, но погода была необычно мягкая, даже для Северной Калифорнии. В Пекине последних сверчков уже, должно быть, выморозил первый холодный фронт из Сибири.

Что-то возникает без предупреждения, как сверчки, как осенний мрак: не успеешь оглянуться, как падешь жертвой недоброго очарования. Жуюй увидела, как ее тень превратила придорожный куст во что-то слишком странное, чтобы иметь к ней отношение. Инстинктивно она отступила и спряталась от одинокого фонаря за дерево. Что-то скользнуло в кусты позади нее, то ли белка, то ли енот. Природа побуждает искать себе подобных, но что можно от них получить, кроме еще большего одиночества?

За полквартила от дома позвонил мобильный телефон. Это была Селия, и Жуюй ответила: не следует пренебрегать миром смертных.

– Где ты? – спросила Селия.

– Подхожу к дому.

– Эдвин говорит, ты нехорошо выглядела. Что случилось? Запоздалая откровенность – не составная ли часть обмана?

– Ничего не случилось, – ответила Жуюй.

– Ты не простудилась? – спросила Селия. – Голос какой-то странный.

– Может быть, сеть искажает.

– А может быть, не сеть, – сказала Селия. – Послушай, ты не обязана со мной делиться, но если есть потребность выговориться, я готова.

– О чем выговориться?

– Эдвин понял так, что умер кто-то важный для тебя, – промолвила Селия. – Почему ты не сказала?

– Если бы это был кто-то важный, я бы поделилась с тобой, – сказала Жуюй. – То, что я только вскользь упомянула об этом Эдвину, а тебе забыла, как раз и доказывает, что ничего серьезного.

– Это была женщина? Эдвин подумал – может быть, возлюбленная одного из твоих бывших?

Возможно, в любопытстве Эдвина не было ничего, кроме искреннего сочувствия, но Жуюй невольно испытала досаду: в пассивно-агрессивной манере он подбил свою ничего не подозревающую жену на внезапную атаку. Она вздохнула.

– Селия, давай поговорим об этом потом.

– Сможешь прийти завтра выпить кофе? До магазина.

Жуюй посмотрела на часы. Меньше двенадцати часов, чтобы найти приемлемый способ унять назойливость Селии. Хорошо, сказала Жуюй. Она придет после того, как Селия отвезет детей в школу.

Но чем позже становилось, тем больше угасала в ней решимость приготовить историю для Селии. Любое планирование требует способности вообразить себе будущее – на день или на месяц вперед, – но, едва она ставила себе такую задачу, в голове упрямо пустело. Ради подобного эффекта люди ходят на йогу и учатся медитировать; жаль, что нельзя поделиться своим секретом с миром, подумала Жуюй, чувствуя, что ее клонит в сон. Она замечала уже, что после того, как пришла весть о смерти Шаоай, на нее чаще стала нападать усталость. Все эти прения с богом былых времен, должно быть, подействовали на нее сильнее, чем она ожидала.

Жуюй давно поняла, что ее тети-бабушки, сколь бы религиозными и набожными они себя ни считали, исповедовали веру, которая во многом была верой их собственного изготовления, и бог, которым они ее наделили, был не тот, кому молились другие. Но какая разница, правильная это была

вера или неправильная, для нее теперь, когда она отошла от их веры? Так или иначе, Жуюй знала, что должна быть благодарна тетям: дав ей бога, они наделили ее превосходством, без которого сироту вроде нее мир запросто может пожрать; оставив их и их бога позади, она вышла за пределы разрушимости.

Жуюй наполнила ванну и включила CD-плеер, где был диск с фортепьянным концертом, который она слушала раньше, чьим – не имело сейчас значения.

Окутанная теплым паром, она слегка задремала; время от времени в голове более явственно звучала та или иная музыкальная фраза из концерта, и казалось, она отчетливо видит ее напечатанной на нотной бумаге, а потом ноты уплывают, как головастики. Головастиков легко потерять, как все теряется. Однажды в восемь лет Можань и Боян пошли к близнему пруду ловить головастиков, которых они затем несли в трубочках из вощенной бумаги, наполненных водой и завязанных с обоих концов стеблями вьющихся растений; хотели побежать обратно во двор и выпустить головастиков в огромную бочку, где учитель Пан держал двух карпов кои, но почему-то надумали зайти вначале к однокласснику, и какое-то время все трое прыгали на его кровати, а головастики были напрочь позабыты.

Потом, призналась Можань, рассказывая Жуюй эту историю, они так и не осмелились спросить одноклассника про кровать. Бедные головастики, виновато промолвил Боян; и бедный наш приятель, добавила Можань, ее голос прозвучал так ясно и близко, что Жуюй резко открыла глаза. Пар еще не рассеялся. Вероятно, она дремала совсем недолго – и все же была сбита с толку; ей казалось, она видела и слышала Можань и Бояна, не только подростков, рассказывающих эту историю, но и восьмилетних – беспечных детей, которые должны быть ей чужими, но во сне выглядели знакомыми, если это вообще был сон.

Почему они стали ей об этом рассказывать, Жуюй не помнила. Они рассказывали ей много разного, но в памяти мало что сохранилось. Чужое детство было последним, на чем ей хотелось останавливаться мысленно, однако Можань и Боян считанные секунды назад явились ей так живо, что она почти могла почувствовать их изумление от потери головастиков.

Жуюй не помнила, как она сама выглядела в том возрасте. Теть-бабушек, конечно, помнила хорошо, их голоса и жесты, их аккуратно выщипанные брови и тщательно расчесанные пучки – когда она видела их внутренним взором, то всегда видела ясно. Но себя – нет, ни в восемь лет, ни в каком-либо другом возрасте до отъезда в Пекин. Было ли у теть-

бабушек в квартире зеркало? Жуюй помнилось овальное зеркальце размером с ручное, оно стояло на металлической подставке на высоком комод, и тети заглядывали в него перед выходом из дома. Давали ли ей когда-нибудь это зеркало, задумалась Жуюй; она не могла ответить себе определенно. Комод, помнилось ей, был необычайно высокий, восемь этажей ящиков, по два на каждом. Эта часть достояния тетя была одним из немногo, что пережило неоднократные приходы хунвэйбинов: хотя, в отличие от более мелких предметов, комод не спрячешь, юные революционеры пощадили тяжелый предмет мебели, не стали стаскивать его вниз и жечь – видимо, он был для этого слишком увесистый, или не было топора, чтобы его разломать. К тому времени, как Жуюй начало хватать роста дотягиваться до предметов на комод, ей, прикинула она, должно было стать чуть ли не десять. Нет, не помнила она, чтобы смотрелась в зеркало; должно быть, ей позволяли иногда, но что это могло изменить? Возможности уже были упущены – нет, не упущены, потому что их и не было с самого начала, возможностей получить нормальное детство. Разочарованием это не стало: разочарование – для тех, у кого есть исходный план, кто сеет и отказывается примириться с бесплодием жизни.

Куда чаще люди строили планы на ее счет, чего-то ожидали от нее на том или другом этапе, и ее достижением – не единственным ли? – было то, что она расстроила все их благие сценарии. Но почему бы и нет? Она никогда не просилась ни в чью душу, ни в чью внутреннюю жизнь, но люди от излишней уверенности или, наоборот, от неуверенности, казалось, не знали покоя, пока им не удастся изменить это положение.

Первый брак Жуюй закончился, когда человек, за которым она была замужем два года, психанул и принялся ее бить. Она почти не защищалась, только закрывала от кулаков лицо, а потом бесстрастно смотрела, как он, сорвавшись вконец, плакал, называя ее чудовищем, говоря, что из-за нее он уподобился своему отцу, то и дело поднимавшему руку на мать. Но что она ему сделала? Она всего лишь оставалась собой – той, кого он до женитьбы видел только два раза, думала она потом, рассматривая свои синяки в зеркало, чтобы лучше осознать боль, которую должна была бы чувствовать. Когда она, сговорившись через знакомых, встретила с человеком на девять лет ее старше, это было не ради заманчивых перспектив, не ради счастливой семейной жизни в Америке, а чтобы порвать с тетями-бабушками и всей своей китайской жизнью. Когда он, приехав из Америки в короткий двухнедельный отпуск с тем, чтобы найти спутницу жизни, решил взять в жены незнакомку, девушку, которой не было и двадцати, не стоило ли ему быть готовым ко всему, что могло за этим последовать?

Разумеется, он продумал практическую сторону: в свой банковский счет доступа ей не открыл, выдавая двадцать долларов в неделю помимо денег на продукты; предоставил ей выбор, по какой специальности – бухгалтерскому делу или биостатистике – получать диплом, оба варианта давали возможность легко найти работу и вносить существенный вклад в семейный бюджет; в начале каждого семестра сам регистрировал ее на все курсы, чтобы знать наперед ее местонахождение в любое время дня, и никогда не записывал ее на вечерние занятия, потому что вечерами она должна была работать в китайской закусочной, куда брали иммигранток со студенческими визами, не имевших законного права работать и потому согласных на плату меньше минимальной. Если рассматривать этот брак как сделку, то Жуюй приняла ее условия: в обмен на крышу над головой, питание, оплату учебы – делать то, что положено жене. Обменять свое будущее на авиабилет в один конец; она никогда не обещала ему любви и не ждала любви от него, но именно во имя любви он вознегодовал, называя ее самым холодным существом, какие он встречал. Даже глыбу льда за два года стараний можно растопить, сказал он, кроя ее по-всякому, – она и не думала, что он способен на такую брань. Не повторяет ли, подумалось ей, слова, которыми его отец поносил мать?

Когда он наконец утихомирился, Жуюй сказала, что полицию, так и быть, не вызовет: диссертация у него была почти готова, бывший коллега его научного руководителя уже предложил ему должность, он мечтал получить в Америке грин-карту и потому не мог позволить себе иметь проблемы с законом. Взамен, сказала она, ей нужен развод и деньги на жизнь и учебу в течение двух лет. Таких денег у него нет, возразил он, и Жуюй на это ответила, что живет экономно и обходится малым; если он не согласен, добавила она, придется решать вопрос другими способами.

Интриганка, назвал он ее после развода в электронном письме, где перечислил все, что она сделала, чтобы заманить его. Искренность его гнева заставила Жуюй задуматься о разнице между тем, кто ты есть, и тем, кем ты кажешься окружающим. Она не находила в себе особой расчетливости – не потому, что была выше этого, а потому, что не видела в жизни такого, ради чего стоило бы плести интриги. Она просила о немногом и удовлетворилась бы даже меньшим, но хотеть меньше, не хотеть ничего – это, в конце концов, тоже была бы скарედность своего рода, скарעדность, с какой ее муж не мог сжиться.

О новом браке Жуюй после этого не думала. Продолжала учиться бухгалтерскому делу, не видя нужды менять специальность. Когда окончила, стало ясно, что надо либо проявить целеустремленность и

получить место в крупной фирме, дающей рабочую визу, либо найти другой законный способ остаться в стране, зарабатывая тем, что требует меньшего.

Порой Жуюй казалось, что ее второй брак мог продлиться дольше, даже всю жизнь, сложись обстоятельства более благоприятно. Если кто-либо имел право жаловаться на ее расчетливость, то только Пол, с которым Жуюй познакомилась незадолго до окончания и решила встречаться всецело ради того, чтобы остаться в Америке. Они поженились, когда год легального пребывания в стране после получения диплома подходил у нее к концу.

Пол вырос в Северной Дакоте и после двух лет в местном колледже импульсивно перевелся в один из калифорнийских университетов: он хотел повидать более широкий мир, чем его родной городок с двумя тысячами жителей. Получив диплом, когда пузырь доткомов в Кремниевой долине раздулся до максимума, он нашел там работу, но, не наделенный ни блестящими способностями, ни повышенными амбициями, другую работу, когда пузырь лопнул, найти не смог. К тому времени Жуюй как жена американца получила грин-карту и начала работать бухгалтером с неполной занятостью на нескольких местных предприятиях. В отличие от ее первого мужа, Пол никогда не рассчитывал на ее работу как на существенный источник дохода; его мечтой было разбогатеть, когда его компания выйдет на рынок акций, а потом завести трех или четырех детей, с которыми Жуюй будет чем заняться дома. Но после крушения этой мечты новую мечту он сотворить не смог. И были его родители – они всегда были на месте, не оставляя надежды, что один из детей – все четверо разъехались по большим городам – вернется домой и придет в семейный бизнес, который заключался в продаже байдарочного оборудования и организации походов для любителей водных приключений.

Это было тяжелое для него решение, сказал ей Пол; он надеется, она поймет, что в дальней перспективе это для них самое лучшее.

Любое возвращение на родину Жуюй воспринимала как печальную комедию. В первый ее год в Америке первый муж повел ее на университетский парад выпускников, и одна передвижная платформа, на которой ехала группа немолодых мужчин, одетых в костюмы одного цвета, машущих и улыбающихся под факультетским знаменем, заставила ее почувствовать неловкость и за мужчин на платформе, и за тех, кто приветствовал их, глядя со стороны. Люди вообще плохие актеры, но худшие из них те, что переигрывают: статисты, мнящие себя героями. Но, может быть, человек не может иначе – изобретает важность, потому что

слишком тяжело переносить собственную малость. Потом, на занятиях, Жуюй иногда смотрела на однокурсников и задавалась вопросом, кто из этих парней, не снимающих бейсболок и не перестающих жевать резинку, когда профессор читает лекцию с кафедры, уподобится годы спустя этим мужчинам на платформе.

Присоединяться к возвращению Пола на родину Жуюй отказалась категорически. Картина их будущего, которую он нарисовал, была для нее клаустрофобной. Ручьи, которые он переходил вброд и где ловил рыбу в детстве, киоск, где он старшеклассником купил своей подружке мороженое... Жуюй не возражала против того, что у него есть прошлое, но абсорбироваться в его, и чью бы то ни было, историю не желала.

По сравнению с первым разводом второй произошел приглушенно, не так драматично. Она хорошо относилась к Полу, пусть и не любила его; она научилась быть среди людей – его друзей, коллег, – одеваться так, чтобы он мог ею гордиться, быть остроумной, порой даже игривой. Если на то пошло, пять лет замужества показали ей, что она может, если сделает усилие, исполнить любую роль, хотя ничто не удовлетворяло ее больше, чем оставаться поодаль, чем рассматривать людей, пока они не станут видны насквозь. То, что мечта Пола стать миллионером не сбылась, не опечалило ее. Подтверждение его глупости не вызвало у нее внутреннего протеста; она даже была довольна, как имела обыкновение быть довольной при падении всякого смертного.

Вода в ванне уже была еле теплой, и Жуюй нехотя вылезла. Концерт давно кончился, но она ощутила тишину только сейчас. Там, в обширном мире, те, с кем ее сводила жизнь, существовали в своих безопасных коконах; а те, что умерли – ее тети-бабушки, к примеру, или Дядя, или Шаоай, – что с ними случилось?

Жуюй примерно так же не тосковала по тетям, как не тосковала по своим родителям. Эти четверо лишили ее многого; то, что осталось, можно было лелеять, а можно – отбросить с таким же хладнокровием, какое проявили они. Смерть Дяди породила в ее сердце пусть мимолетную, слабую, но рябь меланхолии, которая сменилась облегчением: Дядя был из тех, чью жизнь пропитывала несанкционированная печаль, а разве существует более доброе противоядие от печали, чем смерть сама?

Смерть Шаоай, наконец дарованная ей после долгих лет, – тоже, должно быть, противоядие своего рода. Сколь бы безжалостно это ни звучало, Жуюй была искренна, когда сказала Эдвину, что лучше бы Шаоай умерла раньше – не только для самой Шаоай лучше, но и для тех, кто был с ней рядом. С каждым годом Жуюй становилась на год старше Шаоай,

которую знала только молодой женщиной. Странное чувство шевельнулось в Жуюй, когда пришла мысль, что Шаоай была в то время молода, невинна даже, но настоящая ли это невинность, если она могла быть – и была – использована для того, чтобы осквернить другого человека? Но ведь наихудшая из битв, подумалось Жуюй, это битва между невинными: не умея щадить себя, они не испытывают ни малейшего сострадания к другому.



Празднование первого октября на площади Тяньаньмэнь началось и кончилось; без происшествий, невольно с разочарованием думала Можань, которой приходило до этого в голову, что кто-то, может быть, найдет способ выразить протест против мероприятия, проводимого там, где всего четыре месяца назад лилась кровь. Но кровопролитие, даже если оно не было забыто, особой тени на этот день не отбросило. Никто не залез на фонарь, чтобы выкрикивать лозунги, и не было никаких спланированных подрывных действий: никто не бросил в толпу самодельный детонатор – не чтобы убить кого-то или ранить, а чтобы вызвать панику; ниоткуда не пришло ложного сообщения об угрозе, которое побудило бы власти к эвакуации. Так что ее с Бояном тайные надежды не сбылись.

Единственное, что внесло в этот день драматический элемент, произошло в школе перед празднованием. Когда все собрались, директор Лю выдала каждому классу два тюбика губной помады и сказала: есть распоряжение на уровне района, чтобы девочки имели праздничный вид. Никто не возразил, ссылаясь на правила, где было ясно написано, что косметика в школе запрещена; но, когда дошла очередь до Жуюй, она передала тюбик следующей девочке, не воспользовавшись им.

– Почему? – спросила староста класса. – Она не ядовитая.

Можань ошетичилась, готовая встать на защиту подруги. Вообще-то Жуюй была не из тех, кто поднимает шум и привлекает к себе чрезмерное внимание; правда, она не надела нарядного платья, как было велено. Сегодня на ней было зеленовато-серое хлопчатобумажное платье с длинными рукавами, одно из тех, что она привезла с собой, – ничего яркого, цветного, кроме выделявшейся на фоне ее анемичной кожи красной ткани, требуемой для танца, которую она, в отличие от других девочек, повязавших ее себе как шарфик или на голову, а то и сделавших на груди подобие цветка, обмотала вокруг запястья.

Негигиенично, ответила Жуюй. Староста уставилась на нее, в ужасе от такой дерзости, но Жуюй только полуулыбнулась; ее нескрываемое презрение контрастировало с яростью старосты – та покраснела, ее грудь вздымалась, она пыталась подыскать слова и не могла.

Староста была девочка малопрятная, и Можань уже видела, кем она станет, – женщиной, которая без колебаний будет третировать тех, кому повезло меньше. И все-таки Можань сочувствовала ей, опасаясь при этом,

что в глазах Жуюй ее, Можань, положение мало отличается от положения старосты. Вздыхнув, Можань ступила между старостой и Жуюй.

– Давай лучше не будем поднимать из-за этого шум, – примирительно сказала Можань старосте. – А то как бы директор Лю не подумала, что ты плохо справляешься.

Вечер, похоже, всем доставил удовольствие. Школьники кружились тесными цепочками под звуки громкоговорителей, оглашавших людское море песнями. Всего исполнили четырнадцать танцев, каждые полчаса – пятнадцатиминутный перерыв с салютом.

Когда забабахало и затряслась земля, Можань оглядела своих одноклассников – они радостно кричали, вспышки в небе озаряли их поднятые кверху лица. Один мальчик залез на другого и завопил: «Смотрите, где я!» Посмотрел мало кто, но, соскочив, он восторженно разглагольствовал, какая тьма народу. Четыреста тысяч, сказал он, не каждый день тебя столько человек увидят.

Одноклассник, чей отец, говорили, возглавлял партийную ячейку фотоагентства, подошел с дорогим на вид фотоаппаратом и попросил Жуюй и Можань попозировать. Можань подозревала, что он, как и несколько других мальчиков в классе, равнодушен к Жуюй. Можань чувствовала, что, глядя на нее их глазами, больше может понять про Жуюй, чем воспринимая ее непосредственно. Не питая к ним никаких ответных чувств, Жуюй, тем не менее, позволяла им подходить к себе на переменах, задавала им вопросы и выслушивала ответы с вниманием, которое, должно быть, и льстило мальчикам, и обескураживало их; бывало, они, не выдерживая ее испытующего взгляда, краснели и заикались.

Мальчик попросил Жуюй и Можань встать рядом. Присел, чтобы найти правильный угол и навести аппарат на фокус, потом опустил еще ниже. Куда смотреть, спросила Можань, и мальчик ответил: вперед, чтобы выглядеть отважными воительницами.

В отличие от мальчиков, девочки из их класса, казалось, не питали к Жуюй большой симпатии, и ни одна с ней не подружилась. Для Жуюй это вряд ли много значило, но Можань было и обидно за Жуюй, и приятно, что ей самой позволено быть пусть и не в полном смысле слова, но подругой.

Бабах – и небо осветилось. За долю секунды до того, как щелкнул затвор фотоаппарата, в кадр впрыгнул Боян и, чтобы удержать равновесие, положил руки на плечи обеим девочкам. На напечатанном снимке Можань смотрела вперед, как велел юный фотограф, с видом скорее ошеломленным, чем воинственным; Жуюй повернула голову к незваному гостю, так что ее лицо получилось в профиль, за ним – смеющееся лицо

безумно торжествующего Бояна; а поверх трех голов – распустившиеся красные, оранжевые, пурпурные, серебряные цветы салюта.

Огорченный, что ему не дали снять шедевр, юный фотограф в конце концов нехотя напечатал-таки снимок, но тогда – Шаоай уже была отравлена – Можань не могла воспринимать его так, будто ничего не случилось. Полуослепшая, она словно брела одна в густом тумане, ища спутника, от которого отбилась, а когда наконец возникла фигура, тень, она, протянув к ней руку, наткнулась на витрину магазина, холодно отражающую ее собственный смутный силуэт.

Они вернулись с торжества около полуночи, усталые, с пересохшими ртами, но оживленные, как всякая молодежь после вечеринки. Сидя на багажнике у Бояна, Жуюй, необычно покрасневшая, сказала ему и Можань, что первый раз увидела салют так близко. Дома в канун лунного Нового года тети-бабушки не участвовали ни в каких празднованиях, шторы у них еще до темноты всегда плотно задергивались; но однажды кто-то направил на их окно третьего этажа восьмизарядную римскую свечу – «звездки» разбили стекло, и штора загорелась.

– Какой ужас, – отозвалась Можань. – Твои тети поймали того, кто это сделал?

Жуюй покачала головой и сказала, что не важно, кто это сделал. Она вспомнила мгновенный страх, который почувствовала, хотя тети, туша огонь, ни на минуту не потеряли самообладания. Сквозь разбитое окно в квартиру хлынул морозный январский воздух. Из толпы празднующих никто не вышел, не признал, что виноват. Помогая тетям заколотить окно куском картона, она посмотрела вниз, и ей подумалось, что люди там, может быть, смеются над ней и тетями. Она не сомневалась, что произошедшее не случайно.

– Почему они так сделали? – спросила Можань. – Это же опасно.

– Потому что идиоты, – ответила Жуюй.

Можань посмотрела на нее: презрение у нее на лице было тем же самым, что раньше, когда она сказала старосте, что мазать губы помадой негигиенично. Боян, не уловивший холода в ее словах, заметил, что, будь он там, он зажег бы и засунул мерзавцу в рукав двойную петарду.

Соседи по двору уже легли спать, но в их трех домах светилося по окну – их ждали. Они готовы уже были друг с другом попрощаться, но тут в темноте под решеткой для винограда что-то шевельнулось. Можань подумала – бездомная кошка, но, когда Боян подошел ближе, он увидел Шаоай, сидящую на перевернутом ведре и пьющую из бутылки крепкий ямсовый напиток.

– Ну как, повеселились от души? – спросила она, тщательно выговаривая каждое слово, из-за чего ее голос звучал еще пьянее.

– С тобой все в порядке, сестра Шаоай? – спросила Можань.

– Вы празднуете с массами, а я тут праздную сама с собой, – сказала Шаоай. – Народу нужна юная поросль вроде вас, а у мертвых и забытых, увы, есть только я.

Показав нетвердой рукой, в которой держала бутылку, на небо, она принялась громко читать наизусть из Ли Бо<sup>[6]</sup>:

Окружен я цветами,  
кувшин мой наполнен вином.  
В одиночестве пью —  
из друзей не нашел никого я.  
Поднял я свой бокал,  
ясный месяц к себе пригласил,  
Тень с другой стороны —  
и теперь уже стало нас трое.  
Правда, месяц отстал,  
пить вино он еще не привык,  
Но зато моя тень  
повторяет все точно за мною.  
Ненадолго сюда  
ясный месяц привел мою тень,  
Но ведь радость приходит  
всегда мимолетной весною.  
Я пою – и качается  
месяц туда и сюда,  
Я пляшу – и вослед  
моя тень извивается странно.  
Мы, покуда трезвы,  
наслаждаемся встречей неожиданной,  
Разбредемся потом,  
когда будем совсем уж пьяны<sup>[7]</sup>.

Луны на небе не было, и цветы во дворе уже отцвели. Можань огляделась, боясь, что Шаоай разбудила соседей. Во всех домах было тихо – но, может быть, люди слушали, притаившись за шторами? Пьяная развязность Шаоай отдавала мелодраматизмом. Можань пожалела, что она

не одна видит Шаоай в таком состоянии, что не может скрыть эту сцену, опустить перед ней завесу, – впрочем, кого она собралась защищать? Шаоай никогда не нуждалась в защите, и Можань невольно устыдилась своей робости. Шаоай всегда говорила, что думала, делала то, что считала правильным. Можань смущенно повернулась к друзьям; Жуюй, стоя отдельно от нее и Бояна, но достаточно близко, чтобы видеть Шаоай, смотрела с ледяным светом в глазах.

– Ну так как? – спросила Шаоай, обратив лицо к Жуюй. – Идите сюда, присоединяйтесь.

Помедлив, Можань ткнула Бояна в бок; он покачал головой: нет, поздно, всем троим уже пора спать. Шаоай фыркнула и что-то пробормотала. Трое друзей тихо пошли по домам, праздничное настроение улетучилось, утомление затапливало их.

Мать Можань не спала, ждала ее, и, когда она пришла, мать поставила перед ней тарелку пшенной каши с каштанами.

– Что случилось с сестрой Шаоай? – спросила Можань, но мать только показала на тарелку: ешь, пока не остыло.

Можань не была голодна, но знала, что не вытащит из матери никаких сведений, пока не убедит ее, что вполне накормлена. За столом мать проводила взглядом каждую ложку, которую дочь отправляла в рот; убедившись, что Можань съела достаточно, мать сообщила ей новость: Шаоай исключили из университета. Письмо ее родителям послали неделю назад, но Шаоай, судя по всему, перехватила его. Ранее сегодня она приехала из общежития с двумя сумками своих вещей. И только тогда сказала родителям.

– Мама Шаоай упала в обморок и ударилась головой об угол стола, – сказала мать Можань. – К счастью, ничего серьезного. Мы с учительницей Ли побыли у нее вечером какое-то время.

– А как Тетя сейчас?

– Лучше, мне кажется. Просто ей разом беда в голову ударила, – сказала мать Можань. – Ты же знаешь, она не из таких, не из слабых, которые не могут ничего пережить. В нашем поколении таких и нет.

– Что они будут делать?

– Кто?

– Тетя и Дядя.

– А что они могут? Шаоай исключили по политическим причинам – какая трудовая ячейка осмелится ее взять на работу? Я сказала ее маме: по крайней мере, ее не застрелили на площади. По крайней мере, ее не арестовали и не бросили в тюрьму. На все надо смотреть с лучшей

стороны.

Можань положила ложку. Ее мать вздохнула.

– Я тебе скажу – только между нами, не говори Тете и никому, – тебе не кажется, что Шаоай отчасти сама несет ответственность? Почему нельзя было публично признать свою ошибку? Девяносто девять человек из ста поступили бы так. Ее родителям не повезло, что у них такая упрямая дочь.

– Но разве это не значит, что Шаоай лучше всего этого большинства? – спросила Можань.

Шаоай высмеяла бы губную помаду, которую им дали, назвала бы это унижением; она не надела бы, как Можань этим вечером, шелковое платье во исполнение официального распоряжения принять красивый вид.

– Быть хорошей мало что значит. Поверь мне, быть хорошей не значит в этой стране ровно ничего. Вести себя правильно, быть в любом конфликте на правильной стороне – только так можно себя обезопасить. Плечью обуха не перешибешь. И в школе, пожалуйста, ни с кем это не обсуждай. Рот на замке – понимаешь меня?

Можань кивнула. Спорить не было сил, хотя она знала, что не согласна с матерью. Ей было больно, что Шаоай в такой беде; и больно было из-за страданий Тети и Дяди.

– Что сестра Шаоай теперь думает делать?

– Делать? Нечего ей делать. Сидеть дома. Перейти в категорию безработной молодежи. Большое счастье, что Тетя согласилась взять Жуюй и получает за это какие-никакие деньги.

– Я думала, Тетя родственница тетей-бабушек Жуюй.

– Да, родственница, но ты же не можешь взять и послать девочку жить в другую семью бесплатно. Кто бы они, тети Жуюй, ни были... я их не знаю, так что, по-честному, критиковать их права не имею, но, если между нами, что-то мне в этих дамах не нравится. Тем не менее их похвалить надо за то, сколько они им платят.

Можань на секунду-другую задумалась, сколько это может быть. Если она спросит, мать скажет, хотя какая разница? Она отстала в понимании окружающего мира – Жуюй, должно быть, всегда смыслила в нем больше.

Мать Можань покачала головой и завела свой обычный разговор про взаимную ответственность родителей и детей. Навести ее на эту тему могла любая новость, любое событие.

– Родители кормят ребенка, одевают, дают образование. Чтобы за это отплатить, ребенок, какое бы решение он ни принимал, должен представить себе, как оно отразится на родителях. Ты плохо учишься – ты не только свою жизнь портишь, но и родительскую, потому что как ты им отплатишь,

если не получишь хорошую работу? Выйдешь замуж за кого не надо – не только себе плохо сделаешь, но и родителям принесешь горе. Что бы человек ни затевал, он прежде всего должен подумать о родителях. Только Царь Обезьян родился из расщелины в камне.

Будь здесь Шаоай, она нашла бы, что возразить, а Можань сказала только, что знает все это наизусть. Можань давно смирилась с тем, что она не какая-то там особенная; она заурядна во многих отношениях – в школе не из самых лучших, никакая блестящая карьера ее не ждет. У нее нет ни боевитости Шаоай, ни ее острого ума; в ее возрасте Шаоай дважды подряд прошла со своей дискуссионной группой на городской конкурс. Будь Можань мальчиком, она приносила бы родителям пользу, когда надо починить крышу или притащить в начале ноября триста кило листовой капусты – единственного овоща на всю зиму. То, что она им не была, она возмещала доступными ей способами: была образцовым ребенком, уважающим родителей и всех взрослых вокруг; всем улыбалась, и соседям, и незнакомым людям, не потому, что хотела похвал за приветливость, а потому, что искренне верила, что любая толика солнца, какую она может предложить миру, придется кстати; была верной подругой, надежной няней – словом, хорошим человеком. Кем еще она могла быть, если не хорошим человеком? Но быть хорошей, как выясняется, мало что значит в этом мире. Сидя за столом и слушая мать, Можань чувствовала себя побежденной, подавленной, однако, когда мать кончила, Можань заставила себя улыбнуться. Как хорошо, сказала она, что после трудного дня ее ждет тарелка каши, и мать ответила: а как же, кто, как не родная мама, позаботится о дочке с такой любовью.

В другом доме Жуюй, лишенная материнской защиты, проснулась среди ночи, разбуженная незнакомыми ощущениями: чужая рука, медленно заползшая под пижаму, чужой язык, влажный и теплый, раздвинувший ей губы, чужое тело сверху, придавившее несильно, но так, как придавливают, не давая двинуться, кошмар; и, словно после кошмара, она будет потом спрашивать себя, спрашивать и спрашивать, почему не проснулась вовремя, почему не воспротивилась.

Жуюй открыла глаза и увидела глаза Шаоай совсем близко, слишком близко, но как она могла видеть в темноте, как это вообще возможно? Где-то должна быть лампа – или дом, город, мир всегда освещен, полная темнота – роскошь, доступная только мертвым и незрячим?

Пожалуйста, заставь ее прекратить, сказала Жуюй в своем сердце, хотя – кому? Никто не пришел на помощь, никто не унял эти руки и язык, да она и не верила, что кто-либо способен унять безумие, побудившее

действовать, лхнуть к ней эти нечистые органы – эти жесткие колени и локти, эти скользкие пальцы, жадные губы; некому было унять это разнузданное желание, непреодолимое, удовлетворяющее себя и тем самым принуждающее свой объект перестать быть собой. Не девочкой и не женщиной Жуюй чувствовала себя, а существом столь же слепым, как та сила, что двигала хищницей. Столь же ядовитым.

Надеясь на помощь, становишься маленьким; еще меньше становишься, когда помощь не приходит. Только тогда понимаешь, что этот момент всегда здесь, всегда был здесь, ждал, отслеживал добычу, завуалированный или даже нагло неприкрытый. Как она могла быть такой глупой, так превратно понимать жизнь?

Но это было еще не самое плохое. Самое плохое – не момент, насильно изъятый из твоей жизни, а то, что остается вместо него: бездонный провал, куда запросто могут соскальзывать другие моменты. Кошмар, от которого пробуждаешься, не перестает тебя преследовать.

Липкая, холодная, Жуюй не помнила, как заснула, но, резко пробудившись, поняла, что забылась. Шаоай была рядом; все еще? – в смятении подумала Жуюй, но затем: а как же иначе? Ни той, ни другой некуда идти – ни сейчас, ни когда-либо.

– Если ты ждешь от меня объяснения, – сказала Шаоай, – могу тебе сообщить, что ты ждешь напрасно.

Не дожидалась ли Шаоай, пока она проснется, подумалось Жуюй, чтобы она начала просить об объяснении, в котором Шаоай была властна отказать?

– Извинения тоже не будет, – продолжила Шаоай.

Люди всегда так делают после того, как произошло неестественное? Чешут языком, чтобы все немного погодя нормализовалось? Время, отказываясь стать памятью, требуя твоего внимания, хватает за горло, душит, но сделать с временем ничего нельзя, и от него нельзя избавиться.

– Когда-нибудь ты мне будешь благодарна, – сказала Шаоай. – Сейчас ты вряд ли мне веришь, это понятно. Если ты злишься, злишь себе сколько хочешь, но вот что, я считаю, ты должна знать: у тебя есть мозг, ты за него отвечаешь, ты должна его наполнить чем-то осмысленным, и перед тобой жизнь, которую ты должна прожить ради себя. Твои тети не научили тебя думать и задаваться вопросами. Рехнуться можно – тебя даже человеческим чувствам не научили! Раз они этого не сделали, приходится кому-то другому.

Вправе ли убийцы ждать благодарности от убитых за освобождение их душ от земных тягот? Что если бы Жуюй сейчас пошла в комнату Дедушки,



ласково положила руки на его хрупкую шею и избавила его от унижительного полумертвого состояния?

– Ты самая неподатливая девчонка, какую я видела, – сказала Шаоай, вдруг охваченная гневом, которого Жуюй не понимала. – Кто тебе дал право быть такой?

– Не понимаю, о чем ты спрашиваешь, – сказала Жуюй. – Какое отношение имеют мои личные качества к тому, что произошло?

– В твоей голове – конечно, никакого, но именно об этом я и говорю. Живи как реальный, живой человек. Спустишься с облаков. Открой глаза.

Не на что ими смотреть, подумала Жуюй, – хотя, может быть, она ошибается? Может быть, и безобразие заслуживает того, чтобы на него смотрели?

– И еще к твоему сведению: я не хочу, чтобы ты считала случившееся чем-то страшно важным. Ничего особенного, по сути, между нами не произошло. Когда-нибудь ты, я думаю, пожмешь плечами и посмеешься над этим. – Немного помолчав, Шаоай с горечью добавила: – Не веришь – спроси Енин. Она, может, поделится с тобой кое-какой мудростью.

Не потому ли, подумала Жуюй, Шаоай сказала это, что надеется услышать возражение? Может быть, Шаоай, не сумев превратить Енин в свою собственность, хочет знать, насколько долговечен знак, который она поставила на жизни Жуюй? Жуюй пошевелилась и почувствовала, как по лицу скользнула комариная сетка. Накануне Тетя сказала, что сетка будет висеть до конца недели. Ко второй неделе октября комары пропадут, сказала она с бодрой уверенностью. Одной гадостью в жизни будет меньше, подумала Жуюй, ощущая тупую боль за глазами. Это то, что люди чувствуют, когда хочется плакать? Жуюй не помнила, когда плакала последний раз.

– Почему ты молчишь? – спросила Шаоай.

– Ты с Можань тоже так? Ты с ней тоже хочешь это сделать?

Шаоай, похоже, была огорошена.

– Конечно, нет.

– Почему конечно? Почему нет? – спросила Жуюй.

Хотя она уже знала ответ. Вождение Шаоай не может обратиться на Можань, потому что Можань, боготворящая старшую девушку, ничего для нее не значит – точно так же, как Жуюй и ее тети-бабушки ничего не значат для Бога. Плохие события происходят – войны, эпидемии, родители бросают своих младенцев, бессердечные грызут тех, у кого есть сердце, – и никто, ни человек, ни бог, никогда не вмешается.

Шаоай, казалось, встала в тупик.

– Ну, Можань еще дитя, – сказала она после паузы.

Можань неважно спала эту ночь – видимо, из-за волнений прошедшего дня. Проснувшись на рассвете, она не могла больше лежать. Встала, тихо умылась у ракушечника и увидела в окно Шаоай под виноградной решеткой, тоже поднявшуюся рано. Или она всю ночь провела снаружи? Имея мало слов утешения в запасе, Можань почувствовала, что не хочет выходить во двор, как вышла бы в любое другое утро.

На втором свидании – через пять дней после их воскресного ужина – Сычжо спросила Бояна, сколько ему лет и действительно ли его зовут Боян. Надо же, какие вопросы, сказал он с веселым удивлением и положил на стол свой паспорт. Они были в чайной недалеко от дома его родителей, к которым он собирался заехать потом, надеясь создать у них впечатление, что думает о них до того часто, что может заскочить и без предупреждения. Но пришедшая позднее мысль, что он, пусть и бессознательно, ищет их одобрения, заставила его мигом отказаться от визита. На самом фундаментальном уровне это были лучшие родители, каких он мог себе пожелать: у него не возникало из-за них никаких конфликтов, ни внутренних, ни внешних, в то время как с каждым днем, виновато поглядывая на календарь, он все острее сознавал, что после кремации Шаоай так и не побывал у Тети. Это в большей степени Тетина вина, чем его, настойчиво говорил он себе, делаясь неуступчивым, как многие, чьи внутренние ограничения вдруг оказались безжалостно высвечены: в отличие от родителей, она напомнила ему обо всех сложностях, с какими он был не способен справиться в жизни. Кто дал ей такое право?

Он сказал секретарше, что во второй половине дня его не будет: Сычжо работала пять с половиной дней в неделю, свободна была в пятницу после обеда и в субботу. На их первом свидании он узнал и еще кое-что: она выросла в деревне на северо-востоке, около российской границы; ее отец – единственный учитель в сельской школе, обучающий шесть классов в одном помещении; у матери крохотная швейная мастерская; младший брат учится в провинциальном университете, до окончания осталось два года, специальность – маркетинг, и Сычжо надеялась помочь брату устроиться в Пекине после выпуска.

– Вы старше, чем я думала, – сказала Сычжо, изучив паспорт.

– Как это понимать?

Сычжо подвинула ему паспорт обратно через стол.

– Подруга мне сказала: если вам за тридцать пять, то мне не надо больше с вами видеться.

– Так, погодите, что это за подруга, сколько ей лет? – спросил Боян, делая вид, что обижен. По тому, что рассказала о себе Сычжо – она, когда он спрашивал ее в прошлый раз, отвечала не увиливая, с подробностями, – он заключил, что ей двадцать два или двадцать три, примерно ровесница

Коко.

Сычжо покачала головой, словно говоря, что все это неважно.

– И откуда у нее такое предубеждение против мужчин моего возраста?

– Она сказала, что мужчины *этого* возраста... – Сычжо приумолкла на секунду, но в этой паузе не было ни извинения, ни жеманства, – что мужчины ваших лет хотят не того, чего я.

Подруга, возможно, права, подумал Боян, но чего он хочет от девушки, которую, он знал, ему по-хорошему следовало бы вообще оставить в покое? В его жизни вполне хватало людей, способных послужить его чувствам, а его чувства были предсказуемы – предсказуемы настолько, что его не беспокоила возможность неприятных сюрпризов, а приятных он не ждал. Для бездумных радостей у него была Коко, связанная с ним более или менее честным соглашением, без неясностей. Ради интеллектуальной интриги он мог поговорить с родителями – лучше с матерью, чем с отцом, у которого начали проявляться признаки ранней деменции; или даже с сестрой – к ней за годы он стал ближе, чем в детстве, хотя, пожалуй, точнее будет сказать, что взрослость позволила ему дорасти до нее, выпущенной в мир не ребенком, а гением, вынужденным до поры обитать в теле ребенка. Если ему захочется испытать нежность к юным, есть две племянницы, которых можно любить издалека. Захочется играть с людьми в игры (хотелось ли ему этого когда-нибудь? нет, по большому счету) – для этого есть масса возможностей: неуступчивые деловые соперники, денежные выигрыши, если он пожелает основательней погрузиться в бизнес-проекты. Глядя на свою жизнь в этом свете, он не находил в ней места для Сычжо. Она из категории «разное», подумал он; в нее входят и другие, выбитые и выбивающие из колеи: Можань, Жуюй, Шаоай – последняя так долго была центром этой категории, что невозможно было думать о ней сейчас как об отсутствующей, – может быть, даже Тетя; и, конечно, он сам в минуты апатии, когда люди в его жизни не в состоянии его развлечь, помочь забыться. Но поместить Сычжо в это пространство, куда он редко позволял себе заглядывать, – не тревожный ли это знак?

– Чего хотят девушки ваших лет? – спросил Боян.

Он легко мог перечислить все, чего хотела Коко, ничего сверхдорогого в этом списке не было. Он мог назвать кое-что из того, о чем мечтала Сычжо: удержаться на работе во времена, когда многие выпускники высших учебных заведений становятся безработными; найти возможность продвинуться вверх в жизни – каким способом, задался он вопросом, и решил, что, кроме замужества, другого способа нет, – и купить небольшую квартиру за Пятым или Шестым городским кольцом; познакомиться с

какими-нибудь нужными людьми, чтобы младший брат получил точку опоры, пусть и не самую надежную, когда придет время выходить на трудовой рынок; создать вместе с ним условия для того, чтобы в перспективе перевезти в Пекин родителей. Брак и дети – своим чередом, и в следующем поколении миграция семьи из сельской местности в столицу будет завершена. Знакомая история, и Боян видел, что мог бы стать в ней полезным звеном. И что, девушка поэтому согласилась на вторую встречу? За их первым ужином он говорил о своей профессии только в общих чертах; оба раза постарался одеться с безупречным вкусом, но не экстравагантно, хоть и отнюдь не был уверен, что она уловит тонкую разницу. В очень многих отношениях она не имела ничего общего с Коко, и этим отчасти объяснялось, что он все еще не чувствовал себя в состоянии прийти к каким-либо выводам. Когда твоя жизнь пронизана стандартными процедурами, все, что в эти готовые процедуры не укладывается, рождает подозрение, что тебя оценили ниже, чем следует. Коварной обольстительницей он Сычжо не мог бы назвать – однако местность, по которой он сейчас шел, была малознакома, и это не только взбадривало, но и вызывало опасения.

Сычжо сделалась задумчива.

– Мне кажется, я хочу... – Она умолкла и вновь подняла глаза. – У вас есть ребенок?

– Я не женат, – сказал Боян. – Послушайте, мужчина моего возраста вполне может выглядеть в ваших глазах чудовищем, но поверьте, будь у меня жена, я оказал бы ей честь хотя бы тем, что не бегал бы за молодыми девушками.

– Но это не значит, что вы никогда не были женаты, правда? Поэтому *возможно*, что у вас есть ребенок, – сказала Сычжо.

Он бы предпочел услышать в ее словах жеманство или даже заигрывание, но то, как серьезно, без улыбки она на него смотрела, делало разговор похожим на состязание в логике.

– Да, возможно. Но нет, ребенка у меня нет. Если бы был, я не скрыл бы этого от вас.

– Но как я могу знать, правду ли вы говорите? – спросила Сычжо. – Я вас не знаю, так что полагаться могу только на ваши слова.

Боян засмеялся.

– Кто вы, уважаемая? Частный детектив?

– Нет, разумеется, – промолвила она, отклоняясь назад, чтобы официантка, принеся чай, могла поставить прибор между ними.

Разлив чай по чашкам, официантка опустила глаза и сказала, что

надеется, что чай придется им по вкусу. Сычжо поблагодарила девушку, не сводя глаз с ее лица. Боян не знал, чувствует ли Сычжо, что его взгляд как был, так и остался прикован к ее лицу. Когда они опять остались одни, Сычжо сказала, что люди порой лгут и ей хочется знать, когда они это делают и почему.

– А вы не лжете? – спросил Боян.

Подумав, девушка ответила, что лжет не так много, потому что избегает ситуаций, в которых понадобилась бы нечестность.

– Если у вас это получается, могу назвать вас удачливой девушкой, – сказал Боян. – А вот вам, например, вопрос: я вам нравлюсь настолько, что вы согласились на вторую встречу, верно?

Сычжо покраснела. Ее неопытность – нет, ее невинность – была тем, из-за чего он потерял голову и стал не таким расчетливым, но эта же невинность поставила ее сейчас перед дилеммой. Этот урок, хотел ей сказать Боян, ей еще предстояло усвоить: невинность только тогда может быть твоим оружием, когда окружающий мир ее не видит.

– У меня нет ответа на ваш вопрос, – сказала Сычжо.

– Это самый шаблонный способ, каким люди уклоняются от вопроса, – заметил Боян. – И это еще хуже, чем ложь.

– Но если это работает? Почему я не могу этим воспользоваться, если другие пользуются с успехом?

Потому что ему ненавистно думать о ней как об одной из других – но этого Боян не сказал.

– Одно из преимуществ моего возраста, – сказал он, – в том, что мне легче поймать человека на лжи, чем в двадцать лет. Так или иначе, сообщаю вам, и это не ложь: я был женат. Один раз. Теперь не женат. – Под сорок, разведенный, бездетный, с отличным доходом и просторным городским жильем, Боян принадлежал к числу самых ценных мужчин на брачном рынке – был *бриллиантовым холостяком*. – Так что я не только слишком стар, но теперь вы знаете, что я разведен. Это еще сильнее уменьшает мои шансы как ухажера?

Сычжо смутилась от слова *ухажер*, но быстро оправилась.

– Нет, я думаю, это ожидаемо в вашем возрасте.

– Что ожидаемо?

– Развод. Моя подруга говорит: хуже, чем мужчина за тридцать пять, только мужчина за тридцать пять, который никогда не был женат.

Боян засмеялся, но Сычжо только смотрела на него, не отводя глаз. Его сердце, он почувствовал, немного сжалось. Чем она с ним занимается – делает из него образчик для своего девического исследования мужчин и их

характеров и последующего обсуждения с подругой?

– Кто она все-таки, эта ваша подруга?

– Вы ее не знаете.

– Но я должен с ней познакомиться! – сказал Боян. – Я предложу ей должность: будет просеивать для меня кандидатуры новых сотрудников.

На долю секунды лицо Сычжо застыло, и ему подумалось: девушки что, всегда испытывают ревность, когда кто-то хвалит другую девушку?

– У нее уже есть работа, – сказала она.

– Я предложу более выгодные условия.

Сычжо покачала головой и сделала вид, что изучает чайный прибор. Когда договаривались об этой встрече, она настояла на другом районе, подальше от Переднего и Заднего моря; почему, спросил он, и она ответила, что там слишком много туристов, из-за них там нечем дышать.

– Что еще ваша подруга советует вам узнать про меня?

– Эта подруга – я сама, – призналась Сычжо.

В первый момент Боян не нашелся, что ответить. Сычжо улыбнулась и сказала, что ни с кем не советовалась. Только сама с собой.

– Понимаю, – сказал Боян, но он не понимал, куда ведет этот разговор.

Он заметил, что она, когда улыбается, выглядит печальней и старше, – огорчительно, когда видишь такое у миловидной девушки, ведь улыбка – если она не то, что Коко и ее подружки практикуют перед зеркалом с модным журналом в руке в качестве образца, – должна быть лучшим женским украшением.

– Будь я своей лучшей подругой, я хотела бы знать ответы на эти вопросы, – объяснила Сычжо, и он уловил в ее голосе умиротворяющую нотку. – Разве это так уж бессмысленно? В сущности, я не солгала.

Девушка слишком долготерпелива с миром, подумал Боян; она, должно быть, никогда не была в положении, когда нетерпимость – возможный выбор, и она никогда не усматривала в ней свой долг.

– И что эта лучшая подруга внутри вас шепчет вам сейчас? Что я для вас плохой вариант?

– Могу я задать вам вопрос: у нас свидание?

Проще всего было бы отшутиться, умеряя тем самым странную настойчивость девушки, но достаточно ли этого? Не умалит ли он себя этим в ее мнении? В глазах Сычжо, когда Боян встречался с ней взглядами, ему виделась решимость не упускать ни единой подробности. Эта дотошность – ее природное качество?

– Традиционно говоря, нашу встречу следовало бы рассматривать как свидание.

- Ну а если говорить не традиционно? – спросила Сычжо.
- Почему вы спрашиваете?
- Потому что хочу знать, что вы думаете о таких вещах.
- Я или мужчины вообще?

Она, казалось, не знала, как теперь быть. Каждый вариант ответа ставил ее в положение, с которым нужно было бы примириться: спрашивая о его личном мнении, она рисковала бы тем, что он получил бы весомое место в ее жизни; выталкивая его обратно в океан мужчин, она поставила бы под вопрос свою честность.

В нем шевельнулась нежность: он уже знал ее, пожалуй, лучше, чем хотел. Каждый вопрос, на какой человек ищет ответа, неизбежно возвращается к нему, летит обратно бумерангом, врежется в его плоть. Она не ограждена от этого никакой броней, что бы она ни думала; нет, она не защищена совершенно: только тот, кто не ищет ответов, может быть уверен, что его ничто не тронет, не ранит.

– Я спрашиваю... – начала Сычжо, но осеклась, вновь задумалась. – Мне кажется, я хотела бы знать, что вы, лично вы, думаете.

Боян ощутил прилив удовлетворения, словно выиграл трудный бой с батальоном мужчин; их неразличимые лица быстро удалялись.

– Я считаю себя рядовым мужчиной в этом отношении, поэтому, конечно, полагаю, что пригласил вас на свидание, – сказал он, сохраняя вдумчивое выражение лица. – Но вы просите о большей откровенности, поэтому скажу вам больше: лишь с очень серьезными оговорками я рассматриваю это как свидание.

– Почему с оговорками?

– Потому что разве должен такой разговор происходить на свидании, как по-вашему? Когда люди всецело во что-то погружены, они не анализируют и не спрашивают, почему погрузились.

– Понимаю, – сказала Сычжо, и Боян подумал, что она выглядит слегка расстроенной.

Во время их первой встречи она казалась более довольной – правда, говорили они не на такие трудные темы: она рассказывала о своей работе и о детстве в деревне на севере, он задавал вопросы и, в свой черед, сообщил несколько безвредных подробностей о своей жизни.

Оба молчали. Разговор, похоже, принял неожиданный оборот, хотя Боян не мог решить, разочарован он или нет. В жизни этой девушки ему нечего было делать, и ему следовало радоваться, что ей хватило здравого смысла поставить его присутствие под вопрос. И все же хотелось побыть с ней немного дольше; хотелось даже признаться ей – но в чем? – тревожно



подумал он. В этой девушке, казалось, имелся некий центр, может быть, неведомый ей самой, некий таинственный вакуум, сам собой притягивавший его к ней. Могла ли это быть ее юность или невинность? Нет, что-то другое. Он подумал о другой девушке, встреченной много лет назад, о сироте, из-за которой он повел себя как дурак. Ничего юного, ничего невинного в Жуюй не было даже тогда; и тем не менее был в ней, тянул его в себя такой же вакуум, опасный в ее случае. Чтобы успокоиться, Боян поднял к губам чашку. Люди не исчезают из твоей жизни, они возвращаются в другом обличье.

– Допустим, мы не на свидании, – сказала Сычжо. – Тогда что мы теперь? Пожмем друг другу руки и попрощаемся?

Боян показал на свои часы.

– Мы сидим тут всего двадцать минут, – заметил он. – Вам не кажется, что разойтись сейчас было бы чуточку поспешно?

– А вам как кажется?

Она не сводила с него глаз.

– Вы пришли сегодня только чтобы узнать, свидание у нас или нет?

– Возможно.

– И, узнав ответ, готовы отправиться восвояси, – сказал он. – Не хотите даже остаться ради дружеской беседы?

– Какой толк в дружеской беседе, если мы даже не друзья?

Да, они были всего лишь чужие друг другу люди, случайно попавшиеся один другому на глаза, – улыбка, кивок, удивленно, восхищенно или недоуменно поднятые брови; но о чем не следует просить и чего не следует предоставлять – это право задержаться. Нарушить контракт мимолетности – позволить себе уверовать в то, что возможно гораздо большее, или даже просто предаться в спокойную минуту размышлению о невозможности извлечь что-либо из этой, да и всякой, встречи – значит выйти за рамки, несоразмерно замахнуться, потребовать ясности от житейской замутненности. Безусловно, Бояну следовало бы уже излечиться от своей тоски по постоянству, от стремления извлечь смысл из бессмыслицы. Почему бы просто не согласиться с девушкой, не пожелать ей счастья и не расстаться по-дружески? И все-таки он не был готов отпустить ее. Она, казалось, обитала во вселенной своего собственного изготовления, но как могла она – как мог кто-либо вообще – жить так серьезно и так слепо? Где скрытая точка ее несовершенства? Ее неиспорченность приводила на ум сказку, где ребенок обретал способность превратить камень в слиток золота, не подозревая, что она не просто его обогатит, что она ввергнет его в такую жизнь, откуда нет возврата: мир,

дитя мое, намного хуже, чем ты воображаешь.

Боян не знал, ревнует он Сычжо или злится на нее как представитель мира, который плох. То, что побуждало его задержаться, не назовешь, пожалуй, в точности стремлением защитить ее, но это и не было желание погубить; если ей, так или иначе, суждено было лишиться этой вселенной своего изготовления, он хотел быть за это ответственным – совратитель Боян, оттеснивший всех прочих совратителей.

– Чтобы подружиться с кем-нибудь в этом городе, нужно потратить время и усилия, правда ведь? – промолвил он. – Почему вы не хотите дать нам какое-то время?

– Дружба случается сама собой, – возразила Сычжо.

– А любовь?

– Любовь тоже.

– Итак, стремиться ни к тому ни к другому мы не можем? Или – лучше сказать – в обеих категориях у меня нет надежд?

Сычжо посмотрела на него с недоумением. Ему подумалось, что нечаянно он, может быть, повел себя агрессивно, но ему было мало что терять – или, наоборот, много что; в обоих случаях человеку позволено отклониться от протокола.

– А как насчет этого? – спросил он, показывая на окно; на той стороне улицы на стене здания висела реклама фитнес-центра. – Я там записан в спортивные залы. На втором этаже шесть площадок для бадминтона, мы могли бы раз в неделю играть. Можно даже не разговаривать, если вы не хотите.

– Я не умею играть в бадминтон, – сказала Сычжо.

Боян готов был стукнуть себя за промашку. Ну, конечно, она, выросшая в деревне, должна считать бадминтон элитным спортом; но нельзя ли ей объяснить, что они с Можань играли в проулке, стараясь не задеть пешеходов и велосипедистов, что ему нередко приходилось лезть на крышу, чтобы достать залетевший туда волан? Нельзя ли ей объяснить, что летом он и другие мальчишки выискивали жирных зеленых гусениц репницы, засовывали в воланчики и запускали ракетками в небо? Бедные гусеницы неизменно летели обратно на жесткую землю и находили там смерть, но ничего зловещего ни он, ни даже Можань в этих бессистемных казнях не видели. Возмутится ли Сычжо, если он расскажет ей эту историю? Коко взвизгнула бы и назвала бы их поведение мерзким, но Сычжо выросла в сельской местности, где существа лишаются жизни и калечатся каждый день.

– А пинг-понг? – спросил он.

Она улыбнулась – вновь как-то печально, обреченно. В сельской школе, где учительствует ее отец, – нет ли там, как в его начальной школе, грубого бетонного блока, который заменяет стол для пинг-понга? Его детство, пусть это было и городское детство, прошло почти поколением раньше и не могло очень уж сильно отличаться от детства Сычжо.

– Я и в пинг-понг не умею играть.

– А в ракетбол? – спросил он. – Погодите, не лишайте меня удовольствия сразу сказать, что в эту игру и я не умею. Я наблюдал, как играют, там мячик летает быстро. Мы будем слишком заняты освоением игры, чтобы испытывать неловкость из-за того, что молчим.

– Почему вы хотите играть со мной в ракетбол, если вы не против того, чтобы молчать?

Любое занятие годится как повод продолжать видеться с ней – этого у нее не было причин не понимать.

– Видимо, мне хочется узнать вас лучше, – сказал он. – Вот я и цепляюсь за каждый шанс найти что-то, чем вы согласитесь со мной заниматься.

– Так ухаживают за женщинами мужчины вашего статуса?

Он заглянул ей в глаза, но не увидел ни зловредства, ни иронии.

– Что вы имеете в виду под статусом?

– У вас есть машина и квартира, так что с карьерой, вероятно, все в порядке? – промолвила она скорее вопросительно, и он кивнул, подтверждая ее догадку. – А значит, когда вы ухаживаете за женщиной, вы всегда можете найти, чем вместе заниматься?

– Заниматься?

– Допустим, вы парень из провинции, живете в подвале с тремя другими такими же и не имеете никаких сбережений. Работаете шесть с половиной дней в неделю и все равно не можете себе позволить даже самую дешевую квартиру в городе. Допустим, все, что у вас есть, это вы сами, и вы ничем не можете заниматься, кроме как быть собой. Вы все равно будете пытаться ухаживать за девушкой?

Нет, подумал он; этот мир отнюдь не привечает молодых людей без средств. Несколько недель назад особа двадцати лет с небольшим сказала в телеинтервью, что предпочла бы несчастливый брак, но с BMW, любви, если он только и может, что возить ее на своем велосипеде. Боян назвал ее имя – наглая практичность этой девицы уже превратила ее в национальную знаменитость – и спросил Сычжо, что она думает о ее предпочтениях.

Вопрос, похоже, поверг Сычжо в мучительные раздумья. Она сплетала и расплетала пальцы – впервые при нем потеряла самообладание.

– Я хочу, чтобы она была кругом неправа. Но мне кажется, что она права во многом, – сказала Сычжо. – Наш мир, вы знаете, не похож на тот, где я думала жить, когда вырасту.

Она не первая, хотел он заметить ей, приходит к такому выводу. Чем она отличается от других разочарованных душ? Все молодые люди начинают с незапятнанных мечтаний, но многие ли сохраняют способность мечтать? Многие ли могут воздержаться от превращения в осквернителей незапятнанных мечтаний у других? Мы все тюремщики и палачи, ожидающие своего часа; за то, что у нас взято, за то, что в нас убито, мы ждем случая отомстить. Этой мудростью, прояви Коко интерес, Боян без колебаний поделился бы с ней: он ухмылялся бы, глумился, играл, точно кошка с мышкой. Но что отличало случай Сычжо – что заставило его задуматься сейчас – это его желание найти для нее лучший ответ; он хотел предложить ей не такой скверный мир. Это что – отцовское чувство? Он состроил гримасу: фарс, да и только – отцовское чувство, чувство *папика*.

Сычжо смотрела на него и смотрела.

– Вам, вероятно, смешны мои рассуждения, – сказала она, хотя ее лицо не выражало смущения, неуверенности. – Иногда я тоже нахожу их смешными, но, едва приходит такая мысль, я сразу понимаю, что она ложная.

– Я не смеюсь над вами, – возразил он. – Скорее над собой – ведь я один из тех, кто сделал наш мир плохим для вас, но хочу, чтобы вы за это относились ко мне с симпатией и даже полюбили меня.

– Зачем вы это делаете?

– Зачем прошу вас о симпатии?

– Зачем участвуете в ухудшении мира – если вы сказали мне правду.

– Что еще я могу?

Ее лицо стало озадаченным, как будто он просил у нее ответа.

– Никто не может уклониться от того, чтобы что-то делать, – сказал он. – Понимаете, ребенок может просто быть, но ребенок вырастает. Мы должны жить тем, что делаем что-то. И мы либо приносим вред, либо, если нам очень-очень повезло, делаем что-то хорошее. Проблема, вы сами знаете, в том, что мир не сбалансирован и больше нуждается в плохом, чем в хорошем, чтобы поддерживать этот свой дисбаланс. Допустим, вы хотите сделать что-то хорошее – скажем, дать денег нищей девочке. Вроде бы что тут неясного? Но нет, не все так просто. Вам надо при этом обмануть себя, надо поверить, что денежка, которую вы кинули ей в корзинку, поможет ей, даст ей лишний кусок пищи, лишний раз избавит ее от побоев родителей. Но на самом-то деле, как мы с вами знаем, девочка, вполне вероятно,

украдена, или взята напрокат, или продана мафии нищих; давая ей деньги, вы никому не делаете добра, наоборот, вы финансируете банду, обеспечиваете ей доход от преступной деятельности и поощряете новых преступников к тому, чтобы красть и продавать детей на потребу этой системы. Ну, так и что я делаю? Я либо даю ей деньги, либо нет – по настроению. Но в любом случае у меня нет иллюзий, что я приношу ей или кому-либо добро. Извините, я не слишком причудливо излагаю?

Сычжо покачала головой.

– Почему мир не сбалансирован? – спросила она. – Почему он больше нуждается в плохом, чем в хорошем?

Он мог бы ознакомить ее со своей гипотезой о связи между человеческими сердцами и энтропией, которую иногда крутил в уме, но не на трезвую же голову пускаться в такие разглагольствования! Он уже жалел, что разговор сошел с орбиты. Он здесь, чтобы добиться расположения женщины, а не для того, чтобы обступающий ее мир расстраивал его самого, ставил в тупик.

– Почему он такой, – сказал он, – я, честно вам скажу, не знаю.

– А хотите знать?

Нет, подумал он, хотя понимал, что это самообольщение. Настоящий вопрос в том, по плечу ли кому-нибудь такое знание.

– А вы? – спросил он.

– Хочу, – ответила она. – Я знаю, это делает меня дурой в глазах людей, но пусть я буду дурой, не страшно.

– Что для вас страшно?

– Не знать и мириться с незнанием.

После празднования первого октября жизнь пошла по-старому, почти нормально, хотя что это за нормальность, Можань уже было далеко не так ясно. Положение Шаоай, которая не принадлежала теперь ни к какому учебному заведению и ни к какой трудовой ячейке, внушало мало надежд. Ни Можань, ни Боян не смели спросить Шаоай, как она проводит дни. Вечерами ее можно было видеть в доме или во дворе, хмурую, погруженную в себя.

Дядя был не более молчалив, чем обычно, и не реже обычного улыбался своей фирменной улыбкой, Тетя была словоохотлива как всегда. Их стоические усилия не могли, однако, разогнать унылый туман, висевший перед их лицами. Они словно постарели и порой посреди общесоседского разговора делались рассеянны. Больше прежнего казалось, что они запуганы собственной дочерью.

Тяготы жизни, внушено было Можань воспитанием, подобны скверной погоде, которую терпишь, потому что она неизбежно когда-нибудь выдохнется, так же неизбежно, как исчерпывает себя полоса невезения. Надежда – солнце после бури, весенняя таль после жестокой зимы; богиня судьбы капризна и своенравна, но впечатлительна, она, как всякая молодая женщина, улыбается тем, кто не сдается.

В характере Можань было находить надежду для других до того, как она могла почувствовать ее в себе. Хранить молчание было первым шагом к капитуляции перед безнадежностью, и потому, вооруженная унаследованным чаянием добра, она, когда им с Шаоай случилось быть во дворе одним, извлекла на свет лежалый плод житейской мудрости. Дело было в субботу во второй половине дня, в школе был короткий день, и с полудня она не видела ни Бояна, ни Жуюй – куда-то пропали. У Жуюй, возможно, музыкальная репетиция, подумала Можань, а Боян, должно быть, играет с мальчиками в баскетбол или футбол.

– Не отчаивайся, сестра Шаоай, – сказала Можань. – Придут лучшие дни. Помнишь сказку, где у человека потерялась лошадь, а потом привела к нему еще одну лошадь?

– С каких это пор ты сделалась рупором мудрых и оптимистичных? – спросила Шаоай, взглянув на Можань искоса.

Можань покраснела.

– Я хочу, чтобы ты в твоём положении не чувствовала себя одинокой, –

сказала она.

– Хочешь, чтобы я не чувствовала себя одинокой? Ты, я смотрю, вообще много чего хочешь для других.

Можань сконфуженно покачала головой. Слишком юная, чтобы знать, что подобное заботливое чувство, когда его проявляет мать, побуждает ребенка к бунту против нее, она была обескуражена недобрыми словами Шаоай.

– Смело с твоей стороны желать чего-то для меня, – сказала Шаоай. – И дам, пожалуй, тебе добрый совет, такой же, какой дала родителям: не трать свои чувства на недостойный объект.

Можань, запинаясь, заверила Шаоай, что восхищается ею, как всегда.

– Моя милая Можань, в данном случае я не о себе говорю. Моим родителям, конечно, уже следовало бы знать, что не надо расточать энергию на беспокойство обо мне, – сказала Шаоай. – А что касается тебя – тебе не кажется, что ты ведешь себя чуточку по-детски, когда ходишь хвостом за своими двумя друзьями и будто не замечаешь, что они предпочитают быть вдвоем?

Можань не сразу поняла, на что намекает старшая девушка, а когда до нее дошло, Шаоай уже вела свой велосипед, ввергнув Можань в бездну. Медленно Можань двинулась к дому, нащупывая в кармане ключ.

Не верить Шаоай причин не было. Можань пришло в голову, что ее, может быть, хотели предупредить и другие – ее родители, например, или бабушка Бояна. С детства Можань замечала в глазах старших некое одобрение, предвидение будущего для себя и Бояна. Она воздерживалась от того, чтобы назвать это будущее по имени, потому что он его не именовал. Верность этому будущему была всем, чем она располагала, однако верность будущему, в отличие от верности прошлому, чувство и слепое, и самонадеянное. Что возникает с ярлыком, имеет срок действия; впоследствии, пробуя дать определение тому, чего лишилась – брат? друг? детская любовь? – Можань поймет, что потеря, ограниченная для него, ибо он, должно быть, давно отделался от нее вместе с именем, для нее, напротив, – длящаяся и длящаяся пустота.

Можань залезла в постель прямо в школьной форме и пролила, закрывшись одеялом, тихие слезы. Маленькая перемена, произошедшая в последние дни, до того крохотная, что она не была уверена, реальность это или только ее воображение, пришла ей сейчас на ум, наделенная новым значением. Обычно Жуюй садилась на багажник того велосипеда, что был ближе, но однажды утром на прошлой неделе она обошла велосипед Можань и села к Бояну, и всегда с тех пор она выбирала его велосипед.

На следующий день Можань предложила Бояну, чтобы они собирались втроем для вечерних занятий у него, а не у Жуюй. Чтобы дать сестре Шаоай больше пространства, сказала Можань. После трудной ночи она решила, что ее дружба с ними какой была, такой и останется, но ей не хотелось, чтобы ее храбрость – или глупость – была видна Шаоай.

Боян с готовностью согласился. Ему тоже, должно быть, неудобно было теперь в обществе Шаоай; Можань пришло в голову, что Шаоай могла смутить его каким-нибудь замечанием о его отношениях с Жуюй. Никакой перемены в нем по отношению к себе Можань не замечала, Жуюй была холодновата, но не больше прежнего. Может быть, Шаоай сейчас в таком настроении, что ей хочется делать другим больно; может быть, она сказала Можань неправду. Эта мысль вернула Можань надежду и окрасила жалостью ее симпатию к Шаоай. Как все юные, Можань была слишком занята мысленно своими собственными видами на счастье, чтобы испытывать подлинную симпатию – не такую, какую люди поверхностно, из чувства долга проявляют к тем, кого постигла беда. Но многим ли, какого бы ни были они возраста, достает силы на подлинную симпатию – даже на то, чтобы ее принимать? В беде человек часто ищет подкрепления не у самых близких, а в полнейшем безразличии на лицах чужаков, которое отправляет твои горести туда, где им и место, делает их до смешного несущественными.

– Каждое поколение должно усвоить этот урок, – сказала мать Можань за ужином, когда разговор коснулся Шаоай. – Публичный протест в этой стране никогда ни к чему не приведет. К несчастью, некоторые платят дороже, чем другие. Ты уже не ребенок, так что думай головой.

Можань что-то проямлила в ответ. Соседи между собой положение Шаоай не обсуждали. За последние недели все прошли политическую «перепроверку», и только у Шаоай она дала плохой результат. Разговаривали с ней все по-прежнему уважительно и терпеливо, но за закрытыми дверями они, должно быть, критиковали Шаоай, как родители Можань.

На лампу над обеденным столом полетела моль, и отец Можань махнул палочками для еды, словно этого жеста могло быть достаточно, чтобы прогнать помеху. Можань смотрела на моль – крылышки пыльные и серые, полет бессмысленный. Эти насекомые, не больше божьих коровок, стали постоянной принадлежностью дома. Они получались из червячков соломенного цвета, живших в мешках с рисом, которые ее родители, боясь инфляции и делая всевозможные запасы, сумели ухватить незадорого; обязанностью Можань было убирать извивающихся червячков из риса



перед готовкой. Моль же, в отличие от комаров и мух, за которыми мать охотилась упорно, целеустремленно, считалась безвредной, и ей позволяли жить и умирать своей смертью.

Можань вздохнула, и мать, точно ждала этого, принялась рассуждать о том, почему юное существо вроде Можань считает себя вправе вздыхать. Можань сидела с послушным лицом. В эти дни и моль, и родительские запасы – желтовато-серое хозяйственное мыло, завернутое в соломенную бумагу, коробки спичек, сыреющих и все труднее зажигаемых день ото дня, туалетная бумага, стиральный порошок, дешевый чай в грубых брикетах, все лежит, стареет, собирает пыль, – все это наполняло сердце Можань унынием: куда ни повернись, везде натыкаешься на очередное нагромождение вещей, испугиваешь очередную моль, отправляя ее в слепой и суматошный полет. Мир стал меньше, тусклее – для нее ли одной?

Такие настроения Можань должна была прятать от родителей. Ведь у ее матери позади полуголодное детство – шестеро детей в семье, скудные заработки отца, водителя велотакси. Ведь у ее отца позади годы унижений как у сына мелкого буржуа.

Такая же серая моль порхала и в других домах, но Бояну и Жуюй это, похоже, было нипочем. И неудивительно, ведь жизнь щедра к ним и наделила их многими качествами, которых Можань лишена. Эта горькая мысль, однако, заставила ее почувствовать себя виноватой: разумеется, Жуюй лишена куда большего, разумеется, она заслуживает большей доброты, лучшей любви.

После последнего урока Жуюй отправилась в музыкальный класс играть на аккордеоне. Иногда, когда она играла на веранде, Можань подходила посмотреть. Заходить в это строение с низким потолком она не хотела, там было мрачно, да она и не имела права там быть; помимо Жуюй, учитель Шу вел еще нескольких юных музыкантов – четверых скрипачей, двоих мальчиков, игравших в четыре руки на фортепиано, и девочку из средней школы, которая играла на ксилофоне и выступала в составе ксилофонного ансамбля из пятидесяти девочек в Японии, единственная китаянка в нем. Как она смогла попасть в японский ансамбль, Можань не знала, и в иные дни, сидя на веранде и слушая инструменты, каждый из которых вел свою мелодию, она задумывалась о том, что упустила в жизни или еще упустит. У нее не было таланта ни к чему красивому – единственным, что она могла сотворить по части музыки, было насвистывание простых мотивов, да и то неровное, неуверенное, и даже на это мать поглядывала неодобрительно, потому что воспитанные девицы не свистят; рисунки и почерк у нее были детские, способностей ни к какому

искусству она не проявила, даже лицом и фигурой не вышла.

Можань повернулась к Жуюй, посмотрела на нее изучающе; был один из лучших дней пекинской осени, небо сияло кристальной голубизной, и учитель Шу отправил всех своих учеников, кроме двух пианистов, практиковаться на веранду. В том, как в тени под навесом пальцы Жуюй бегали по клавиатуре, была какая-то отрешенность, рассеянность, однако, закрыв глаза, Можань не могла отличить равнодушную игру от увлеченной, как не умела отличить в Жуюй замкнутую уверенность от дерзости.

– Тебе, наверно, скучно это слушать, – сказала Жуюй, доиграв вещь. – Ты не обязана меня ждать.

– Нет, совсем не скучно, – возразила Можань. – Что ты сейчас играла?

Жуюй перевернула нотную страницу, как будто не слышала вопроса.

– Я могу домой пешком, – сказала она, молча проглядев ноты. – Или Боян меня подвезет.

Три раза в неделю Боян играл в баскетбол, а другие два дня в футбол или просто проводил время с несколькими мальчиками у велосипедного сарая, обмениваясь байками. Иногда Можань к ним присоединялась, все они относились к ней дружелюбно, хотя их любимые темы – Майкл Джексон, брейк-данс, трансформеры – ее не интересовали. Изредка она играла в пинг-понг, но, поскольку получалось у нее средне, она отходила в сторону, когда игра принимала состязательный характер. Оставались после уроков, в основном поболтать, и три девочки, с которыми она дружила в средней школе; отношения Можань с ними продолжились не с такой легкостью, какой она ожидала, возникли, казалось, какие-то опасные подводные течения, треугольник осложнений, в котором Можань нередко терялась, и их слова, полные кажущегося значения, иногда звучали нарочито или просто глупо.

– Я подожду, ничего страшного, – сказала Можань. – Мне вообще-то нравится наблюдать, как ты играешь.

Жуюй посмотрела на Можань холодным испытующим взглядом.

– В смысле – нравится наблюдать за музыкантами? Или на меня нравится смотреть?

Можань зарделась. Какое право, подразумевала, казалось, Жуюй, она имеет сидеть рядом и претендовать на дружбу?

– Я не знаю. Может быть, мне просто нравится слушать настоящую, живую музыку.

– Почему?

– Потому что я сама не играю?.. – предположила Можань, замявшись под ровным взглядом Жуюй. – Никто, кого я знаю, не играет.

– А ты хочешь?

Можань посмотрела на ксилофонистку, которая практиковалась так самозабвенно, что даже когда ее глаза были открыты – а у нее были огромные, почти нечеловеческие глаза, таинственно глубокие, – она, казалось, ничего не видела. Годы спустя эта девочка станет барабанщицей первой в Китае женской рок-группы, и Можань увидит в журнале ее фото: тело обтянуто чем-то кожаным, черным, блестящим, а в глазах – то же самозабвение или утрированное отчаяние.

Жуюй бросила на девочку взгляд. Можань подумалось, что, по мнению Жуюй, она, может быть, просто напыщенная воображала или, хуже, приставучая, надоедливая личность. Но девочка могла летать со своим инструментом в Японию, показывать паспорт пограничникам в обеих странах. Кроме нее и сестры Бояна, Можань не знала никого, кто покидал бы страну; из обитателей двора никто и права не имел на заграничный паспорт.

С молчаливым презрением Жуюй повернулась к Можань, как будто спрашивая ее, хочет ли она стать девочкой с ксилофоном.

– Мне очень жаль, что я не играю, – сказала Можань. – Но не все могут себе это позволить.

– Почему? Даже я, сирота, могу это делать.

Первый раз Жуюй назвала себя *сиротой*. У Можань не было для нее слов утешения – правда, прозвучало из уст Жуюй скорее высокомерно, как притязание, брошенное в мир, точно кинжал, и Можань, не способная ответить, лишь предложила себя в качестве мишени.

Жуюй вернулась к игре, и зазвучала полька в изматывающем ритме. Можань поняла, что ей на веранде делать нечего. Гордость подсказывала ей, что стоило бы извиниться и уйти, но, похоже, уйдет она или останется, не имело большого значения. Конечно, Жуюй могла делать многое, чего не мог больше никто; не потому, что сирота, – будь Можань сиротой, она была бы из тех дрожащих и просящих милостыню у дороги; не потому, что красива, – да, Жуюй была красива, но встречались девочки и красивее, лучше сложенные, однако порой и они, как Можань, испытывали сомнения, от которых Жуюй была защищена; нет, Жуюй могла делать с другими, с миром все, что пожелает, потому что знала: ей предначертано быть особенной. Ей не надо было доказывать это ни себе, ни кому-либо еще, и она не проявляла снисхождения к тем, кто не избран, как она. Что такое была Можань в ее глазах? Много позже Можань придет в голову, что то ли самым счастливым, то ли самым несчастливым для нее обстоятельством в жизни было вот что: когда она первый раз посмотрела на себя чужими

глазами, это оказались глаза Жуюй. Кто она была для Жуюй, как не личность до того обыкновенная, что все ее радости и боли значили не больше, чем заурядный шлак повседневности?

Через несколько дней Боян сказал Можань, что Жуюй попросила показать ей университет, где преподают его родители.

– В субботу во второй половине дня, – сказал он. – Пойдешь с нами?

Университет находился в западной части города, недалеко от Летнего дворца, и в своей предыдущей инкарнации его территория была для императоров последней династии местом жительства ближайших родственников и сподвижников. Говорили, что это одно из красивейших мест Пекина, однако за все годы, что Можань знала Бояна, она ни разу там не была. Это была часть мира, которым он не хотел с ней делиться, да и она чувствовала бы себя там не в своей тарелке. Его родители, она знала, невысоко ставили ее, ее мать с отцом и подобных им людей.

Просьба Жуюй не стала сюрпризом. И все же Можань было больно, что запретное для нее Жуюй получает как само собой разумеющееся, стоит ей только захотеть. Понимает ли Боян разницу? Она посмотрела на него – он был взволнован, он разрабатывал план.

– Конечно, мы посадим ее на автобус, а потом встретим у университета. Но как ты думаешь – она нормально перенесет поездку? Ведь на полпути надо будет пересесть на другой автобус. Или ты поезжай с ней. Но тогда у нас будет только один велосипед, а территория там огромная, замучимся ходить. – Боян умолк. – Постой. Может быть, у тебя другие планы на субботу?

– Нет-нет, я свободна, – сказала Можань. Слишком много энтузиазма вложила, подумала она тут же, но разочаровывать его ей не хотелось.

– Тебе твои разрешат там поужинать? Не с моими родителями. Жуюй хочет посмотреть мамину лабораторию, и я думаю, мы сначала поужинаем в столовой, а потом пойдем туда после рабочего дня, чтобы не пришлось ни с кем разговаривать.

– А твоя мама там будет?

– Не беспокойся, вот еще глупости какие! Не останется она ради нас. Она ради премьер-министра своих планов не изменит.

Несмотря на свои тягостные мысли, Можань с приближением субботы начала ждать поездки с нетерпением. В том, что Боян поступит в родительский университет, сомневаться не приходилось: он учился великолепно, и для поступления ему даже не нужны были семейные привилегии. Он всегда верил, что и Можань будет там учиться, хотя она не была в этом так убеждена. Ей надо будет повысить школьные оценки и

отлично сдать вступительный экзамен, но, когда она делилась этими сомнениями с Бояном, он только смеялся над ее мнительностью. Конечно, все получится, говорил он; она способнее, чем позволяет себе думать. Только представь, говорил он, какая в университете нас ждет свобода, и волей-неволей она вплоть до последнего времени заражалась его оптимизмом.

– Ну так что, – сказала Шаоай в пятницу за ужином. – Я слышала, на завтра намечен некий визит в университет, это правда?

Жуюй не подняла глаз. Ужин в эти дни был для нее мукой, худшей мукой, чем спанье, потому что к тому времени их с Шаоай уже разделяло открытое поле боя. Только раз после той ночи Шаоай попробовала снова прикоснуться к Жуюй, но та самым ровным тоном, на какой была способна, велела старшей девушке оставить ее в покое. Ни слова после этого не было сказано, новых попыток не делалось, и каждую ночь Жуюй плотно заворачивалась в одеяло и была настороже, спала чутко.

Жуюй поклялась себе, и пока держала слово, что никогда больше не взглянет Шаоай в лицо. Присутствие Тети и Дяди, однако, усложняло дело. За ужином, когда старшая девушка сидела напротив, Жуюй надо было либо смотреть в свою тарелку с рисом, либо, когда Тетя к ней обращалась, поднимать на нее глаза, но усилием воли затуманивать свое периферическое зрение.

– В какой еще университет? – вскинулась Тетя. Слово *университет* последнее время было в доме одним из нежеланных.

– Наша Жуюй, – объяснила Шаоай, – вознамерилась осмотреть места, где ее ждет яркое студенческое будущее.

Хуже всего было то, что Жуюй негде было спрятаться от звуков, производимых известно кем: от стука палочек, от шарканья ножек стула по полу, от бурчания вместо ответов на вопросы Тети, от разного рода замечаний в адрес Жуюй в расчете на реакцию.

Тетя посмотрела на Жуюй, хотела что-то спросить, но передумала.

– И еще я только что узнала, что нашу расчудесную Енин взяли на практику в «Сино ойл энд гэс», – сказала Шаоай.

Не дождавшись ничьей реакции, Тетя вздохнула и спросила, чем Енин там будет заниматься.

– Учиться быть очаровательной и услужливой молодой женщиной в реальном мире, – ответила Шаоай. – Чем еще ей там заниматься?

Если бы только она замолчала, подумала Жуюй, но в эти дни именно Шаоай вела разговор за ужином, как будто ее темы были безобидными, повседневными. Не переставая мучить родителей, она, несомненно, знала,

какую боль им причиняет, и, может быть, даже получала удовольствие. Уже Жуюй видела, что Шаоай медленно теряет место всюду, кроме родительских сердец: никаких видов на работу, меньше симпатии со стороны соседей, боязливые взгляды Можань и Бояна. Но почему, спрашивается, надо жалеть родителей Шаоай? Ведь это по их милости такой человек появился в мире, и им долго теперь не выйти из-под ее деспотизма, хоть она и перестала что-либо значить для мира.

– Что с тобой, Жуюй? – спросила Тетя.

По ее лицу Жуюй поняла, что, видимо, прослушала вопрос, который Тетя задала, чтобы не продолжать неприятный разговор с Шаоай. Жуюй извинилась и сказала, что думала о том, не забыла ли в школе папку с материалами для подготовки к важной контрольной.

Лицо Тети стало озабоченным; Жуюй показалось, что втайне Тетя рада возможности переключиться на неприятность поменьше, с которой можно справиться.

– Так проверь свою сумку, – сказала Тетя. – Если там нет, у Бояна или у Можань должны быть такие папки. Ты что-то должна сегодня доделать?

Жуюй сказала, что пойдет проверить, и вышла из-за стола. В спальне на узеньком письменном столе лежала эта папка, и машинально она открыла верхнюю страницу и начала читать первый вопрос; на середине ее внимание рассеялось, но она сохраняла занятый вид на случай, если Тетя заглянет. На стуле лежала ее наплечная сумка, новая, на покупке которой настояла Тетя, заявив, что в старшую школу нельзя ходить с такой детской сумкой, какую Жуюй привезла из дома. В углу комнаты был старый комод, нижние два ящика принадлежали Жуюй. Взгляда на верхние ящики, где лежало белье Шаоай, было достаточно, чтобы Жуюй жестоко передернуло; она порвала страницу.

Ивовый сундук ее тетя-бабушек стоял под кроватью, накрытый, чтобы не пылился, старой шалью. Аккордеон был в школе, запертый в помещении, которое выглядело так, будто ночами его посещали поколения монашеских духов. Вот и все, чем Жуюй владела в жизни, – не много, но достаточно, чтобы она не была бросовым, устранимым существом. Когда родители оставили ее на пороге у тетя-бабушек, приходило ли им в голову, что она может умереть от голода или холода до того, как сестры обнаружат сверток? По мнению тетя, это Бог сделал так, что они нашли ее раньше, чем могло случиться плохое, но Жуюй понимала теперь, что у их бога не больше мудрости, чем в словах, которые они же сами и вкладывали ему в уста. Если бы Жуюй сложила все в сундук и ушла в эту минуту, она не оставила бы следа в жизни этих людей, но ей некуда было бы пойти –

только броситься в реку с сундуком. Если она убьет себя, тети могут спрашивать сколько угодно, но ни их бог, ни кто-либо из смертных не даст даже самого примитивного объяснения.

Но люди не умирают, пока их к этому не принудят. Младенец, для которого родители не находят любви в своих сердцах, будет, если его оставить в диком месте, плакать, пока не охрипнет; не в нашей природе лишаться жизни тихо.

На следующий день Жуюй поехала в западную часть города. Это была ее первая поездка на автобусе со дня прибытия в Пекин. Всего два месяца с небольшим, но насколько все изменилось! Мужчины и женщины вокруг нее не могли причинить ей вреда, потому что она овладела секретом недоступности для их взглядов и мыслей. Невидимая, она чувствовала себя неуязвимой.

На полпути вошли и встали рядом с ней двое детей, мальчик и девочка не старше десяти. Ни он, ни она не держались за спинки сидений – качались себе, держа равновесие. Они разговаривали о геологических породах, произнося такие термины, как *осадочные*, *магматические*, *метаморфические*, до того непринужденно, что казалось, у них нет иных причин пребывать в мире в эту минуту, кроме желания разобраться, как за миллионы лет образовались разные виды камня. Через несколько остановок они сошли. Жуюй смотрела в окно, как они переходят улицу, лавируя между сигналящими, но не сбавляющими ради них ход машинами. Так, должно быть, выглядели в их возрасте Можань и Боян. Столько веры в свою способность держать опасный мир на расстоянии; так мало сомнений в своих пустых усилиях.

На университетской территории было и правда так красиво, как обещал Боян: пруд с плакучими ивами, чья листва едва начала желтеть, чьи гибкие ветви клонились до самой воды, касаясь своих отражений; каменное судно, стоящее на вечном приколе около острова; пагода, храм, древний колокол на холме; бронзовый худой Сервантес со сломанной шпагой; несколько могил знаменитых людей, китайцев и европейцев, умерших давно, – ни Можань, ни Жуюй ни об одном из них не слышали, но до чего удачное место упокоения, где приятный контраст древнему одиночеству создают студенты, кто пешком, кто на велосипеде, с их разговорами и мельтешением. Конец учебного дня, многие направлялись к столовым, позвякивая ложками в металлических судках, которые одни несли в руках, другие везли на багажниках.

Сидя в столовой в конце длинного стола напротив Бояна и Жуюй, Можань робела. Иные из студентов свистели им, возможно, находя их

смешными в школьной форме, но Бояну и Жуюй это, казалось, было нипочем. Изредка кто-то подходил и хлопал Бояна по плечу, как парни, так и девушки, – ученики его родителей, объяснил он Можань и Жуюй. Его мать, сказал он, оставила ключи от лаборатории одному из аспирантов, он встретит их у входа в старый химический корпус.

– А есть и новый химический корпус? – спросила Можань, но Боян, говоривший что-то Жуюй, не услышал.

Жуюй повернулась к Можань, ожидая, что она повторит вопрос, или, может быть, подначивая, но Можань стала смотреть в сторону, как будто ее заинтересовала молодая пара на другом конце стола, – он и она глядели друг на друга, не притрагиваясь к пище. Голод в их глазах заставил Можань почувствовать себя незваной гостьей – и, может быть, таковой она и была, тут и не только тут. Она подумала про тех, кто был рад ей как слушательнице: про бабушку Бояна, вспоминавшую о голодных годах – сорок первом и пятьдесят восьмом; про двух мальчиков Арбуза Вэня, точно передразнивавших соседей; про незнакомых людей в переулке, жаловавшихся ей на то и на это; про своих родителей, неустанно повторявших ей уроки жизни, проживаемой смирно. Если бы только было так же легко находиться подле тех, чьего общества она больше всего хотела! Но им она, судя по всему, только мешала: Жуюй, когда играла на аккордеоне, тяготилась ее присутствием, а сейчас, сидя напротив друзей, Можань подозревала, что Боян только из вежливости заставляет себя включать ее в беседу.

Лаборатория была на верхнем этаже трехэтажного здания. Коридор был загроможден старым оборудованием, скатанными учебными плакатами, трехногими стульями, прислоненными к шатким столам, и другими безымянными предметами, которые, видимо, пылились тут годами. Аспирант выглядел задумчивым, погруженным в себя, он сказал несколько слов о том, что делать с ключами, и исчез в неосвещенном коридоре.

Боян отпер дверь и зажег лампы дневного света. «Честно говоря, тут не на что особенно смотреть», – сказал он. Тем не менее провел девочек по проходам, открывал тут и там дверцы, показывая, где хранятся реактивы и все прочее, включил вытяжной шкаф, чтобы они увидели предостерегающие улыбки черепов на коричневых склянках с ядовитыми веществами.

Потом они сидели в кабинете, примыкающем к лаборатории. Боян вскипятил на плитке воду. В их чаепитии была какая-то странная официальность, дома ни у кого из них так чай не пили. Так или иначе, он,



похоже, наслаждался своей ролью хозяина. В кабинете было высокое крутящееся кресло его матери и маленький деревянный стул. Когда Боян предложил им сесть, Можань, секунду поколебавшись, выбрала деревянный. Жуюй села за письменный стол и стала читать заголовки лежащих на нем статей.

– На твоём месте я бы их не трогал, – сказал Боян.

– Почему? – спросила Жуюй. – Твоя мама заметит?

– Заметит? Конечно. Она все замечает.

– Она будет недовольна?

– Нет, не будет. Скорее, может неправильно подумать, будто я заинтересовался её исследованиями, и кто знает – может быть, в следующий раз даст мне целый ворох научных бумаг.

– Что она исследует? – спросила Жуюй.

Боян пожал плечами и сказал, что это слишком сложные вещи, чтобы представлять интерес для кого-нибудь, кроме его матери.

– Ты в колледже будешь химию изучать? – спросила Жуюй.

– Нет, – ответил он. – Слишком скучно.

– Какую специальность выберешь?

– Не знаю. Что-нибудь полезное. Инженерное дело. Или компьютерное программирование. А ты?

Жуюй не ответила и повернулась к Можань с вопросом про её планы. До последнего времени Можань думала, что пойдёт на ту же специальность, что и Боян. Это представлялось разумным, ведь он разбирался во всем этом лучше, но сейчас, если бы она сказала «инженерное дело» или «программирование», прозвучало бы глупо.

– Может быть, химия, – сказала она. – Меня не пугают скучные предметы.

Боян засмеялся и заметил, что этих слов было бы достаточно, чтобы вывести его мать из себя.

– Но с каких это пор ты стала думать про химию?

Можань смущенно покачала головой, сознавая, что Жуюй смотрит на неё, смотрит с непонятной пристальностью. Чтобы уйти от этой темы, она стала спрашивать Бояна про аспирантов его матери, но ей видно было: им владеет что-то другое. Он был необычно притихший.

Разговор застопорился, но ни Боян, ни Жуюй не выказывали желания уходить. Солнце садилось, и в единственное окно кабинета видна была наклонная крыша соседнего здания, её выцветшие теперь терракотовые плитки, некогда покрашенные в золотой и зелёный цвета. На дереве поблизости каркнула ворона, и тут же кто-то за окном громко выругался,

раздосадованный дурной приметой.

Чем-то этот вечер – ужином не дома, близостью мира, который делал за окном свои мирские дела, их свободой, на которую никто не покушался, – заставил Можань почувствовать себя так, словно она наконец ступила на порог подлинной жизни, которую раньше, прилежный ребенок, только репетировала. Доверие и преданность, разочарование и пассивный отказ, радость и печаль, дружба и любовь – все в этой новой жизни, не как в репетиции, было на должном месте, и ничто не могло помешать пьесе идти вплоть до самого занавеса. Можань посмотрела на друзей: уверенные в себе, они выглядели лучше подготовленными, чем она.

Что если ничего нельзя изменить и она всегда будет играть эту второстепенную роль? Что если в ней нет ничего, за что ее можно полюбить? Но ведь в каждом из нас должно быть что-нибудь, за что можно полюбить, иначе не было бы смысла переходить от одного дня к следующему. В тоске, сама того не замечая, Можань потянулась к друзьям ищущими руками: улыбка, дружелюбный жест, безмолвная поддержка – не так уж много нужно, чтобы спасти человека от отчаяния; но они, невосприимчивые к тому, что ее пожирало, смотрели на закат, забывшись.

Можань тянуло приобщиться к этой их интимной тишине; ее собственная, навязанная ей, только мучила сердце, заставляла искать слова. Но если она заговорит, то будет безмозглой вороной, портящей грезу, достойной лишь молчаливого ругательства.

Жуюй встала и сказала, что на минутку выйдет; Боян, кивнув, объяснил, в какой стороне по коридору женский туалет. Когда она ушла, Можань повернулась к нему, но он по-прежнему смотрел в окно на соседнюю крышу, и понятно было, что его ум чем-то занят. Ей было жаль, что она уже не такая, как раньше, когда ей ничего не стоило спросить его о чем угодно. У них никогда не было секретов друг от друга.

– Ведь правда же, она особенная? – прошептал Боян, повернувшись к Можань с просительным видом; не называя Жуюй по имени, он, казалось, берег некое сокровище.

Можань, улыбнувшись, согласилась.

– Ты на самом деле так думаешь? – с жаром спросил Боян.

– Нам никогда еще такие не встречались, – сказала Можань.

Лицо Бояна стало счастливым.

– Интересно, на что она поступит в университете.

– Кажется, она хочет в Америку.

– Я знаю. Мы тоже можем поехать.

То, что он по-прежнему, как сестру, включал Можань во все свои

планы, и утешало ее, и причиняло боль.

– А потом? – спросила она.

Боян, похоже, не чувствовал, в каком она настроении.

– Мы могли бы снять дом на троих, – сказал он. – Представляешь, настоящий дом, с собственным двором, с мансардой. Я знаю, в Америке это можно.

Самым невинным образом – но с той жестокостью, на которую способны только невинные, – Боян заставил Можань увидеть себя в этом доме стулом, плакатом на стене, полузадернутой занавеской. Они хорошо друг другу подходят, подумала она, оба красивые, умные, особенные, а она всегда была и будет заурядной. Быть приглашенной в их жизнь на каких угодно правах – это надо считать везением, но, когда придет время, ей в этом доме места не будет. Ей доставало гордости не становиться ни в чьей жизни предметом мебели или домашнего убранства, но не гордость отъединит ее от них, а то, чего он не способен был сейчас увидеть: когда придет время, она знала, он забудет о своем приглашении.

Можань апатично поднялась и сказала, что вернется через минуту. Боян вновь показал, в какую сторону идти, но на этот раз он сделал это словно во сне, взгляд был устремлен куда-то наружу, в закат. Там, в небе, яркие краски сменились более густыми оттенками красного, пурпурного и синего. Любовь может обыкновенному вечеру придать поэтичность. Печаль тоже на это способна.

Выйдя из кабинета, Можань увидела, что Жуюй стоит у вытяжного шкафа, и, услышав ее шаги, Жуюй повернулась к ней, держа обе руки в карманах. Инстинктивно Можань бросила взгляд на коричневые склянки в шкафу. Свет и вентиляция там были включены.

– Поговорили? – спросила Жуюй и выключила шкаф. – Я не хотела вас беспокоить, вам, может быть, надо было что-то обсудить наедине.

Сконфуженная, Можань сказала, что они ее ждали.

Позднее тем же вечером Можань поджидала Жуюй на автобусной остановке. Боян отправился к родителям, но перед расставанием несколько раз повторил, что Можань должна встретить Жуюй на остановке, а то она может не найти дорогу домой. Как она заблудится? – хотела, но не в силах была спросить Можань; ходьбы от остановки до их двора было всего минут десять, и время не такое позднее, чтобы чего-то всерьез опасаться. Но она согласилась, пообещала, что сделает все как надо.

Жуюй, сходя с автобуса, выглядела уставшей, но, когда Можань предложила ей сесть на багажник, она покачала головой.

– Поезжай домой, ничего, – сказала она. – Я пройду.

Можань сказала, что в любом случае никуда не торопится. Она пошла подле Жуюй, ведя велосипед и зная, что Жуюй, должно быть, досадует на ее навязчивость. После недолгого молчания Можань спросила, как Жуюй понравился университет.

– А тебе как? – спросила Жуюй.

– Красивая территория, правда же? – сказала Можань и, не услышав ничего от Жуюй, добавила: – Будет чудесно, если мы все туда поступим после школы.

– Ты правда так думаешь? – спросила Жуюй и, приостановившись, посмотрела на Можань искоса.

На вопрос, что она думает о чем бы то ни было, она уже не могла ответить с уверенностью. Ей пришло в голову, что людей, когда они спрашивают о ее мнении, оно на самом деле не особенно интересует.

– Что ты хотела увидеть в лаборатории? – спросила Можань.

– Почему ты спрашиваешь?

– Сама не знаю. Я думала, тебя больше заинтересует территория, парк. Не знала, что тебе интересны химические лаборатории.

– Но мы и парк посмотрели.

Но ведь Жуюй не попросила сводить ее туда, где занимается своими исследованиями отец Бояна, специалист по физике высоких энергий; этого Можань, однако, не хотела говорить просто ради того, чтобы возразить. Они перешли дорогу, хрустя опавшими листьями в одном ритме.

– Куда, по-твоему, люди попадают после смерти? – спросила Жуюй, когда они повернули в другой переулок.

Можань несколько секунд помолчала и посмотрела на Жуюй. Ее глаза были вполне ясными, и в них не ощущалось того холода, которого Можань страшилась. Жуюй, чувствовалось, хочет поговорить о чем-то, но Можань была утомлена; ей хотелось одного – домой и свернуться в постели.

– Я не думаю, что они куда-нибудь попадают, – сказала она. – Их кремируют, вот и все.

– Так вы, атеисты, считаете.

– А ты... – Можань пришел на ум вопрос, которого она прежде не решалась задавать. – Ты верующая?

– Почему ты спрашиваешь? Потому что мои тети верующие?

– Иначе зачем ты стала бы интересоваться, куда попадают умершие? Куда, по-твоему?

– Никуда, – ответила Жуюй, и усталость в ее голосе навела Можань на мысль о женщинах старшего поколения.

Она видела порой в Тете, в собственной матери и в других изнурение,

подавленность нехваткой денег и продуктов, несправедливостью на работе и в жизни.

– Ты нормально себя чувствуешь? – спросила Можань.

– С какой стати мне чувствовать себя ненормально?

– Что-то ведь заставило тебя спросить, – сказала Можань. – Про умерших.

– Люди умирают все время. Дедушка Шаоай умрет рано или поздно. Когда-нибудь и мои тети. Кто угодно может умереть когда угодно. Даже молодые. Даже ты и я. Сегодня. Завтра. Кто знает?

У Можань по спине пробежала дрожь. Бессознательно они обе остановились под старой акацией, чей навес из листьев – было слишком темно, чтобы увидеть, какого они теперь цвета и скоро ли упадут, – давал им укрытие от ясного, глубокого неба. В траве и в трещинах каменного забора пели осенние сверчки. Из дома в ближайшем дворе послышался звук телерекламы растворимого кофе «Максвелл Хаус» – эту марку только что начали импортировать в страну. Дальше должна была идти реклама «Нескафе» – тоже новое веяние. Если бы Можань закрыла глаза, она увидела бы пар, поднимающийся из кружек в обоих роликах, актрис, делающих, точно в забытии, глубокие блаженные вдохи. Но как пахнет кофе? Ни одна семья в их дворе не стала бы транжирить деньги ни на одну, ни на другую марку, и только теперь Можань пришло в голову, что она никогда не задумывалась, какое оно – наслаждение, написанное на лицах актрис. Многим ли из тех, кто смотрит рекламу, знаком аромат кофе? Может быть, это свойство счастья – выглядеть более реальным, когда оно разыгрывается не нами по не нами написанным сценариям.

После «Нескафе» зазвучала музыкальная тема популярного телефильма. Родители Можань наверняка сидели перед экраном и удивлялись, что ее нет, – казалось, мало что на свете может заставить ее пропустить зрелище.

– Ты... – начала Можань, но замялась и лишь немного погодя набралась решимости. – Ты взяла что-то из лаборатории?

Жуюй смотрела на Можань спокойно, изучающе.

– Ты хорошо воспитана, не говоришь: украла, – сказала она наконец.

– Так взяла, да?

– Ты видела, как я что-нибудь сделала?

– Нет, но я подумала...

– Если не видела своими глазами, ты не можешь говорить, что ты подумала, – сказала Жуюй. – Твои мысли и чьи угодно мысли не имеют значения.

– А ты со мной не поделишься?

Жуюй покачала головой.

– Какой смысл делиться с тобой чем бы то ни было? – произнесла она тихим голосом, но не сарказмом, к чему Можань готовилась, были проникнуты эти слова, а печалью, на обнаружение которой перед другими Можань не считала Жуюй способной.

– Что ты взяла? – мягко спросила Можань.

Жуюй опустила глаза на носки своих туфель, а когда опять подняла их, меланхолии в них уже не было.

– Ты расскажешь о своих подозрениях Бояну? – спросила она с полуулыбкой.

Можань почувствовала острую боль, какой прежде не знала. Будь это вчера, она поехала бы, нашла телефонную будку, еще открытую в это время, и позвонила родителям Бояна; она перетерпела бы их расспросы ради разговора с ним, дала бы ему знать о своей тревоге – но все это после нынешнего стало невозможно. Что она могла ему сказать? Что девушка, в которую он влюбился, украла что-то у его матери? Но ради чего, спросил бы он, и откуда она знает? И Можань не смогла бы ответить. Жуюй была права. Можань ничего не видела и не имела права заявлять, что знает что-то. Боян покачал бы сам себе головой, умалчивая по великодушию, что разочарован в ней, что источник ее необоснованного подозрения – то недоброе место внутри, где ревность подпитывает мрачные фантазии. Разочаровывать людей, и его в особенности, Можань панически боялась. Она посмотрела на Жуюй с просьбой во взгляде.

– Я ничего ему не скажу, если ты не хочешь.

– Скажешь ты ему что-нибудь или нет – это не должно от меня зависеть, – промолвила Жуюй. – Это будет твой поступок или его отсутствие, ты не можешь за меня прятаться. Разве не так?

Можань было донельзя тошно и неловко.

– Я ему не скажу, – пообещала она. – Так я решила.

– Ясно, ну и хватит об этом, – сказала Жуюй. – Пошли? А то поздно.

– Нет, погоди. Мы не можем так... – возразила Можань. – Почему ты взяла что-то из лаборатории? Что ты собираешься с этим делать?

– Если я скажу, что ничего не брала, ты согласишься мне, ты поставишь на этом точку?

Можань сделала глубокий вдох, но никакого облегчения не испытала.

– Нет, – ответила она. – Не могу.

Жуюй улыбнулась.

– Люди хотят себе чего-то по разным причинам. Одни денег, чтобы

покупать вещи; другие денег, которых никогда не будут тратить. Кто-то хочет другого человека себе в собственность; кто-то хочет быть собственностью другого человека, – сказала она. – Допустим, твои фантазии верны; тебе не приходило в голову, что я могла бы хотеть чего-то, что помогло бы мне чувствовать себя лучше?

– Но как? – спросила Можань, которую вдруг пронзило страхом, что либо она сходит с ума, либо Жуюй. – Ты не думаешь о самоубийстве?

Глаза Жуюй, расфокусировавшись на долю секунды, насмешливо сузились.

– Откуда ты только берешь такие глупые мысли, Можань, – сказала она.

Можань подумала, что утром еще была другим человеком: да, печалилась, но так, как многие девушки в ее возрасте. Даже сидя в кабинете с Бояном, глядя, как небо меняет цвет, она все еще была тем человеком, печаль ее выросла, но ни на секунду не лишала ее уверенности в мироздании. Между «тогда» и «сейчас» то, что было, исчезло, но почему и как произошла эта перемена, она не знала.

– Ты обеспокоена? – спросила Жуюй. – Хочешь забить тревогу, рассказать всем взрослым? Пойми простую вещь: если кто-то надумал покончить с собой, тут ничего нельзя сделать. Но тебе следует по крайней мере знать, что самоубийство – грех, так говорят мои тети. Для таких людей нет искупления.

Таких слов, как *грех* и *искупление*, не было в словаре Можань. Она не знала о жизни и половины того, что знала Жуюй, и не поздно ли сейчас наверстывать?

– Ты чувствуешь себя несчастной? – спросила Можань, пытаясь пустить разговор по более знакомому руслу.

– Ты знаешь, я заметила, ты всегда всех спрашиваешь, счастливы они или нет.

Так ли это? Можань задумалась. Она не признавала этого раньше, но, может быть, и правда у нее была такая привычка. Иной раз, когда ей попадался по соседству плачущий ребенок, первый ее вопрос был: *ты почему такой несчастный?*

– По-моему, таких вопросов не задают, – сказала Жуюй.

– Не задают?

– Меня об этом никто никогда не спрашивал, – сказала Жуюй. – Ты первая и единственная. И если подумать – я не хочу сделать тебе больно, Можань, – но если подумать, это самый бессмысленный вопрос на свете. Если человек ответит: да, я счастлив – что тогда?

– Я буду счастлива за него.

– А если несчастлив?

– Если несчастлив, я постараюсь это исправить, – сказала Можань.

Жуюй посмотрела на Можань так, как смотрят на птенца, искалеченного дикой кошкой, сочувствие и отвращение смешивались в этом взгляде, образуя что-то непонятное. Не проговорив ни слова, Жуюй пошла дальше.

Когда тебе вот так показывают твою глупость, это все равно что натолкнуться на стену, которой ты не видела. Боль была такая, что на секунду у Можань перехватило дыхание.



Йозеф попросил только чашку черного кофе и даже к ней не притрагивался, глядя, как Можань ест свою яичницу с тостом. Она поняла, что опять все зря усложнила. Накануне вечером, когда она позвонила Йозефу из аэропорта, он предложил накормить ее простым ужином, но она отказалась наотрез: она приехала не для того, чтобы ее принимали, чтобы о ней заботились каким бы то ни было образом. Она спросила, что у него завтра, и он ответил, что утром должен побывать в больнице. Она заберет его и отвезет, сказала она ему, решая за них обоих, как всегда решала перед ежегодным ланчем в день его рождения.

В больничной столовой будет слишком уныло в это время дня, сказал Йозеф, и она согласилась позавтракать в маленьком кафе поблизости. Но сейчас – как всегда, с опозданием – сообразила, что он не может ничего есть, ведь у него сегодня очередной сеанс химиотерапии; и как, при всей своей внимательности, она могла забыть, что в городе такой величины нет нужды никуда отправляться за два часа до назначенного времени?

Йозеф, впрочем, смотрел, как она ест, с таким видом, словно все шло обычным порядком. Пиджак теперь на нем висел; щеки, некогда круглые, налитые – «щеки Будды», как она о них с нежностью отзывалась, – сделались впалыми, скулы заострились, кожа сморщилась. Двигался он хоть и с достоинством, но гораздо медленнее прежнего. Возможно, подумала она, его беспокоят кости и суставы; болезнью это вызвано или химиотерапией? Хотя какая разница. В машине рядом с ней он сидел с прямой спиной, и он не позволил себе ссутулиться после того, как официантка принесла им заказанное. Он был из тех, кто встречает смерть в безупречной манере, жмет ей руку, благодарит, что взяла на себя труд прийти за ним, кто, приведя свои дела в порядок заблаговременно, прощается с семьей и друзьями перед отбытием в путь.

– Глупо сидеть тут и ждать, – сказала она, в расстройстве от мысли, что его последнее путешествие перестало быть гипотетическим. – В следующий раз поедем в больницу точно ко времени.

– Это единственный раз, пока ты здесь, – сказал Йозеф. – Так что не волнуйся. Кстати, Рейчел просила поблагодарить тебя за помощь сегодня.

Это, подумала Можань, сигнал с его стороны, чтобы она спросила про Рейчел, про ее детей, про ее братьев и про их детей. В прошлом Можань и Йозеф за ланчами в день рождения были разговорчивы, у каждого, стоило

теме выдохнуться, имелась наготове новая: он рассказывал о выступлениях местного оркестра, на которых побывал, о разных строительных проектах в городе, о детях и внуках; она говорила о новых продуктах на работе, о том, в какие цвета покрасила спальню, о растениях у нее на подоконнике. С тем, что ей не удавалось в браке, она, похоже, справлялась в разводе – по крайней мере раз в год: проявлять интерес к мелочам. Нужна храбрость, чтобы находить в мелочах успокоение, своеволие – чтобы не давать им завладеть твоей жизнью. Сейчас, однако, мелочи могли подождать – или с ними следовало разделаться навсегда.

– Следующий раз, – сказала она, – будет. Я переезжаю обратно.

– Обратно, Можань? Куда, в какое место?

Почудилось ей или действительно в его глазах мелькнуло подозрение, даже паника? Дом, который она знала, который был их домом – а до того домом Йозефа и Алены, – два года назад переоборудовали и продали. Переезд Йозефа в квартиру – она понимала это уже тогда – был только началом грядущей серии передвижений, сужающих его мир все больше и больше. И правда, в какое место? Но более точным вопросом было бы: в какое время? За прошедшие годы Йозеф не получил от нее сигналов о том, что ее жизнь как-то устроивается: новый брак, любовный интерес, связь – что угодно, что положило бы конец ритуальным визитам в дни его рождения. Очень мило с ее стороны было приехать, говорил он каждый раз, и его радость и благодарность были искренними, ведь ежегодно она на какой-то срок реорганизовывала свою жизнь ради него. Но Можань все-таки сомневалась: не притворяется ли он ей в угоду? Его жизнь не зависела от ее приездов, дети и внуки давали твердую реальную основу его воспоминаниям об Алене, в совершенстве отполированным годами. Не сохраняй Йозеф для Можань место, чтобы опуститься на землю, она была бы несчастной потерянной птицей в перелете от одного года к другому. Вот именно – в какое время? К моменту, когда она попросила о разводе, или в более раннее время, когда она убедила себя, что человек с любящим сердцем даст ей место в жизни? Или в еще более раннее, когда их впервые потянуло друг к другу?

– Не волнуйся. Я не вселюсь к тебе в гостиную, как незваная гостья. Я не буду мешать, когда к тебе будут приходить дети. Нет, Йозеф, нет, не беспокойся, пожалуйста, – сказала Можань, чувствуя, как стягивает живот.

Она намеревалась выбрать наилучший момент, чтобы сообщить ему о своем плане, но на пятой минуте завтрака уже теряла стратегию. Она не могла заставить себя сказать, что наверняка у него будет нужда в человеке за рулем, в руке, чтобы держаться на льдистом тротуаре, в слушателе, когда

не спится и хочется поделиться воспоминаниями, в ком-то, кто ценит его доброе сердце.

Йозеф, помолчав, заметил, что ему отрадно видеть, как Можань, заморив червячка, становится такой, какой он ее знал.

Он имел в виду, что в его обществе она легко проявляла нетерпение и раздражалась; эту часть себя она никому больше не показывала. В глазах окружающего мира она была в чем-то подобна Йозефу: уравновешенна на старомодный манер. Ей нравилось представлять себе, что она носит внутри что-то хорошее от него, хотя порой она подозревала, что она из тех, кто хватается за чужое, за то, что не в их природе, и задается целью сделать это своим; когда-то это была романтическая горячность Шаоай, не желавшей мириться с несправедливостью, а наряду с ней – беспечность Бояна в отношении всего, что тревожит. (Как, удивлялась она, в ней уживалось одно с другим? Но это было слишком давно, чтобы можно было надеяться понять.) Была непроницаемость Жуюй, совсем чуждое ей качество, однако не один год Можань старалась ее в себе развить, как будто, вставая в один ряд с Жуюй, она могла рассчитывать по крайней мере на некую долю ее безнаказанности. Но как определить, где кончается твое подлинное «я» и начинаются заемные? Вплоть до сего дня Можань иногда просыпалась после сновидений, в которых радостно смеялась. Часто в этих снах присутствовал Боян, а порой и Жуюй, а фоном, пусть и размытым, несомненно, был тот или иной из ее любимых уголков Пекина; в первые секунды бодрствования вольное счастье, подобно стойкому послевкусию цветков робинии, которые они ели в детстве, было острым и реальным – пока она не вспоминала, что она уже не тот человек, кому есть над чем смеяться и с кем смеяться. Крайнее разочарование кажется уроком, который невозможно усвоить: сколько бы раз это ни происходило, осознание было ударом, похожим на жестокий приступ физической болезни, и какое-то время она, ошеломленная, спрашивала себя, как может так быть, что в ее жизни нет места этому счастью.

– Я обидел тебя? – спросил Йозеф.

Никогда не медлит признать свою неправоту, постоянно готов извиниться – в этом они одинаковы. Мог ли брак, требующий известной иррациональности, получиться прочным у такой пары?

– Я серьезно, Йозеф, – сказала Можань. – Я переезжаю сюда, в город.

– Почему?

– Это, – она посмотрела ему в глаза, – глупый вопрос.

– Но как же твоя работа?

Она могла, чтобы он чувствовал себя лучше, сказать, что взяла

длительный отпуск, но дело в том, что она никогда ему не лгала. Это, она понимала, не так уж много значило, ведь человек может многое утаивать, может построить вокруг себя стену; может, не говоря ни слова, сторожить кладбище мертвых воспоминаний. Но, по крайней мере, она была тверда в том, чтобы наделять его – одного из всех – этим видом любви: человек, которому ты решаешь никогда не лгать, – великая редкость.

– Я увольняюсь, – сказала она. – И пожалуйста, Йозеф, не надо, не пытайся меня отговорить. Это всего-навсего работа.

– А что ты собираешься делать здесь?

– Это можно решить позже, – ответила Можань. – Если только ты не отвергнешь мой переезд всем сердцем.

Йозеф вздохнул.

– Это свободная страна, – сказал он.

– Это не поставит тебя в трудное положение перед детьми? Они не будут против?

– Ты не можешь переменить свою жизнь сейчас только ради меня.

– Почему только ради тебя? – промолвила она, но тихо, и не была уверена, что он услышал.

То, что он назвал ее жизнью, было лишь способом не жить, и при этом она брала тут и там части чужих жизней и превращала их в ничто наряду со своей.

Кафе постепенно наполнялось людским теплом и повседневным удовольствием. Была среда. Должно быть, тот день недели, когда четыре седые дамы за два столика от них встречаются, чтобы поболтать и посмеяться, а две молодые мамы у окна со спящими младенцами в сумках – чтобы сравнить свои записи. Вошли несколько пар, все возраста Йозефа, и Можань боялась узнать в них его друзей, хотя он только приветливо улыбался им и кивал, как улыбаются и кивают незнакомым людям. Помимо двух девушек студенческого возраста, погруженных за кофе в какие-то учебные дела, посетители кафе находились, казалось, либо в начале своих историй, либо, чаще, в конце. Даже студентки в определенном смысле только отправлялись в путь. Кого здесь не было, это тех, чья история дошла до середины, – но, видимо, они, как Можань неделю назад, не могли позволить себе роскошь праздности в такое утро. Они, должно быть, сидят в клетках офисов, пойманные и пристегнутые; порой – взгляд в потолок, что-то забытое из детства или смутный образ грядущей старости прочерчивает сознание, как быстрая тень пролетающей птицы, а затем мысли снова впрягаются в настоящее. Нет, середина пути требует практичности: со стабильной работы не уходят, от жизни не увиливают. Но

действительно ли она посередине? Не надеясь ни на что в будущем, может быть, она, несмотря на возраст, уже дошла до конца?

– Будешь искать тут работу? – спросил Йозеф.

– Только с достаточно гибким графиком, – сказала Можань. – Но, может быть, не сразу.

– Как собираешься проводить время?

– Я вернулась, чтобы быть около тебя. Если только... – Она умолкла, вдруг испугавшись. – Если только у тебя нет подруги. Я бы не хотела встречать.

– Я бы тебе сказал, – отозвался он.

Они обходили в прошлом эту тему, но в конце каждой встречи изыскивали способ сообщить друг другу о своей сердечной жизни – или о ее отсутствии. Он сошелся на какое-то время с женщиной, но к следующему визиту Можань в его день рождения отношения уже выдохлись. Были и еще кое-какие симпатии, хотя ничего существенного из них не вышло, ничего, кроме разочарований для него, вероятно; но она каждый раз испытывала облегчение, из-за которого чувствовала себя виноватой.

– Тогда что тебе мешает согласиться на мое предложение?

– А ты разве не сказала бы «нет» на моем месте?

– Не сказала бы.

– Сказала бы, Можань, – мягко возразил Йозеф. – И ты это знаешь.

– Есть старая китайская сказка. Кузнец хвастался, что сковал самый острый наконечник копья на свете – такой, которому нипочем любая броня; потом он похвастался, что сковал крепчайшую броню, которой нипочем любое копье.

– И ему предложили проверить изделия одно на другом? – предположил Йозеф.

– Верно мыслишь, мой милый Йозеф, – сказала Можань. – Но мораль, я думаю, та, что все мы до единого допускаем ошибки в своих рассуждениях и что мы не должны пользоваться ошибками друг друга. Как бы я поступила на твоем месте, не имеет значения. Важно, что я решаю на своем месте.

– Конечно, было бы... чудесно видеть тебя чаще.

– Тогда почему бы нам не ударить по рукам?

– Но я не вечно тут буду.

Это, разумеется, было на него похоже – напомнить ей о том, о чем она не забывала ни на секунду.

– Тем нужнее мне было вернуться, разве не так? – сказала она и вдруг

попросила проходящую мимо официантку дать счет.

– У нас еще есть какое-то время, – заметил Йозеф.

– Как ты не видишь, что я не хочу разреваться здесь, как дура? – вскинулась она и опустила лицо на ладони, предостерегая себя от провала на первом же экзамене. Ему не нужна была плакса; перед лицом смерти он был хуже защищен, чем она.

Официантка принесла счет. Можань сидела в той же позе и предоставила Йозефу оплатить. Когда он спросил, готова ли она ехать дальше, она сделала глубокий вдох и подняла глаза. Усилие, которое потребовалось, чтобы глаза остались сухими, истощило ее, но она была рада, что внутреннюю плотину не прорвало.

– Ну что ты, почему такой озабоченный вид? – сказала она. – Я здесь не для того, чтобы тебя оскандалить.

– «Мужчина за семьдесят, у которого гостила бывшая жена, довел ее до слез в общественном месте», – сказал Йозеф. – Нет-нет, нам не нужны такие заголовки.

– Но бывшая жена больше не гостит, – поправила его Можань. – Главная новость в том, что она переезжает обратно мучить его.

Йозеф сделал вид, будто попал в луч прожектора: руки метнулись вверх, словно в попытке закрыть лицо, на котором от внезапного движения проступила краска. На миг они вернулись в лучшие времена, когда он неожиданными импровизациями заставлял ее улыбнуться. Заслуживают ли, подумала она, такие моменты названия счастья на этой поздней стадии их истории?

Потом, когда она подвезла Йозефа к его дому, он спросил, не хочет ли она подняться в квартиру и немного посидеть. Поколебавшись, она сказала, что лучше пусть он отдохнет. Ей надо созвониться со сдающими квартиры и посмотреть сколько-нибудь вариантов, пока все не разъехались на День благодарения.

– Можань, перестань валять дурака. Давай положим этому конец.

– Почему? – спросила она. В его голосе она почувствовала усталость человека, которому уже не до заботы о том, как прозвучат его слова.

– Ты, как и я, понимаешь, что тебе не надо уходить с работы.

Не посещение ли больницы, подумалось ей, изменило его настроение? Он представил ее медсестре как знакомую, и она перед тем, как они ушли, спросила про Рейчел и ее семью. Не может ли быть так, что в его жизни установился некий ритм и он не хочет, чтобы ее возвращение его нарушило? Или осознал, что его время и так отмерено и у него нет для нее лишних дней, часов?

– Это будет для тебя слишком? Я буду отвлекать тебя от семьи и друзей? – спросила она, крепче сжав рулевое колесо, хотя уже припарковала машину точно посередине между двумя линиями, как он ее учил.

– Ты знаешь, что причина не в этом.

– А в чем?

– У тебя целых полжизни впереди.

– И почему переезд сюда не может быть частью второй половины? – спросила она.

Его лицо было теперь пепельным, намного более болезненным, чем раньше; утро с ней, должно быть, лишило его всяких сил. Что если она, при всех ее хороших намерениях, только лишь токсична для него?

– Ты знаешь, что твой приезд для меня бесконечно много значит, – сказал Йозеф. – Мне ужас как лестно, что ты говоришь о возвращении. Но мы не должны себе потакать.

– Тебе может понадобиться кто-то, – сказала Можань, хотя знала, что на роль помощницы и сиделки без труда найдется другая кандидатура: Рейчел, к примеру, или кто-нибудь еще из его детей; в дальнейшем, вероятно, понадобится платная сиделка или придется перевезти его в стационар. Многие жизненные истории в его поколении кончаются именно так, и он мог бы сказать, что не видит смысла претендовать на что-то другое.

– Зачем ты упрямишься, – упрекнул ее Йозеф.

Она вышла из машины и открыла дверь с его стороны.

– Пошли, – сказала она, наклоняясь и подавая ему руку. – Я все-таки провожу тебя наверх.

Можань не бывала прежде в квартире Йозефа, но место, как и человек, обитающий в нем, может сделаться тебе близким с первой же встречи. Конечно, там были вещи из старого дома: фотографии детей и Алены в рамках; картина маслом, изображающая одинокий выбеленный фермерский дом, маленький на фоне зеленых округлых холмов, – она висела раньше в общей комнате; диван и журнальный столик – и то и другое, высчитала однажды Можань, примерно ее возраста, если не старше. Но не столько эти предметы тронули ее, сколько незагроможденность, напомнившая дом, где она жила. Легко прослеживалась жизнь, проводимая в одиночестве. Следы его ног, хоть и незримые, она видела без труда: на кухню, в ванную, в спальню – маршруты, диктуемые необходимостью.

Можань спросила Йозефа, не хочет ли он лечь, и он ответил, что лучше посидит на диване. На журнальном столике лежали на картонной

подставке пять таблеток трех разных цветов, рядом – стакан с водой. Она спросила, надо ли ему принять лекарства прямо сейчас, он ответил «да» и поблагодарил ее, когда она подала ему воду и таблетки.

Она представила себе, как он достает их, каждую из своей баночки, – должно быть, делает это каждый раз перед больницей, иначе может забыть или слишком плохо чувствовать себя для этого. Возможно, у каждого в жизни есть черта, которая сообщает тебе после того, как ты ее переступил, некую истину, неведомую тебе раньше, черта, за которой одиночество – уже не выбор, а единственно возможный способ существования. Можань всегда думала, что пересекла эту черту давно, но когда – она спрашивала себя и не находила ответа. Может быть, когда устранилась из жизни Йозефа, а может быть, раньше, когда сидела в этой убогой квартирке в Пекине, парализованная и пристыженная видом раздавленного тела Шаоай и ее бессмысленным хихиканьем. Но все-таки она, вероятно, была тогда слишком молода, чтобы это пересечение могло сойти за реальный опыт, и одиночество, не выбравшее ее, а выбранное ею, отличалось от одиночества Йозефа: в ее случае это был протест, в его – капитуляция.

Йозеф задремал на диване – губы слегка разомкнуты, дыхание неглубокое. Она взяла с дивана старое одеяло и осторожно прикрыла его. Бледность его век – как будто обнажилась часть тела, которую не следует показывать, – заставила ее отвести взгляд. Если уйти сейчас, он проснется в пустой комнате и может подумать, что она ему только приснилась. Если остаться, он откроет глаза и в первый момент будет сбит с толку; но, сколь бы скучным ни было то, что она в состоянии ему предложить, это, видимо, все же лучше, чем сновидение.

Можань подошла к окну, которое выходило на парковочную площадку. Мужчина – судя по виду, управляющий домом – выгружал из пикапа мешки с каменной солью. До этого в кафе за двумя или тремя столиками обсуждали надвигающуюся метель, которая, по прогнозам, накроет округу в конце недели; как это повлияет на передвижение в праздничные дни, тревожились посетители кафе, на лицах пожилых женщин читалось беспокойство из-за планируемых визитов детей. Медсестра, прощаясь с Йозефом, мрачно заметила, что впереди очередная долгая зима, и ее усталые глаза выглядели так, будто в них стояли нарастающие серые придорожные кучи прошлогоднего снега.

Можань вспомнился тот давний восторг в глазах тайской пары и студентов-индийцев, когда они впервые в жизни увидели снегопад; в их родных странах известие об этом от них, должно быть, во многих сердцах отозвалось рябью изумления. Она же не разделяла их удовольствия.



Человек всегда может вернуться к другому моменту в истории, отрицая настоящее; только впечатлительные и неопытные – в том случае уроженцы бесснежных тропиков – склонны окрестить момент *памятным*. Заснеженные холмы к западу от Заднего моря; ее велосипед занесло на неровном, утрамбованном шинами снегу, и он врезался в велосипед Бояна; отряд снеговиков, которых они вылепили во дворе после одной из самых сильных метелей, – если бы она захотела, она всегда могла бы придать больше значения этим воспоминаниям, умаляя другие.

Так или иначе, ее связь со Средним Западом началась со снега. До знакомства с Йозефом она пробыла в Мадисоне два с половиной месяца, но те дни, как и дни после ухода от Йозефа, она намеренно превращала в следы морских птиц на мокром песке, существующие только до очередного прилива. Может ли развиться в человеке привязанность к месту или времени без участия другого человека? Нет, место и время неизбежно становятся тогда бесплоднейшей средой обитания. Пекин остался в ее памяти двумя городами: один до отравления Шаоай, другой после, но в каждом из двух мест она была не одна. В Гуанчжоу, где она четыре года проучилась в колледже, само отсутствие всякого общения со старыми друзьями в Пекине было значимо: отсутствующие порой требуют для себя больше пространства. Однако городок в Массачусетсе, где Можань прожила последние одиннадцать лет, не предложил пустоты, активизирующей память; сторонясь людей, она превратила место, с его изобилием летнего солнца, с его осенним великолепием, всего-навсего в точку на карте, проведенное там время стянулось в один долгий бесчувственный день. Нет, не одиночество она получила, а нескончаемый карантин.

Снег в день ее знакомства с Йозефом был легким и падал хлопьями, на парковочной площадке Йозеф смахнул слой, покрывший ветровое стекло, ладонями в перчатках. Предложил отвезти ее обратно в Уэстлон-хаус, и она не нашла способа отказаться, хотя предпочла бы долгую ходьбу в снежных сумерках.

Пора купить новый скребок, сказал он и, заметив, что у нее озадаченный вид, спросил, все ли в порядке.

Все хорошо, ответила она, но он по-прежнему выглядел озабоченным и хотел знать, прошла ли у нее головная боль и не нужна ли ей таблетка. Она предпочла бы ничего ему больше не говорить, но понимала, что если не скажет правду, то заставит добросердечного человека беспокоиться без нужды. Она заверила его, что чувствует себя нормально и просто не поняла, что такое скребок.

Их отношения – дружеские, прежде чем переросли в нечто большее, – возникли при минимуме общей территории. Соединяла их необходимость обращать внимание на то и на это. Знакомые Йозефу предметы и виды стали менее знакомыми. Можань само усилие, связанное с обнаружением нового – а нового в новой стране было вдоволь, – помогало меньше смотреть внутрь себя в стремлении хоть как-то объяснить случившееся в своей жизни.

Сидя в тот день в машине Йозефа, Можань впервые смотрела на мир из пассажирского кресла. Дорожные знаки и разделительные полосы, освещаемые фарами, будто ждали своей очереди, чтобы стать видимыми; снежные хлопья налетали, кружась, на ветровое стекло под невозможным, казалось, углом и с невозможной быстротой; на приборном щитке круги и цифры светились бледно-неоново-зеленым – все это побуждало глядеть вокруг более пристально, как она давно не глядела. В Уэстлоне иные из соседок обзавелись машинами, но Можань предпочитала ходьбу и организовала жизнь так, чтобы до всего можно было дойти ногами, в крайнем случае доехать на автобусе: на занятия и в ближайший продовольственный магазин пешком, а по выходным на автобусе в город посмотреть на витрины и на людей, делающих покупки за витринами. Однажды выбрала более смелый маршрут: взобралась на холм и с вершины двинулась вниз по травянистому пологому склону, вспугивая насекомых, что напомнило ей ее детскую неустрашимость, когда она охотилась с Бояном на сверчков и кузнечиков. Чтобы пресечь воспоминания, она сбежала с холма, а когда дошла до шоссе, ждала минут пять с лишним, пока дорога в обе стороны не стала совсем пуста, и тогда пересекла бегом шесть полос к большому «Уол Марту», поразившему ее изобилием всего, что может понадобиться – и того, о чем и не подумаешь, что может понадобиться – для жизни в Америке.

– Вы сегодня первый раз увидели снег? – спросил Йозеф, когда они ждали, пока красный свет сменится зеленым. Должно быть, она смотрела широко открытыми глазами, наклонясь вперед.

Она сказала, что нет, а затем спросила, что это щелкает.

– В двигателе? – промолвил он и выключил радио, которое тихо играло классическую музыку. Прислушался. Странно, сказал он: ничего не слышно. Он всего несколько недель назад проверял машину в автосервисе, и все вроде бы было в порядке.

Оказалось – мигающий указатель поворота: когда зажегся зеленый и они повернули, звук пропал. Когда маленькая тайна была разгадана, Йозеф был, казалось, искренне поражен, а Можань – насколько возможно,

счастлива. В начале семестра коллеги по лаборатории взяли ее на пикник по случаю знакомства; сидя на заднем сиденье среди разговорчивых американцев, она была озадачена этим щелканьем, но постеснялась спросить.

Зима – долгая, суровая, как все предостерегали Можань, – неразрывно соединилась с общим ее и Йозефа усилием понять друг друга поверх возрастного разрыва и разницы происхождений. Ничто нельзя было оставить несказанным или неисследованным, все заслуживало пристального взгляда. Снег, который на ее родном языке был просто *снегом*, породил целый новый словарь; Йозеф терпеливо объяснял различия, когда погода приносила разные снеговые явления: хлопья, крупу, пудру, поземку. Снегоуборочные машины рассыпают песок, смешанный с солью, сказал он, – для нее это было новое, на ее родине со снегом боролись одними лопатами, и порой целую трудовую ячейку или школу на полдня бросали на расчистку дороги.

Она только спрашивала: все, что могла сказать помимо этого, так или иначе было бы связано с Пекином, а дружба с Йозефом была ценна для нее тем, что помогала забыть былые места. Песок и мелкие камешки скрипели под подошвами даже между снегопадами, и эта зернистость давала странное ощущение нагло демонстрируемой нечистоты. В Пекине зима приносила нечистоту другого рода. Пыль, которую ничто не могло заставить улечься, которую ветер носил повсюду, придавала небу желтый оттенок и покрывала все серым налетом; в дни пыльных бурь Можань закутывала всю голову шарфом и все равно, приходя домой, первым делом должна была прополоскать рот и смыть пыль с лица. Однажды, когда они с Бояном ходили на научную выставку, ей было и забавно, и не по себе, когда они дошли и она почувствовала, что даже в складки век забились тонкая пыль. Но для Йозефа такие воспоминания не могли иметь смысла, и она всякий раз меняла тему, когда он спрашивал про Китай. Она предпочитала, чтобы ей рассказывали о том, чего она не знала, и потом, оглядываясь назад, она думала, что ее интерес даже к самым прозаическим деталям, возможно, был полезен Йозефу в ту зиму. Его нельзя было назвать разговорчивым человеком; тем не менее ему не могло быть безразлично, что его слушают с таким вниманием.

Чем дальше в зиму, тем серее выглядел город. Людей, утомленных снегом, разговоры о нем, казалось, не утомляли никогда. Дэйв, хозяин кафе, куда они несколько раз заходили, шутил, что повесит табличку «Ныть воспрещается».

Можань спросила Йозефа, как пишется «воспрещается» и что такое

«ныть». Он несколько секунд подумал и заговорил тонким голоском:

– *Весь Лес тут собрался! Совершенно нечем дышать! В жизни не видел такой бессмысленной толпы животных, и главное, все не там, где надо.*

Она посмотрела на него; переходя в шутливое состояние, он сразу делался другим человеком. Он попросил ее угадать, чьи слова он повторил, но она покачала головой.

– Вот вам подсказка. Я это произнес только как пример нытья. Обычно он разговаривает вот как... – Йозеф оттянул пальцами обе щеки вниз и заворчал: – *Если это утро доброе. В чем я лично сомневаюсь.*

Можань улыбнулась. Он сделал мрачное лицо, но глаза проказливо светились.

– Не слыхали про Иа-Иа? – спросил Йозеф, когда увидел, что она не может угадать.

– Иа-Иа? – переспросила она.

– Про Винни-Пуха?

Можань опять покачала головой, и Йозеф, похоже, не знал, что сказать.

Его, должно быть, тяготит, пристыженно подумала Можань, что все надо объяснять. С Бояном они так много всего могли оставлять несказанным, и то же самое, наверное, было у Йозефа и Алены, хотя от аналогии Можань сделалось не по себе. Ни она, ни Йозеф не считали эти встречи по выходным – кино, кофе, иногда местный музей – чем-то значительным. Ей нравилось думать, что он просто помогает ей, студентке из-за рубежа, лучше понять Америку. Когда им с Йозефом встречались в городе его знакомые, она видела, что они одобряют этот его побочный проект, потому что он отвлекает от переживания утраты.

Винни-Пух, объяснил ей Йозеф, это персонаж детской книжки. Он столько раз читал ее на ночь своим четверым детям, что многие места сами собой запомнились. Она представила себе, как он изображает персонажей книги, хотя не могла мысленно увидеть его молодым отцом, а его детей маленькими. В День благодарения она познакомилась с его тремя сыновьями и дочерью: с Майклом, чью жену звали Шарон, а детей – Тодд и Брант; с Джоном, пришедшим с невестой Мими; с Джорджем, который пришел один; и с Рейчел – она одна из всех еще училась в колледже. Они – и в том числе мальчики, обоим было меньше пяти, – привели Можань в подавленное настроение. Она говорила себе, что это из-за неуверенности в своем английском, но знала, что дело не только в этом.

– Если хотите, – сказал Йозеф, – я в следующий раз захвачу для вас эту книжку. Или заедем прямо сейчас в книжный.

Чудненко, подумала она, вдруг разозлившись. Для него она, видимо, молодая женщина из слаборазвитой страны, существо экзотическое и в то же время достойное жалости из-за своего невежества. «У вас в Китае есть шоколад?» – спросил ее однажды приятель Йозефа с добрейшими намерениями; спросил бы еще: «Родители бинтовали вам ступни? Они устроят вам замужество?»

Можань сказала, что, если Йозеф напишет название книги, она найдет ее в библиотеке. Она не знала, уловил ли он перемену в ее тоне.

Йозеф достал из кармана пиджака ручку и написал на салфетке название и фамилию автора, а под ними изобразил пухлого зверька. Она смотрела на него, раздраженная и стыдящаяся своего раздражения. Консультант в университете давал ей книжки с картинками, которые его двое детей переросли: лучший способ усовершенствовать свой английский, сказал он ей, это начать с детских книг, а когда он сам учился в магистратуре, добавил он, одна китаянка в его лаборатории – она теперь профессор в университете Аризоны – прочла весь детский отдел местной библиотеки.

Можань не имела ничего против изощренно оформленных книжек с картонными страницами, которые давал консультант. Она понимала: он добрый человек, желающий ей преуспевания в Америке. Но детская книга от Йозефа – дело другое. Почему не «Доктор Живаго», хотела она спросить. В рюкзаке у нее лежал английский перевод этого романа, взятый в университетской библиотеке; последний раз, судя по отметке, книгу брали девять лет назад. В прошлое воскресенье у них был разговор о «Докторе Живаго». Она призналась ему, что одно место ближе к концу в китайском переводе подчеркнула несколько раз, но, когда он спросил, о чем там говорится, не смогла ответить и сказала, что поищет в английском тексте.

«Он подумал о нескольких, развивающихся рядом существованиях, движущихся с разной скоростью одно возле другого, и о том, когда чья-нибудь судьба обгоняет в жизни судьбу другого, и кто кого переживает». Увидев это впервые на английском, она была слегка поражена. Слова утратили смысл, фраза, которую она выделила в китайском переводе, по-английски выглядела заурядной; или же то, что привлекло ее внимание в семнадцать лет, потеряло действенность. Все-таки она принесла книгу, чтобы показать это место Йозефу, однако после Винни-Пуха не была уверена, что это стоит сделать. Начать жить внутри нового языка – все равно что вернуться в детство: никого всерьез не интересуют твои мысли, все, чего мир от тебя хочет, – это чтобы ты был чем-нибудь удовлетворенно

занят или хорошенько уложен и укрыт. Не факт, что Йозеф отличается от остальных.

Он, казалось, не заметил, что настроение Можань изменилось. Спросил, какие у нее планы на рождественские каникулы; она ответила – никаких, и он сказал, что, если она захочет, он приведет ее к своим друзьям, к супружеской паре – у них всегда самая лучшая встреча Рождества, все под конец поют рождественские песни. Можань спросила, придут ли его дети, и Йозеф ответил, что их семейный праздник – День благодарения. Джон и Мими собираются на эту неделю на Гавайи. Майкл и Шарон везут детей к ее родителям в Мемфис. Можань спросила про Джорджа и Рейчел, и он сказал, что они могут прийти, а могут нет. «Я не хочу, чтобы они чувствовали себя обязанными никуда не уезжать на праздники ради меня».

У каждого члена семьи, подумала Можань, есть свое место в мире, и все, что они делают – работают, растят детей, веселятся в праздники, – упрочивает их положение. Даже Йозеф, который еще не оправился от удара, у которого позади самый трудный год жизни, мог черпать поддержку в осмысленном течении дней: собрания библиотечного персонала, репетиции хора, дружеские ужины, воскресные встречи с Можань. В День благодарения на Можань произвела впечатление уверенность, присущая всем членам семьи: о чем бы ни шел разговор – об университетском баскетболе, о втором сроке Билла Клинтона, о способах приготовления индейки, о вариантах практики у Рейчел, – у каждого, похоже, было свое мнение, и никто не стеснялся его выражать. Порой беседа превращалась в этакую вербальную игру, в перепасовку между братьями или мужем и женой, и непринужденность, с какой это происходило, породила у Можань диковинное чувство, будто они живут внутри телешоу. Но нет, это, должно быть, ложное впечатление: что плохого в том, что семья, собравшись за столом, который ломится от еды, ведет оживленный разговор? В параллельном мире, случись все иначе, Можань сама могла бы участвовать в чем-то подобном: они с Бояном остались бы друзьями и беседовали бы так же свободно – она не дерзала воображать его и себя как пару, но теплые чувства, как между братом и сестрой, у них ведь могли бы сохраниться. В параллельном мире Шаоай сделала бы блестящую карьеру, разрешение государственных органов для устройства на работу больше не требовалось; а Жуюй – что было бы с ней? Может быть, она исчезла бы из их жизней так же внезапно, как появилась, но острого ощущения потери Боян и Можань, возможно, не испытали бы: даже такого человека, как Жуюй, можно заменить или забыть, если постараться.

Но мир был только один, и в нем Можань не имела своего положения.

И не потому, что она была новоприбывшая иммигрантка: иные из китайских студентов, которых она встречала в кампусе, выглядели такими же уверенными насчет Америки, как насчет Китая. Чтобы занимать положение – любое положение, – нужно иметь мнения, а их-то у Можань и не было. Были только наблюдения и вопросы – те вопросы, что она задавала Йозефу, задавала и получала ответы, и те, что держала при себе, и каждый безответный вопрос еще больше отдалял ее от мира; иногда у нее возникало чувство, что она живет как бы издалека. Неужели никто, когда она говорит, не слышит гулко-го эха ее голоса?

Отклонять приглашение Йозефа на Рождество причин не было; возможно, ей удастся сыграть роль благодарной слушательницы. Когда они в тот день вышли из кафе и приблизились к машине Йозефа – это был «форд таурус», то есть Телец, как и она, на что он указал ей, узнав день ее рождения, – Можань ударила ногой по брызговикам за обоими правыми колесами. На землю с глухим стуком упали комки замерзшей грязи, и это странным образом подбодрило ее. Она замечала, как это делают другие, и порой, увидев машину, у которой слишком много налипло на брызговики, испытывала побуждение хорошенько по ним ударить.

Йозеф посмотрел на нее каким-то необычным взглядом.

– Простите меня, – сказала она. – Этого не стоило делать?

Разумеется, стоило, заверил он ее, но вид у него был рассеянный. Она предположила, что это, может быть, вульгарное поведение в его глазах; впрочем, он ее еще не знал, он вряд ли мог себе представить, что когда-то она ездила по пустым участкам дороги в Пекине на велосипеде без рук, что крутила, бывало, педали рядом с Бояном, насвистывая с ним в лад песню Джона Денвера: *Country roads, take me home, to the place I belong*<sup>[8]</sup>. Годы и годы спустя, когда кто-то у нее на работе стал насвистывать эту песню в коридоре, Можань тихо заплакала себе в ладони, потому что у сердца всегда не хватает одной чешуйки в броне.

Йозеф вел машину молча, и, чувствуя его настроение, Можань ту же замотала шарф. Он чуть увеличил подогрев, а потом, без всякого побуждения со стороны Можань, сказал, что Алена тоже так делала. Не могла вынести ни малейшего скопления грязи, а его смущало, что у нее могут быть столь сильные чувства из-за такого пустяка.

– Вы спрашивали ее, почему она так делает?

– Да, но она тоже не знала. Сказала, само собой так выходит.

Можань видела в доме Йозефа фотографии Алены: на одной она смотрит сверху вниз на кого-то из детей, на другой, свадебной, смеется всю с подругой детства. Зачем она била по брызговикам ногой – ради

простого удовлетворения от того, что избавилась от чего-то неприглядного? Или было в ней нечто выразимое лишь яростным, но безвредным действием? Можань стало стыдно, что она размышляет о прошлом той, кого больше нет. Секрет был секретом Йозефа, а до него – Алены.

Где-то в квартире зазвонил телефон. Йозеф пошевелился на диване, но не проснулся сразу. Можань нашла трубку на кухне. Подумала, не Рейчел ли, и, после недолгого колебания, взяла трубку.

Голос у Рейчел был взволнованный.

– О, вы еще с папой, как хорошо, – сказала она.

– Он задремал.

– Сможете побыть с ним еще немного? Я обещала прийти, но только что позвонили из школы. Кажется, у Уилли начинается какая-то желудочная дрянь.

– Мне очень жаль, Рейчел, – сказала Можань. – Делайте все, что нужно, я тут побуду, не беспокойтесь.

Повернувшись, она увидела, что Йозеф проснулся. Он спросил, все ли в порядке, и она повторила слова Рейчел. Он кивнул и сказал, что после того, как стало известно о его диагнозе, Рейчел просто разывается на части.

Если бы Можань сейчас опять заговорила о своем намерении вернуться, это значило бы, что она пользуется его чувством вины; но что если вместо этого поговорить с Рейчел? Может быть, увидев, что Рейчел одобряет переезд, он изменит к нему отношение? Но от мысли, что надо будет выйти из-за его спины и обратиться к Рейчел, Можань стало не по себе. Во время своего замужества она хорошо ладила с его тремя сыновьями, которые жили не так близко, но Рейчел, жившая рядом, никогда ее не любила. Конечно, на то были причины: оградительные инстинкты дочери по отношению к овдовевшему отцу, ее верность памяти Алены, возраст Можань – она была старше Рейчел всего на три года – и ее иностранное происхождение. Йозеф в годы их брака только намекал на все это, но Можань и не нуждалась в том, чтобы он расставлял точки над *i*; он сказал, что постепенно Рейчел поймет все лучше, надо только немного потерпеть.

Согласиться с этими причинами значило принять как данность, что все можно объяснить несколькими обобщенными утверждениями: мачехи злые, иностранцам нельзя доверять, сомнительная женщина, которую пригласил хороший человек, оплатит за его доброту, как змея в басне Эзопа, розы красные, фиалки фиолетовые. Но Можань трудно было втиснуться – и втиснуть кого-либо, если на то пошло, – в пространство, ограниченное



такими твердокаменными убеждениями.

– У тебя задумчивый вид, – сказал Йозеф. – Что на уме?

– Рейчел, – честно ответила Можань.

– Она не такая, какой ты ее помнишь.

Когда Можань в прошлый раз видела Рейчел, та была помолвлена с Мэттом; перспектива счастья побудила Рейчел относиться к предстоящему разводу Можань с Йозефом еще менее терпимо. Разумеется, сказала Рейчел тогда, она одна знала наперед, что так будет: ее отец и братья дружно дали себя обмануть. Никакой сцены между Рейчел и Можань не было, и тем не менее слова Рейчел заставили Можань задуматься: может быть, она и правда использовала Йозефа, ошибочно увидев в нем начало новой истории и бросив его, когда стало ясно, что сценарий не работает, – человек только один раз начинает жить, и это происходит в момент рождения. Когда люди говорят, что намерены начать с чистого листа, они принимают желаемое за действительное: то, что случилось раньше, то, что было вчера, произошло не напрасно.

– Как дела у Рейчел сейчас? – спросила Можань. В голосе Рейчел по телефону ей слышались нотки среднего возраста с его усталостью. – Как ее семья?

Йозеф был рад поводу поговорить о детях и внуках. Все его дети, кроме Джорджа, остались на Среднем Западе: Майкл работает в больничной администрации в Омахе, а Шарон, когда их двое сыновей пошли в школу, вернулась в магистратуру, а потом стала школьной учительницей; Джон, учившийся на детского психолога, стал директором частной школы в Чикаго, у них с Мими трое детей, и они с Мими преодолели кое-какие шероховатости в своем браке; у Рейчел и Мэтта свой собственный оптометрический бизнес, он работает оптометристом, а она занимается организационными делами. Даже Джордж – он переехал в Портленд, Орегон, стал там совладельцем кафе на колесах и пока что не женился – внушал, похоже, Йозефу некую гордость хотя бы тем, что жизнь Джорджа казалась ему немного таинственной.

– Так что, видишь, у всех все неплохо. Мне повезло в этом смысле, – сказал Йозеф.

Детям Йозефа была присуща солидность, привлекавшая Можань издали, как влечет к себе путешественника камин, увиденный снаружи в просвет между полузадернутыми шторами. Всякий раз, когда Можань проходила мимо вечеринки, она невольно бросала взгляд: люди беседуют по двое или по трое, улыбаются, подносят к губам почти опустевшие бокалы. Не то чтобы Можань хотелось там быть, но ей приятно было

думать, что они счастливее нее. Конечно, у них имелись свои, им одним ведомые драмы, но она верила, что если они огорчены или угнетены, то на эту боль у них есть весомые причины; когда Рейчел рассталась со своим университетским бойфрендом, последовал смутный период слез, а затем вечеринок, которые тревожили Йозефа, но на одной из этих вечеринок она познакомилась с Мэттом, и внезапно жизнь стала налаживаться; разрыв между Джоном и Мими после того, как она, переехав с Джоном к месту его работы, не смогла продолжить свою карьеру певицы, длился полгода и был огорчителен, но потом она начала петь в церковном хоре, вести группы продленного дня и почувствовала, что *реализовалась*, – несомненно, слово это употребила сама Мими, а Можань узнала обо всем от Йозефа во время одного из ланчей в дни его рождения.

– В этом, безусловно, есть твоя заслуга, – сказала Можань сейчас. – Проголодался? Хочешь чего-нибудь? Или чашку чаю?

Йозеф смотрел на нее, как будто не слышал.

– Только вот – с тобой, Можань, что нам делать?

– А какой тут может быть повод для твоего беспокойства? – спросила она и тут же пожалела, что впустила в голос жесткую ноту.

– Ты знаешь, тебе пора бы двигаться дальше, – мягко промолвил Йозеф.

Можань не поняла, что он подразумевает: ее неспособность устроить свою жизнь после развода? Или намекает на свою грядущую смерть? Спросить человека, сможет ли он пережить твою смерть, значит проявить либо заносчивость, либо такую глубинную любовь, какую способен выказать только умирающий.

– Двигаться дальше? Это американское, я в это не верю, – сказала она.

Если у тебя нет стартовой позиции, бессмысленно размышлять, какой будет следующая точка во времени и пространстве. В ее последний День благодарения в качестве жены Йозефа – в 2001 году, вскоре после 11 сентября – разговор за столом был большей частью как раз о том, как стране это пережить, как *двигаться дальше*. Двигаться – куда, к чему? – думала она про себя. Можань часто в то время видела это выражение в газетах, и оно очень сильно ее смущало, хотя, казалось, она одна испытывала сомнения насчет того, что оно значит для Америки и американцев.

Столько уверенности – и где основания для всего этого оптимизма? Даже бессмысленный несчастный случай с Аленой не породил в сердцах этой семьи ни тени фатализма. Когда Йозеф женился на Можань, его друзьям, вопреки сомнениям, было, должно быть, приятно, что он двинулся

дальше; после развода его, скорее всего, побуждали – или даже не испытывали нужды побуждать вслух – к тому же самому, считая важным, чтобы он перестал придавать Можань значение.

В воскресенье после поездки в университет Можань проснулась рывком, как будто что-то произошло и она опоздала. Вечером она сказала родителям, что очень устала и сразу ляжет, но заснуть не могла долго. Чувства, которые обуревали ее, опустошая ум, теперь вернулись, и все вело к непреложному факту: Боян влюблен в Жуюй.

Но почему нет? Можань пыталась себя урезонить. Он правильно сделал, выбрав Жуюй, и чему тут удивляться? Рассудок, одураченный гордостью, не признаёт мудрости, которая проистекает из печали. Поспешно хватаешься как за некое средство за чувство собственного достоинства, не понимая, что именно оно – вернее, чем смирение – превращает сердце в робкий орган, просящий о защите.

При первом свете утра двор ожил, двери открывались, выпуская людей наружу; кто-то чистил зубы у крана и громко булькал водой, полоща рот, учитель Пан поливал цветы, напевая что-то оперное, жена Арбуза Вэня отчитывала близнецов, которые слишком увлеклись ловлей кошки, забредшей из соседнего двора. Чуть позже Можань услышала вопрос бабушки Бояна, как Жуюй понравилось в университете, и ответ девушки, что очень понравилось. «Совсем не то, что здесь у нас, правда?» – спросила бабушка, и Жуюй, должно быть, ответила кивком: ее голоса Можань не слышала.

Боян влюблен, но Жуюй? Ее сумрачное настроение и непонятное поведение вчера вечером не вязались с влюбленностью. Может ли быть, что у нее нет ответных чувств? Надежда на это, слишком хрупкая, чтобы что-нибудь на ней строить, оставляла, тем не менее, приоткрытую дверь у Можань в сердце. Боян был из тех, кто получает все, чего хочет, но должна же быть точка, где эта удача кончается. Оставшись с разбитым сердцем, он, может быть, заметит другое сердце, разбившееся ради него.

После завтрака жена Арбуза Вэня попросила Можань присмотреть за близнецами. Опять, пожаловалась она, у нее рабочий выходной на трамвайном маршруте, хотя все во дворе знали, что она берет воскресную смену, когда только может. Они с мужем были любящей парой, но оба вскидчивые и, если в выходной были дома вместе, легко ссорились – то из-за детей, то из-за покупок в магазине, а то просто из-за телефильма.

Конкретная обязанность принесла Можань облегчение. А то ведь она уже опрокинула миску с кашей за завтраком. День обещал быть долгим, и,

нетерпеливо ожидая возвращения Бояна, она страшилась этого возвращения. Верность требовала, чтобы она радовалась за него, но она была неважной актрисой; и потом – верность кому? До этого момента Можань не осознавала своей с Бояном раздельности. С каких пор то, что хорошо для него, для нее уже не хорошо?

К столу в виноградной беседке, где Можань учила близнецов вырезать из бумаги, подошла Жуюй и стала смотреть. Когда у мальчиков выходило криво, они принимались ныть. Потом стали тыкать друг в друга своими мини-трансформерами и просить, чтобы их отпустили и они могли устроить бой. Можань сказала, чтобы оставались на виду. В ее голосе была дрожь, но она надеялась, что Жуюй ее не уловила.

Жуюй взяла со стола готовое изделие и сказала, что не знала, что Можань умеет вырезать. Старание Жуюй завязать легкую беседу удивило Можань. В глазах Жуюй стояло некое спокойствие. У Можань упало сердце: может быть, она ошиблась и Жуюй тоже влюблена?

– Я не очень хорошо вырезаю, – сказала Можань и объяснила, что бабушка Бояна прекрасно владеет этим искусством, а она пыталась учиться, но освоила только несколько простых схем.

Упоминание о Бояне прозвучало в ее собственных устах не то как вызов, не то как капитуляция, но Жуюй не признала ее слова ни за то, ни за другое, как будто он сегодня утром не заслуживал места в их разговоре. Можань взяла из стопки детских книжек верхнюю – приключения двух маленьких друзей, одного звали Вопросик, другого Всезнайчик.

– Мы шутили, что Боян – Всезнайчик, – сказала Можань.

– А ты, конечно, была Вопросиком?

Можань ответила было «да», но застеснялась: получилось бы нечестно, вышло бы, что она хвастается чем-то таким, что ее, а не Жуюй соединяет с Бояном.

– Как ты сегодня? – спросила она вместо этого.

– Ты так спрашиваешь, будто я была больна.

Жуюй что, забыла вчерашний вечер?

– Ты ужасно выглядела вчера вечером, – сказала Можань. – Говорила про...

– Не важно, про что я говорила.

– Как это не важно? – возразила Можань. – Сегодня ты уже не такая несчастная?

– Опять ты про счастье и несчастье, – сказала Жуюй. – Зачем ты так стараешься?

– Что я стараюсь?

– Быть хорошей, – ответила Жуюй и встала.  
– Нет, погоди, – сказала Можань чуть ли не с мольбой. – Побудь еще немного.

– Зачем?

Можань огляделась вокруг и понизила голос.

– Можешь сказать мне, что ты взяла из лаборатории?

– Когда ты перестанешь обо всем спрашивать, Вопросик?

– Я беспокоюсь о тебе.

– Кто тебя просил обо мне беспокоиться? – промолвила Жуюй и ушла, не дожидаясь ответа.

Обратиться за советом Можань не могла ни к кому: поговорить с кем-то из взрослых или с Бояном значило бы нарушить свое обещание, данное Жуюй. Если бы только Шаоай сама не была в таком тяжелом положении... Возможно, она даже знает, как на самом деле настроена Жуюй. Но лезть к Шаоай сейчас с проблемами, может быть, всего лишь воображаемыми, было бы неэтично.

Где секреты, там и одиночество; они, в свой черед, становятся его почетным знаком. У Можань в сердце обитало желание – детское желание – прозрачности мира, и то, что она была теперь забаррикадирована в своем одиночестве секретом Жуюй – сумрачным, необъяснимым, – впервые заставило Можань почувствовать, какова на вкус поврежденная жизнь. Ее бросало то в жар, то в холод; одиночество, не понятое тем, чье оно, становится галлюцинацией.

Странная мысль пришла Можань в голову: что ее жизнь, по сравнению с жизнями Шаоай и Жуюй, так скучна, что, должно быть, в их глазах ничего не стоит. Даже у Бояна была история на стороне, его родители и сестра образовывали мир, имевший с их двором мало общего; он мог затеять разговор с аспирантом, он без труда мог вообразить себя живущим в доме в Америке. *Держи глаза открытыми, узнай, как чудесен мир*, гласил девиз программы телепутешествий. Программа была первой в своем роде, и мир, пропущенный через ее линзы, поистине был чудесен: бесстрашные банджи-джамперы, прыгающие со скалы в Новой Зеландии; беспечная молодая пара, плывущая на ялике по реке Кам; пустой внутренний дворик дома-музея Карла Маркса, цветущая герань на подоконниках; зеленый плющ, оплетший красные кирпичные стены в кампусах Лиги Плюща; мост Золотые Ворота в утреннем тумане; вечерние огни Таймс-сквер.

Сколько Можань ни держала глаза открытыми, видела она то, что было вокруг: отца, просматривающего семейную книгу доходов-расходов пункт за пунктом в желании удостовериться, что сделано максимум возможного,

чтобы сэкономить еще несколько юаней на холодильник; Тетю и Дядю, мучимых страхом, что Шаоай навсегда останется вне *системы*; очереди за продуктами, распределяемыми по карточкам; серую моль, бессмысленно живущую и умирающую. Если мир и правда чудесен, то, должно быть, лишь для людей с более живым воображением, чем у нее. Чтобы видеть, думалось Можань, мало держать глаза открытыми.

Но каким видела мир Жуюй? Можань этого не знала. Она даже не могла сказать сколько-нибудь уверенно, каким видел его сейчас Боян, – правда, в эти дни его глаза постоянно были обращены на Жуюй. Может быть, двоим влюбленным, сотворившим собой целый мир, и не надо смотреть ни на что постороннее. Об этом есть песни, стихи, но ни песен, ни стихов не написали и не напишут об очередях, о продуктовых карточках, о мелочных тревогах из-за цены на свинину. Можань чувствовала себя старой. Что если в ней никогда не будет ничего поэтического, такого, за что можно полюбить?

Эти размышления, не ведущие никуда, идущие по кругу, то и дело ввергали Можань в транс, и утром в четверг она, уйдя в свои мысли, попала в политическую сеть. Когда учительница произнесла ее имя, она встала, смутно сознавая, что был задан какой-то вопрос.

– Можешь привести пример, ученица Можань? – промолвила учительница.

Она молчала, и тут Боян, сидевший позади нее, прошептал:

– Листовая капуста.

Можань сказала: листовая капуста, и в классе послышались смешки.

– Гм, это довольно... необычный пример, – сказала учительница. – Может быть, надумаешь что-нибудь получше?

– Растительное масло? – отважилась Можань. – Может быть, сахар? Рис? Мука?

Класс разразился хохотом. Можань повернулась к Бояну – он кивнул и поднял вверх большой палец. О чем ни говорила до этого учительница, Можань, несомненно, повернула разговор в несерьезное русло. Она не была склонна к проделкам в школе, редко оказывалась в центре внимания, но сейчас, поставив себя на минуту в положение классного шута, не пожалела об этом. Хоть сменила сидячее положение на стоячее, стала причиной общего веселья – это вывело ее из мглистого настроения.

Учительница жестом позволила Можань сесть.

– Все частные примеры, – заметила она, когда класс успокоился. – С ними можно согласиться, хотя я рассчитывала на примеры получше: скажем, производство и распределение стали, добыча угля, строительство

железных дорог.

Она бросила взгляд на часы и стала подводить итоги урока, посвященного сравнению советской и китайской моделей плановой экономики.

На перемене Боян объяснил Можань, что учительнице нужны были примеры, показывающие преимущество плановой экономики, и что Можань выступила с блеском: перечислила продукты, распределяемые по карточкам. Весь учебный день иные из мальчиков, когда Можань проходила мимо, шептали: «листовая капуста», но она знала, что они не имеют в виду ничего плохого. Она засмеялась, когда один из них сказал, что ей надо попросить у школьного начальства разрешения создать клуб листовой капусты; они все, пообещал он, вступят, если она будет председательницей.

Как ни странно, этот небольшой инцидент развеял окутывавший ее туман. Можань вспомнила двестише, висящее дома у учителя Пана и учительницы Ли: *Мир небросок и не запутан; только глупцы путают себя, создавая себе затруднения*. Мир, как и ее родители и соседи, никогда не относился к ней жестоко; взамен от нее ожидали поведения, соответствующего ее месту: делать людям приятное, быть послушной, разумной.

Уходя в тот день из школы с Жуюй и Бояном, Можань решила, что должна по-настоящему ценить свою с ними дружбу. Это два необыкновенных человека, и быть с ними рядом – большая удача. Когда-нибудь она оглянется на эти дни и огорчится, что они миновали; но эту сентиментальную мысль она тут же прогнала.

По дороге зашли в универсальный магазин. Был день рождения Тети, и Жуюй сказала, что хочет купить подарок и уже знает, какой именно. Тетя обычно носила в сетке, связанной крючком из цветных нейлоновых нитей, стеклянную банку, которую использовала как чайную кружку. Эту солидного вида емкость с оранжевой крышкой, на которой значилась торговая марка «Танг», подарила ей знакомая на работе, когда использовала все содержимое. Несколько дней назад, покупая соленья, Тетя поставила банку на прилавок, и ее тут же свистнули.

Никто из обитателей двора не пробовал танг – апельсиновый сок из американского порошка. НАСА назначило танг официальным напитком астронавтов, о чем поведал телезрителям рекламный ролик; в нем капля жидкости падала в замедленной съемке, отделившись от стакана с соком до того насыщенного цвета, что Можань невольно морщилась от контраста между оранжевой яркостью на экране и серостью вне экрана. Все больше и больше ее жизнь напоминала ей акварельные наборы, которые ей покупали в начальной школе, новый набор перед каждым учебным годом. Краски



были самые дешевые: двенадцать овалов и крохотная кисточка в узкой коробочке. Набор выглядел красивым только до того, как она его открывала: краски, сколь бы прилежно она ни наносила их вновь и вновь, на бумаге смотрелись очень бледно, а овалы потом высыхали, трескались и крошились. Тем не менее она никогда не выпрашивала у родителей набор подороже – вроде тех, что гордо носили в школу иные из одноклассников. Можань знала, что родители, если их попросить, наскребут на хорошую акварель, обойдутся несколько раз без мяса; но она боялась, что окажется недостойна дорогого набора.

Однако день, когда Жуюй купила банку с тангом, был не из тех дней сумрака и блеклой акварели. Тетя была поражена необычным подарком. Он стоил восемнадцать юаней – у Можань за месяц меньше уходило на школьные завтраки; продавщица, женщина средних лет, посмотрела на Жуюй, когда та достала две бумажки по десять юаней, с неодобрительным любопытством и, повернувшись к кассе за сдачей, негромко сказала другой продавщице, что не понимает родителей, которые балуют ребенка такой роскошью. Можань это беспокоило, но Жуюй стояла, точно не слышала, хотя произнесено было явственно и наверняка для ее ушей.

Вечером Боян и Можань пришли посмотреть, как Тетя пробует свой подарок. Шаоай в тот день к ужину домой не явилась, и Жуюй видела, что Тетя и огорчена отсутствием дочери в свой день рождения, и испытывает облегчение из-за того, что ужин, который приготовил ради нее Дядя, прошел гладко, без обычного напряжения.

Тетя поставила в ряд несколько кружек и торжественно насыпала в каждую оранжевого порошка, а Дядя налил в каждую горячей воды из чайника. Но не кипятка, объяснил Дядя, потому что слишком высокая температура разрушает витамин С. А почему не просто воды из крана, спросил Боян, и Тетя сказала, что холодная вода вредна для желудка.

– Вам всем надо научиться заботиться о своем организме, – добавила она. – Вы не вечно будете такими юными.

Порошок растворился мгновенно, и жидкость в каждой кружке приобрела именно такой яркий цвет, какой сулила телереклама.

– А теперь идите, несите по кружке в каждую семью, – сказала Тетя Можань и Бояну. – И не забывайте говорить, что это подарок от Жуюй.

– Прямо сейчас? А нам самим попробовать? – спросил Боян.

– Свою долю получите, когда вернетесь, – ответила Тетя и спросила Дядю, есть ли у них еще кружки.

– Уж слишком вы щедры, – сказал Боян. – Так у вас банка опустеет моментально.

Дядя, который был в редком для себя хорошем настроении, заметил, что Тетя будет этому только рада: она получит новенькую емкость из-под танга, которую сможет гордо носить с собой.

– И на этот раз она даже сможет хвастаться, что мы сами выпили весь танг, – сказал он.

Тетя изобразила гнев и велела Дяде перестать над ней издеваться. Боян засмеялся и, взяв две кружки, придержал открытую дверь для Можань, которая вышла следом со своими двумя. Жуюй взяла кружку и сказала, что поставит ее в спальне для сестры Шаоай. И про Дедушку не забудьте, сказала Жуюй Тете, что заставило ее отлить немного из своей кружки и отнести Дедушке.

Ночь была ясная, и почти полная луна серебрила двор. Разнеся напиток – две семьи попросили ее передать Тете благодарность и добрые пожелания, – Можань увидела, что в виноградной беседке ее ждет Боян. Несколько дней назад учитель Пан снял спелые ягоды и поделился с соседями, но несколько гроздьев, не вполне созревших, еще висело.

Боян сорвал гроздь и протянул Можань половину.

– Видишь, она добрая, – сказал он вполголоса.

Эти слова, прозвучавшие ни с того ни с сего, застали Можань врасплох. Возникло побуждение спросить, кого он имеет в виду, но это было бы нечестно.

– А разве кто-нибудь говорил, что нет? – спросила Можань.

Боян посмотрел на нее жестко.

– Тогда почему ты так враждебно к ней настроена сейчас?

– Разве?

– Другим, может быть, не заметно, но ты-то знаешь, что относишься к ней не совсем так, как раньше, – проговорил Боян. – Это из-за того, что я сказал тебе в субботу?

Любовь, похоже, наделяет человека остротой восприятия, вообще-то ему не свойственной. Как многие мальчики его возраста, Боян не был приметлив. Не ум, а сито, говорила о нем бабушка.

– Неужели я к ней недружелюбна? – спросила Можань. – Откуда это видно?

– Разве есть такое, чего бы мы с тобой друг о друге не знали?

Можань задумалась. Есть ли такое? Следует ли такому быть?

– Ты думаешь, у Жуюй тоже такие мысли? – спросила она.

– Что ты настроена недружественно? Надеюсь, что нет, но даже если они и есть, она ничего не скажет. Ты же знаешь, какая она. С детства привыкла все держать в себе.

Можань вздохнула.

– Я старалась быть ей хорошей подругой.

– Тебе так кажется?

В голосе Бояна прозвучала незнакомая нотка, от которой Можань стало больно.

– А что? Что не так?

– По-моему, ты ревнуешь.

Можань порадовалась темноте – неважно, что луна, она не позволяет увидеть цвет лица, которое у нее горело от стыда, гнева и беспомощного отчаяния. Грань между невинностью и бессердечием, если она вообще существует, должно быть, такая тонкая, что распознать ее могут лишь самые понаторевшие в изучении человеческой природы. Можань, которая сама еще не вышла из возраста, когда невинность и бессердечие часто идут рука об руку, чувствовала, что съеживается перед Бояном. Умиротворить его и защитить себя было одинаково невозможно. Бывают минуты, когда, что бы ты ни сказал, ты скажешь не то.

– Если бы ты встретила кого-то особенного, я был бы очень рад за тебя, – сказал Боян. – Не понимаю, почему ты не радуешься за меня.

– Но я радуюсь за тебя!

– Нет, и ты сама это знаешь, и я знаю, почему нет, – возразил Боян. – Ты мне как сестра, и я думал, что у нас самая чистая дружба, какая бывает.

Бывают ли вообще чистые отношения между двумя людьми? Можань пожалела, что не может рассказать Бояну про кражу, которую Жуюй совершила из лаборатории его матери. Подходящий момент для этого – если он вообще был – прошел.

– Пойдем обратно, – сказала Можань, которой было как-то тошно, нехорошо в животе.

Открылась дверь, и Дядя, выйдя из дома, сначала довольно долго смотрел на луну, а затем попытался разглядеть их фигуры в тени беседки.

– Это вы? – спросил он. – Поторопитесь, а то танг остынет.

Утром Можань проснулась с высокой температурой.

– Должно быть, ранний грипп, – услышала она слова бабушки Бояна, когда ее мать сказала Бояну и Жуюй, чтобы шли в школу без Можань.

Весь день она пролежала в кровати, засыпая и просыпаясь, радуясь, что физическая болезнь избавляет от мыслей. На стуле у ее кровати мать оставила радиоприемник, который принесла из общей комнаты, а под стулом – чайник с горячей водой. Мать пообещала, что попросит бабушку Бояна зайти в обеденное время, но Можань сказала, что лучше не надо: если у нее грипп, не стоит никому к ней приближаться.

Время двигалось еле-еле. Вечером Можань забыла завести наручные часы, и перед рассветом они встали. Она смотрела на продолговатый треугольник солнечного света, на пылинки в нем. В ее хрестоматии по китайскому было стихотворение, где вся наша жизнь уподоблялась прыжку белой лошади через узкую расселину; древние, видимо, были правы, раз между написанием стихотворения и тем, как она его прочла, легко пролетела тысяча лет; но чувствовали ли они, сочиняя эти строки, также и вес нескончаемости?

По радио, звучавшему на малой громкости, сначала шли утренние новости, потом прогноз погоды, а за ним музыкальная передача для дошкольников, но все это, смешиваясь с ее лихорадочными полусновидениями, было каким-то нереальным. Можань задалась вопросом, кто эти люди, слушающие, как она, утреннее радио. Пенсионеры, владельцы магазинчиков, сидящие за прилавками в ожидании первого покупателя, мастер по ремонту велосипедов, извлекающий проколотую камеру под своим навесом у дороги, отщепенцы вроде Шаоай, отвергнутые *системой*.

Под вечер Можань стало слышно, как люди возвращаются с работы. Температура у нее не спала, что давало ей повод оставаться в изоляции. Позднее Можань услышала голос Бояна в общей комнате, а затем голос матери, объясняющей ему, что лучше к ней не подходить. Он сказал, что хочет только поздороваться, и мать Можань ответила, что заглянет проверить, не спит ли она. Можань закрыла глаза, а потом, услышав, как Боян ушел, тихо поплакала.

Можань поправлялась неделю, и, кроме субботы и воскресенья, когда Боян был у родителей, он приходил поболтать каждый вечер, а однажды с ним пришла и Жуюй. Когда Можань стало лучше, она садилась, прислонясь к подушке, а он усаживался верхом на стул у входа в комнату. Вначале они были друг с другом неестественно вежливы, но вскоре Боян стал таким же, каким был. Еще несколько человек в классе, сказал он, подцепили ту же болезнь, но им с Жуюй повезло; до контрольных в середине полугодия всего две недели, но Можань не нужно беспокоиться из-за пропусков: он все с ней пройдет, когда она немного окрепнет. На биологии завтра надо будет резать лягушек, от чего, он знает, Можань не была бы в восторге, так что, может быть, и к лучшему, что она пока болеет; кстати, слышала ли она, что сестра Шаоай тоже нездорова? Когда все на работе или в школе, они с Шаоай могут проводить время вместе, чтобы не было скучно.

– Что с сестрой Шаоай? – спросила Можань, удивленная, что родители

ничего ей не сказали.

Боян ответил, что, вероятно, тот же вирус. Он спросил, помнит ли она, как болела вместе с ним корью, и она сказала, что, конечно, помнит. В третьем классе Можань и Бояна не обошла эпидемия кори, и его бабушка взяла ее к себе, чтобы изолировать обоих от остального двора; утром и вечером она поила их темной, горькой настойкой трав, а больше ничем не докучала, оставляя их с шахматами и радио. В шахматы Можань играла ужасно. Всякий раз, как она оказывалась в проигрышном положении, Боян менялся с ней сторонами, и ее поражало, что, как бы плохо она ни начинала игру, ему удавалось кардинально все изменить; иногда они менялись фигурами несколько раз за игру, пока она не теряла их почти все, красные и черные, и тогда им ничего не оставалось, как согласиться на ничью.

Это были счастливейшие дни, подумала она, но не сказала Бояну, у которого впереди были дни еще более счастливые.

В отличие от Можань, которая поправлялась день ото дня, Шаоай делалось все хуже. К тому времени, как Можань позволили пойти в школу, у нее мало что было на уме, кроме болезни Шаоай, – та несколько дней назад впала в кому. Врачи не знали, что и думать, гриппозные симптомы быстро сменились другими, более серьезными: выпадением волос, рвотой, судорогами, утратой многих мозговых функций; результаты анализов не приносили разгадки.

Перед тем как поехать на выходные к родителям, Боян попросил Можань позвонить ему, если будут новости про Шаоай. Тетя и Дядя каждый день по очереди дежурили при ней в реанимации; соседи предлагали иногда их подменять, но они отказывались, говоря, что лучше им быть на месте, пока нет определенного диагноза.

В воскресенье после обеда Можань пришла в дом Шаоай, желая найти Жуюй. Утром они вместе готовились к контрольным. Теперь Дядя лег поспать, а Жуюй кормила Дедушку рисовой кашей. В эти дни Жуюй немалую часть свободного времени посвящала уходу за Дедушкой, который один был избавлен от тревоги, окутавшей двор, точно темным туманом. Казалось, с каждым днем, какой Шаоай оставалась в коме, еще один человек начинал отчаиваться. За воскресным завтраком мать Можань сказала, что теперь, может быть, надо возлагать надежду на другой исход:

– Шаоай наверняка уже не станет опять здоровым, нормальным человеком – нет-нет да и приходит в голову, что всем было бы легче, если бы ее родители позволили ей уйти.

В маленькой Дедушкиной спальне-клетушке Жуюй выглядела задумчивой. Покормив Дедушку и вытерев ему лицо и шею полотенцем,

она тихо сказала Можань, что будет сидеть с Дедушкой, пока он не заснет. Я с тобой посижу, прошептала в ответ Можань. Жуюй бросила на нее взгляд, говоривший, что она не рада ее обществу. И все же Можань ничего не могла с собой поделать: ей было бы слишком не по себе, находишься Жуюй вне поля ее зрения. В будни Боян постоянно был рядом с Жуюй, но в воскресенье, да еще в такое, когда у всех на уме только одно, Можань особенно не хотелось оставлять ее без присмотра.

Обе молчали. Дедушка выглядел уставшим и вскоре задремал. Единственное окно под потолком было открыто, и Можань смотрела на голубое небо за ним, слушала, как несколько воробьев чирикают и клюют что-то на крыше. Осень скоро кончится, а зимой на перекрестках торговцы будут жечь костры в металлических бочках, а потом печь в углях сладкий ямс и каштаны. В прошлые зимы Можань и Боян часто останавливались у какой-нибудь бочки и выбирали самый большой клубень, его фиолетовая или коричневая кожура была обгорелой, сморщенной. Сейчас Можань легко могла представить себе, как Жуюй и Боян делят ямс надвое, улыбаясь друг другу сквозь пар, идущий от золотистой внутренности клубня.

Можань пресекла эту мысль, стыдясь своего эгоизма, своей сосредоточенности на мелких собственных болях, когда жизнь Шаоай в опасности. Можань не верила, что Шаоай умрет, и эти дни перед ее грядущим выздоровлением напомнили Можань тот случай в детстве, когда она потеряла сознание в муниципальной бане. Воздух, наполненный густым горячим паром, давил на нее, а взрослые, которым было привольно без одежды, громко сплетничали; их голоса, смешиваясь с шумом душей и плеском горячей воды, звучали точно издалека. Когда ноги у Можань подкосились, последним, о чем она успела подумать, было то, что надо крепко держать мыло: ароматное мыло стоило недешево.

В любой день сейчас, в любую минуту Тетя или Дядя могли прийти с какой-нибудь хорошей новостью: поставлен диагноз, или, лучше, вирус отступил, и Можань опять задышит свободно, как тогда, очнувшись в прохладной раздевалке, – правда, мыло выскользнуло, пропало. Когда-нибудь соседи по двору будут вспоминать эти дни как время, когда Шаоай болела чем-то непонятным, подобно тому, как они будут говорить про день в мае, когда на перекрестке поблизости был сожжен танк, или про день в июне, когда двоюродный брат учителя Пана отвез три трупа с Площади в больничный морг на своем трехколесном велосипеде с большим кузовом. А может быть, Можань будет даже думать про эти дни как про начало большой любви между Бояном и Жуюй. Жизнь, оглядываясь назад, можно свести к чему-то простому, к совокупности историй, и в таком же ключе мы

живем дальше, обменивая свою юную веру в счастье – а счастье в этом возрасте почти всегда значит быть хорошим, правильным, любимым – на то, чтобы меньше чувствовать, меньше страдать.

Калитка двора открылась, и по движению к ней соседей стало ясно, что вернулась Тетя. Можань посмотрела на часы – два часа, Дяде еще не пора заступать на вахту. Мгновенно Можань ощутила прилив надежды: врачи поняли наконец, как лечить Шаоай, – но надежда умерла, когда она услышала голос Тети.

– Нет, она все так же, – ответила Тетя соседям. – Но один врач спросил меня, был ли контакт с химическими веществами. Я говорю: нет, она по международной торговле и отношениям, но он сказал, симптомы все больше напоминают один случай отравления, который он видел в семидесятые.

Несколько соседей ахнули.

– Отравления? Но как, откуда?

– Не знаю, – сказала Тетя. – Мы понятия не имеем, как она перед этим время проводила, с кем встречалась. Я потому раньше пришла, что хочу поискать телефоны, с кем она училась, спросить у них.

Можань перевела взгляд на Жуюй. Та неотрывно смотрела на Дедушку, как будто ее завораживал ритм его мелкого дыхания. Поколебавшись, Можань взяла Жуюй за локоть.

– Пойдем, – сказала Можань. – Мне надо с тобой поговорить.

Жуюй не стала противиться и первая двинулась к себе в спальню. Там села на кровать и подняла ясные глаза. Можань пододвинула стул и села напротив, чувствуя себя так, будто сама совершила преступление и должна завербовать Жуюй в сообщницы, обеспечивающие прикрытие.

– Где вещество, которое ты взяла из лаборатории? – спросила Можань.

– Его нет.

– Куда оно делось?

– Не знаю, – ответила Жуюй. – Я положила пробирку в свой ящик, но она исчезла.

– Когда?

– Не могу сказать точно. Несколько дней назад, – промолвила Жуюй с раздражением. – Я ведь не такая, как ты, Можань, я тут не дома. Тут ничего мне по-настоящему не принадлежит. Если кто-то берет у меня любую вещь, что я могу сделать? Только пожать плечами: пользуйся, не стесняйся.

Смутившись, Можань не знала, что на это сказать.

– Ты думаешь, я отравила сестру Шаоай? – спросила Жуюй, глядя Можань в глаза с иронической полуулыбкой. – Это допрос?

– Нет! Но ты слышала, что сейчас сказала Тетя? Врачи думают, это мог быть химический яд.

– А до этого они говорили – менингит. Завтра могут еще что-нибудь сказать.

– Почему ты ничего не сказала, когда сестра Шаоай заболела?

– О чем? На прошлой неделе все подхватили грипп. А потом они стали говорить, что это бактериальная инфекция.

– Ты не думаешь, что это Шаоай взяла пробирку?

– Не знаю.

– Она тебя про нее спрашивала?

– По-твоему, люди спрашивают разрешения, когда что-то у тебя берут?

Можань захотелось взяться за Жуюй и потрясти. Может быть, еще не поздно, может быть, они успеют спасти человеческую жизнь!

– Что за вещество ты там взяла, ты не помнишь?

Жуюй покачала головой.

– Я не говорила, что я что-то взяла.

– Это очень серьезно, как ты не понимаешь! Давай пойдем к Тете и Дяде, расскажешь им. И позвоним Бояну и его маме.

– Тебе кажется, – промолвила Жуюй, поднимая на Можань глаза, – сестре Шаоай это понравится, если она и правда хотела покончить самоубийством?

– Но мы не можем сидеть тут и ничего не делать!

– Почему? Что плохого в том, чтобы ничего не делать? В мире жилось бы намного лучше, если бы люди делали меньше, – сказала Жуюй. – Почему вы все считаете, что имеете право изменить чужую жизнь только потому, что вам так хочется?

Гнев Жуюй смутил Можань. Спорить дальше было бесполезно. Можань встала и почувствовала, что у нее дрожат ноги.

– Куда ты? – спросила Жуюй.

– Иду говорить со взрослыми, – сказала Можань. – Ты пойдешь со мной?

В глазах Жуюй было что-то нечитаемое: смесь жалости, насмешки и любопытства. В последующие годы Можань много раз возвращалась к этому моменту, желая понять лицо Жуюй, ища в нем признаки паники, вины, сожаления, страха – хоть чего-нибудь, что сделало бы Жуюй понятной, – но снова и снова Можань ничего подобного не усматривала, только холодное спокойствие, как будто Жуюй предвидела все последующее. Но как она могла? Допустить такой дар у пятнадцатилетней – значит предположить у нее мистические способности, которые ей не по



плечу. И все-таки каждый раз, когда Можань вспоминала этот момент, ей виделась во взгляде Жуюй полуравнодушная попытка спасти ее от неверного шага. Не видя, не думая, Можань не вняла предостережению Жуюй. Молчи, говорил этот взгляд, не молящий, а предупреждающий; сиди тихо, говорил этот взгляд; отрепетируй реплики, прежде чем выходить на сцену; на тех, кто не запасся словами ради себя, взвалют всю вину.

Все последующие годы Можань не переставала воображать себе альтернативу: *промолчать*. Размышления о том, как все могло бы обернуться, порой тешили ее: без запоздалого введения антидота – берлинской лазури, которой место, казалось, скорее на палитре художника, чем в кабинете врача, – Шаоай умерла бы молодой, умерла бы героиней, чья смерть объяснялась бы только судьбой, и несправедливой (позволила бессмысленной трагедии постичь молодую женщину, и без того обиженную), и милосердной (могло быть и хуже, утешали бы себя люди: долгое умирание, чрезмерные страдания окружающих). Секрет, соединяющий Жуюй и Можань, был бы жив некоторое время, но, подобно прочему, что бывает у подростков, в один прекрасный день был бы отодвинут в сторону, сочтен похороненным и больше не вышел бы на свет. Может быть, что-нибудь хорошее в конце концов получилось бы из любви между Бояном и Жуюй – или все пошло бы естественным путем, как обычно бывает с первой любовью, расцвет и увядание без непреходящего вреда. Так или иначе, Можань и Боян остались бы друзьями, и когда-нибудь, когда все это уже значило бы меньше, она поделилась бы с ним секретом. Они покачали бы головами – смущенно или безропотно, но в любом случае были бы слишком отдалены от трагедии, чтобы лишиться душевного равновесия. Жизнь была к нам добра, сказали бы они друг другу, при всех ее нераскрытых и нераскрываемых тайнах.

– Иди, действуй, – сказала Жуюй. – Это твое решение рассказать, а не мое.

Последующие минуты, часы, дни стали бесконечным туннелем, по которому Можань двигалась одна под воздействием не своей личной воли, а безжалостного тока времени; кончись туннель когда-нибудь, она бы этого не заметила. Однажды, уже в Америке, она увидела телеролик местной организации, поддерживающей детей-аутистов: девочка в сиреновом платье пела и разыгрывала сценку о тщетной битве крохотного паучка с дождем. В общей комнате в Уэстлоне Можань сидела тогда не одна: соседки были рядом, ждали первой домашней игры футбольного сезона между «Бэджерс» и кем-то еще. Слез Можань ни одна из них не заметила, и больше она никогда не смотрела с ними телевизор. Не только ее жизнь поймала в

капкан. Она боялась встретить человека, подобного ей, но еще больше боялась никогда не встретить такого человека – того, кто посмотрит ей в глаза и даст понять, что она не одна в своем одиночестве.

Анализы крови подтвердили слова Можань, стало ясно, что было взято из лаборатории, и берлинская лазурь спасла жизнь Шаоай – но не ее мозг. Жуюй, судя по всему, твердо держалась своей версии событий, которую Можань могла только сама собрать по кусочкам в дальнейшие годы: она не в силах была спрашивать других, да если бы и спросила, никто бы ей ничего не сообщил. Да, говорила, видимо, Жуюй, она украла вещество из-за минутного отчаяния; нет, для этого отчаяния не было никакой конкретной причины, только преходящее настроение; нет, она не назвала бы себя несчастной, хотя и счастливой тоже себя не считает; она не испытала беспокойства, когда пробирка исчезла, – подумала, кто-то, наверное, выбросил ее, когда убирал комнату. Вновь и вновь ей надо было отвечать на вопросы – их задавали взрослые во дворе, люди из школьной администрации, сотрудники университетского комитета по безопасности, полиция: нет, она не знала, кто взял у нее яд; нет, она не намеревалась убить Шаоай; нет, Шаоай никогда не заговаривала с ней о самоубийстве; заговаривала ли она с Шаоай на эту тему? – нет, правда, у нее был короткий разговор с Можань, и, может быть, Можань сказала потом Шаоай; возможно, Можань рылась в ее вещах в поисках пробирки, а может быть, ее нашла Шаоай; заговаривала ли Можань о самоубийстве? – нет, конечно же, нет; могло ли Можань захотеться убить Шаоай? – нет, она так не думает, хотя может говорить только о том, что знает, а она никого хорошо не знает в Пекине; нет, у нее не было причин желать вреда кому-либо; нет, она ничего не сделала, чтобы причинить кому-либо вред.

Можань не знала, в какой степени мир поверил словам Жуюй; конкретные люди, должно быть, поверили в достаточной мере, ибо в конце концов расследование прекратили, оставив слишком много пространства для всевозможных догадок: могло ли быть, что у двух человек под одной крышей возникали мысли о самоубийстве? Или такие мысли подобны вирусу – не важно, как это началось, но в итоге вирус заразил обеих, и лишь по чистой случайности одна осталась цела? Причин отчаяться у Шаоай хватало, имелись и свидетельства. Ее исключили из университета, ее будущее было туманно, настроение у нее было мрачное, один раз она напилась, чему многие были очевидцами; ничего общего, говорили все, с той энергичной, общительной девушкой, какой она была раньше. Что касается Жуюй, тут судить было труднее – впрочем, она сирота, отправленная жить в чужую семью, и возраст такой, когда гормоны творят

что хотят; кто знает, думали порой соседи, – ведь никому не известно, как началась ее жизнь: может быть, она получила от родителей гены сумасшествия? Возможно, за их отказом от младенца стоит не только безответственность? Любой подкидыш может быть носителем мрачных секретов, мало ли какая неблагоприятная история тут кроется.

Теть-бабушек Жуюй известили телеграммой и по телефону; они не приехали, ссылаясь на трудность такой поездки в их возрасте, но прислали телеграмму, где говорилось, что они воспитали Жуюй как богобоязненное дитя и верят в ее правдивость. Телеграмма пришла в момент нового кризиса, когда Дедушку нашли лежащим без сознания; его отвезли на «скорой» в больницу, откуда он уже не вернулся.

За телеграмму расписалась мать Можань. Месяцы спустя Можань, оставшись дома в будний день под предлогом плохого самочувствия – мать позволила ей пропустить школу, особенно не расспрашивая, – принялась искать у родителей, не хранят ли они что-нибудь, относящееся к произошедшему, но нашла только эту телеграмму. Ее мать, должно быть, передала Тете и Дяде недоброе послание щадящими словами, да и если даже ничего им не сказала, какое это имело значение? К тому времени все было позади: Бояна перевели в школу при родительском университете, и приезжать к бабушке ему было позволено только по выходным; Жуюй с помощью учителя Шу перешла на пансион, и соседи в разговорах неизменно потом обходили молчанием ее пребывание во дворе, длившееся всего четыре месяца; Дедушка умер, и родители Шаоай, переехав с ней в другой район, не приходили навещать прежних соседей, хотя те про них не забыли: каждый год собирали деньги и посылали Тете и Дяде на уход за Шаоай.

Дом стоял пустой больше года: плохой фэншуй, говорили люди, два несчастья в семье за короткое время. В конце концов вселилась молодая пара. Они были женаты три года, но жили в разных общежитиях, назначенных им их трудовыми ячейками, и там им приходилось делить комнаты с другими. Они были так рады собственному жилью, что соседи решили не омрачать их настроение. Рано или поздно, однако, история наверняка достигла их ушей, потому что никакой секрет в этом городе не остается секретом навсегда, никакая повесть не успокаивается с миром.

После того как дело было закрыто, родители Можань никогда о нем с ней не говорили. Они, конечно, знали, как она плакала перед чужими людьми: в отличие от Жуюй, Можань не могла отвечать на вопросы. Почему, спрашивали ее, она никому не сообщила о краже? Бывало ли раньше так, что она видела противозаконные поступки, но никого не

извещала? Почему она не сказала никому из взрослых, что подруга говорила с ней о самоубийстве? Беспокоила ли ее судьба подруги? Считает ли она себя ответственным человеком?

Можань не знала, замышляла ли Жуюй самоубийство, замышляла ли она убийство; может быть, одного не бывает без другого? Чем больше она старалась понять Жуюй, тем сильнее все мутилось у нее в голове. Как бы то ни было, она не протестовала, когда в итоге ее стали считать более виноватой, чем двух других девушек: ее молчание, в отличие от их поведения, нельзя было оправдать возможным психическим нарушением. Люди были достаточно деликатны, чтобы не говорить этого Можань, – все, кроме Бояна, который, как всегда, быстро сделал свой вывод и молчать не стал. «Тебе никогда Жуюй по-настоящему не нравилась, так ведь?» – сказал он ей во время их последнего полноценного разговора. Он к тому времени уже переехал и письмом попросил ее встретиться днем во вторник. Она пропустила школу и увиделась с ним около Заднего моря.

Нет, ты не прав, слабенько попыталась она защититься.

– Тогда почему ничего не сказала? Я могу понять, что не хотела говорить взрослым, но почему не сказала мне?

Никакие ее слова не умили бы гнев Бояна ни тогда, ни позже. Слишком много он потерял – первую любовь, двух подруг, дом своего детства.

– Ты думала, я полюблю тебя, если Жуюй исчезнет? Думала, если она убьет себя, все станет по-прежнему?

Можань расплакалась, но Бояна это не смягчило. Злой, он укатил от нее на велосипеде. Смотри, что ты наделала, сказал Можань некий голос – она не знала, что это говорит ее будущее «я», – смотри, как ты все разрушила.

– Ну, – сказала Селия, как только Жуюй вошла в дом. – Так что с тобой происходит?

– Ничего особенного.

– Но кто эта женщина, которая умерла?

– Это долгая история, – сказала Жуюй.

– Именно так я и думала, но вопрос в том... – Селия умолкла и взгляделась в лицо Жуюй, прежде чем подать ей вешалку для плаща; утро было дождливое, стоял густой туман, грозивший не рассеяться до вечера, – ...расскажешь ли ты мне эту историю. Знаешь, ведь я поняла, что с тобой что-то не так, когда ты была у нас на днях. Спросила Эдвина, но он сказал, что ничего не заметил. Но тебе же известно, что такое мужчины. Или неизвестно. Как бы то ни было – они ничего не видят, пока не покажешь, где смотреть, и даже тогда нет гарантии, что они увидят то, что следует увидеть.

Итак, Эдвин скрыл от Селии часть своего разговора с Жуюй на кухне; но по какой причине?

– Это ты его вчера послала проверить, что со мной и как? – спросила Жуюй.

– Да, посмотреть и спросить.

Жуюй вздохнула.

– Ты могла просто-напросто сама меня спросить.

– А ты могла просто-напросто сама мне сказать, – промолвила Селия. – Я не хотела создавать у тебя ощущение, что лезу куда не надо. С другой стороны, я хотела узнать, что случилось, вот и подумала, что лучше всего будет послать Эдвина спросить.

– Почему?

– Потому что он бы не сильно расстроился, если бы ты ничего ему не сказала, – ответила Селия. – А ты, зная, что он мало обеспокоен, могла бы решить поделиться с ним, рассказать ему правду. И это не только тебя касается, это общее свойство. Лгут тем, для кого правда значима, ты согласна?

Селия самым фактом, что она Селия, была ограждена от сомнений, и Жуюй это в ней восхищало: все, что от нее скрывали, скрывали, считала Селия, из опасения, что она примет слишком близко к сердцу. В жизни мы все встречали таких Селий, порой и дружбу завязывали с одной-двумя, но

не слишком многими: если даже они и допускают, что, кроме них самих, бывают и другие причины происходящих вокруг событий, то уж по крайней мере должны участвовать во всем, что совершается или не совершается. Их обязательство перед жизнью – быть незаменимыми, быть связующим звеном для всего и вся; что они не могут отнести к себе (неизбежно кто-то или что-то подводит их, оказываясь вне досягаемости), перестает существовать в их мире. Но плохо ли это все для Селии, для тех, кто с ней рядом? Без Селии Эдвин, лишенный собственных чувствительных щупалец, вероятно, хуже ориентировался бы во многих ситуациях; впрочем, что Жуюй знала о браке Эдвина? Что она знала о нем, державшем, по крайней мере несколько дней, их разговор в секрете?

Мысль, что она была у него на уме, сама по себе тревожила. Легкость общения Жуюй с этой парой основывалась на том, что Эдвин держался на расстоянии и особенно не любопытствовал, а Селия приносила в свою жизнь достаточно драматизма, чтобы Жуюй было на что посмотреть; если Селии нравилось быть предметом внимания, то Жуюй нравилось наблюдать, и порой она не запрещала себе воображать, как иногда воображает всякий зритель, что сама находится на сцене. Без труда Жуюй могла представить себя в положении Селии: в сердцевине вещей, добавляющей новое, расширяющей свой пузырь, пока он не станет для нее, сотворившей его, целой вселенной – миром настолько необъятным, насколько позволяет твое эго.

Жуюй сознательно не занимала этого положения и не жалела об этом. Если она когда-либо испытывала что-то похожее на страсть, то это была страсть к изглаживанию: любую связь, установленную с ней, случайно или намеренно, другим человеком, необходимо было стереть; пустота, которую она поддерживала вокруг себя, была ее единственным значимым достоянием.

Жуюй думала до сей поры, что Селию с ее невнимательностью можно будет избавить от этого стирания. В отличие от Шаоай, считавшей своим правом и обязанностью учить Жуюй, как нужно чувствовать; в отличие от Можань, для которой счастье и несчастье Жуюй стало личным бременем; в отличие от Бояна и мужчин в ее жизни, видевших в ней то, что не имело для нее значения, – в отличие от них, Селия спокойно смотрела на аномальность Жуюй. Или – спокойно смотрела до этих дней. Нетерпеливо требуя объяснения, Селия теперь вытащила Жуюй из зрительского кресла.

– Я не думала, что эта смерть представляет здесь для кого-нибудь интерес, – сказала Жуюй.

– Но ты была расстроена.

– Любая смерть может так подействовать, – отозвалась Жуюй, разматывая шарф. Не сесть ли нам, спросила она затем; и я бы не отказалась от кофе, сказала Жуюй, посылая тем самым Селию в кухню впереди себя.

Права ли Селия, полагая, что Жуюй потому не стала лгать Эдвину, что он ничего для нее не значит? Жуюй встретила его только что, начав подниматься к их дому. Он остановил машину и опустил стекло. Предложил подвезти, но она сказала: нет, не надо, я лучше пешком. Он поглядел на небо – похоже, был разочарован решением Жуюй терпеть и дальше неудобство из-за погоды, – и тогда она добавила, что ей всегда нравилось ходить в тумане и под дождем. Почему она это сказала, спросила Жуюй себя сейчас: человек не говорит о себе просто так, без мотива. Пара нравилась ей достаточно для того, чтобы она позволила своим отношениям с ней обрести некое постоянство, но теперь равновесие было нарушено Эдвином – или ею самой, – и это лишило ее той маленькой радости, какую она позволяла себе у Мурлендов: быть свободной от участия в жизни.

Жуюй смотрела, как Селия управляется со сверкающей, деловито шипящей кофеваркой.

– Я тут думала... знаю, это слишком неожиданно, – сказала Жуюй. – Но как бы ты отнеслась к моему отъезду в Китай?

– В Китай? Когда? На сколько?

Мысль о возвращении в Пекин (чего ради, удивлялась Жуюй, – впрочем, с ответом на этот вопрос можно было подождать) не покидала ее сегодня утром с самого пробуждения.

– Пока это предварительная идея.

– Но почему в Китай именно сейчас? Кого тебе там надо увидеть?

Более правильным вопросом, подумала Жуюй, было бы *что* она хочет увидеть. За годы Селия получила от нее кое-какие сведения о ее жизненной истории. В расплывчатых выражениях, что, видимо, Селия объяснила себе нежеланием Жуюй предаваться воспоминаниям, она дала Селии понять, что живых родителей в Китае у нее нет; друзья и родственники если и были, то не настолько близкие, чтобы привязать ее к месту.

– Никого особенно важного, – ответила Жуюй.

– Поездка вызвана этой таинственной смертью, о которой ты не хочешь мне рассказывать?

Никому не дано избавиться от собственной истории. Жуюй задумалась о том, сколько правды она может сообщить, не сообщая по большому счету ничего. Подобные прикидки стали ее второй натурой, поскольку она не любила лгать. Ложь, как и жизнь сама, требует мотивов, сколь бы тупыми

они ни были. Для Пола ей приходилось сочинять сюжеты – про смерть родителей, про детство: родители погибли в дорожной катастрофе в провинции Аньхой, когда автобус не вписался в поворот на горной дороге и упал в реку, – трагедия, которую Жуюй украла из газетной статьи, прочитанной в колледже; семью, где она единственный ребенок, она нарисовала по образцу семьи Можань, а двух друзей детства списала с Можань и Бояна – но, естественно, сказала Полу, что потеряла с ними связь за долгие годы. Отсутствие свидетельств – семейных фотографий, своих снимков в разном возрасте – объяснила естественными и неизбежными потерями, с которыми были сопряжены эмиграция и трудный развод.

Если Селия была права, то, что Жуюй лгала Полу, означало, должно быть, что он имел для нее значение – по крайней мере большее, чем другие мужчины в ее прошлом. С первым мужем ей не надо было ничего придумывать: он знал, что она сирота, и расценивал это как плюс, потому что не хотел иметь дело с родственниками жены. Он встретился с ее тетями – вернее, встретился с их неодобрением; впрочем, задолго до того они, продолжая поддерживать Жуюй денежно во время учебы в школе и колледже, ясно дали ей понять, что она их разочаровала. Про дело Шаоай они ее не спрашивали. Того, что они слышали, сказали они Жуюй, им достаточно; непростительным было для них не то, что она совершила кражу, а то, что причиной проступка была греховная мысль о самоубийстве. Именно это побудило их покачать головами и сказать, что она, в конце концов, не родня им по крови и понять ее у них возможности нет. Решение Жуюй выйти замуж в девятнадцать лет – оно тоже, несомненно, шло вразрез с их былыми чаяниями на ее счет – они восприняли довольно отрешенно; замужеством самим по себе она, по их понятиям, их предала, но предательство не так губительно, как грех. У кого меньше шансов на спасение – у покончившего с собой или у лишившего жизни другого? Жуюй пришло в голову, что она никогда толком не знала ответа. Она обратилась к Селии:

- Что более греховно у католиков – самоубийство или убийство?
- Откуда этот вопрос? – спросила Селия. – Его навеяла смерть этой женщины?
- Нет, не думаю, что это именно из-за нее или ее смерти. Мне кажется, меня всегда это занимало, – сказала Жуюй. – Ладно, забудем.
- Нет, погоди. Ты поэтому хочешь вернуться – чтобы узнать, убили ее или она сама?
- Нет, к ней это не имеет отношения, – ответила Жуюй.
- Тогда почему в Китай? Почему сейчас?



– Просто настроение такое. Я очень давно там не была.  
– Когда последний раз?  
– Ни разу после того, как переехала в Америку.  
– Да, помню, ты мне говорила, – сказала Селия. – А когда ты эмигрировала?  
– В девяносто втором.  
– Ужас! – воскликнула Селия. Жуюй не поняла, в чем именно ужас – в том, что она уехала так давно, или в том, что, уехав так давно, она до сих пор не уехала вполне.

Селия подала Жуюй кружку, и они сели с кофе за стол.

– Ну, теперь ты непременно должна похвалить кофе. Эдвин сам обжаривал зерна, это первая партия.

– Когда он начал заниматься кофе?

– Недели две назад.

– А как же пивоварение? – спросила Жуюй.

Эдвин два года экспериментировал в подвале с домашним пивоваренным оборудованием; у него имелась пара дежурных историй для вечеринок о двоюродных дедушках-самогонщиках, и Жуюй была уверена, что не только она слышала их больше одного раза. Ее удивляло, что никто не посоветовал ему не повторять этих историй; может быть, другие, более добрые, чем она, считали, что лучше уж говорить хоть что-нибудь, чем молчать.

– Идет хорошо, – сказала Селия, – но мужчине всегда нужно новенькое, иначе он киснет. Мужчина не кот, нельзя рассчитывать, что он сам себе найдет развлечение. Ему надо подсказать, чем заняться. Кстати, о котах – где Скутер?

– Когда я подходила, он был у двери гаража.

– Я только что, этим утром его предупредила, чтобы больше не носил в дом мертвых птиц, но ставлю десять долларов, что он меня не слышал. Иногда я думаю: моя проблема в том, что они меня превосходят числом в этом доме, – сказала Селия, переведя сердитый взгляд на семейные фотографии в рамках на серванте – взгляд, который мог принадлежать только довольной женщине. – Скутера уже нельзя в узком смысле назвать самцом, но во всех прочих отношениях он средняя особь мужского пола. И как они умеют заставить тебя говорить не умолкая и не слышат при этом ни слова! Если решишь одну минуту посидеть тихо, тут же: мама, ты мне не сказала, где моя физкультурная форма, или: ты мне не сказала, что урок на скрипке перенесли. Или вот вчера вечером слышу от Эдвина, что ты выглядела ужасно. Я ему: боже мой, правда? А он мне в ответ – мол, его

удивляет, что я не заметила твоего настроения и не расспросила побольше про смерть твоей знакомой. Какой знакомой, спрашиваю, а он говорит, ты сказала ему в магазине, что умерла твоя знакомая в Китае. Говорит, он думал, я все про это знаю; но разве я, будь это так, не поделилась бы с ним?

Жуюй пила помаленьку кофе. Ей пришло в голову, что когда-нибудь она будет скучать по Селии – или, может быть, уже начала скучать по ней, по времени, проведенному за этим столом, по рассказам Селии о семейных поездках, по ее жалобам на те или иные сложности с сестрой и родителями. Пейзажи, которых Жуюй не видела сама, она видела глазами Селии; людей, с которыми Жуюй не была знакома – и не жаждала познакомиться, – она встречала в историях, рассказанных Селией. И все равно мысль об отъезде, раз возникнув, не уходила и была направлена все туда же; Жуюй много кого оставила позади, и ей ничего не стоило добавить к списку Селию и ее семью. Хотя Селия, наиболее доверчивая из всех, вызывала у Жуюй странное чувство, будто она хоронит человека заживо.

Селия всматривалась в лицо Жуюй.

– Что, кофе не очень?

– Очень.

– По тебе не скажешь, что ты в восторге.

– Я не могу быть надежным арбитром ни в чем, – сказала Жуюй.

– Это я знаю, – промолвила Селия и, наклонясь ближе, подставила ладонь под подбородок. – Если серьезно – она что, была твой враг, эта умершая?

Жуюй немного подумала.

– Да нет, не то чтобы враг. Мне кажется, меня не настолько волнует окружающий мир, чтобы я наживала врагов, – сказала она честно.

Селия содрогнулась – или Жуюй показалось? – и тут же пришла в себя.

– Но без нее тебе в Китае будет в чем-то проще? Ты поэтому хочешь поехать именно сейчас?

– Что ты имеешь в виду?

Селия резко выпрямилась – похоже, не могла сдержать волнения.

– Выслушай мою гипотезу, мою версию истории – и поправь меня, если я ошибаюсь, но это самое осмысленное из всего, что нам с Эдвином пришло на ум.

– Чьей истории?

– Твоей. Но первым делом хочу сказать, что я не склонна никого судить, поэтому ты не должна чувствовать неудобства. По мне, кем бы и чем бы ты ни была, я все равно твой друг.

Жуюй посмотрела на Селию с любопытством.

– По мне, я всегда была никем и ничем.

Селия проигнорировала эти слова.

– Я читала в газетах, что богатые люди и чиновники высокого ранга в Китае часто поселяют своих любовниц в Калифорнии, – слыхала ты о такой практике? – спросила Селия, глядя Жуюй в глаза.

– Или в Нью-Джерси, – сказала Жуюй. – Да, слыхала. Но продолжай.

– То, к чему я веду, тебе не причиняет неудобства?

– Нет.

Селия кивнула и сказала, что спросила без задней мысли, просто чтобы удостовериться.

– Так вот, моя догадка состоит в том, что, не знаю, при каких обстоятельствах, ты в юности – в восемнадцать, в девятнадцать лет – познакомилась с женатым мужчиной, и начался роман, а когда возникли сложности, он организовал твой переезд сюда. Но теперь эта женщина, кто бы она ни была – жена, скорее всего, – умерла, и препятствия больше нет.

– Вы с Эдвином пришли к этому вчера вечером?

– Нет, у меня всегда была такая мысль, но Эдвин не соглашался, пока не увидел тебя вчера. Видимо, то, что ты сказала об умершей, убедило его в моей правоте. Ну, и в какой части это неправдоподобно?

– Правдоподобно во всех частях, – сказала Жуюй. – Но как вписываются в эту историю два мои замужества?

– А ты действительно была два раза замужем?

– Вижу, ты начала сомневаться во всем, что я говорила.

– Насчет твоих браков у нас только твои слова.

Жуюй вздохнула.

– Если я с самого начала внушала такие подозрения, зачем ты помогла мне переехать?

– Я не знала тогда! – воскликнула Селия. – Но я в любом случае была бы не прочь оказать помощь. Я думала, ты просто хочешь оттуда выбраться. Впрочем, твои отношения с бывшим работодателем и правда показались мне подозрительными.

– И как эта часть вписывается в твою историю?

– Тут я вижу больше реальности, чем в твоих браках. Я бы сказала, что склонна считать их вымышленными, – разве только ты докажешь мне обратное.

– Почему? Неужели я выгляжу женщиной, которая может быть только любовницей?

Селия засмеялась.

– Нет, я серьезно спрашиваю, – сказала Жуюй.

– Как выглядят любовницы? – спросила Селия и посмотрела на Жуюй изучающе. – Не знаю, но думаю, у тебя вид женщины, которой невдомек, что она заслуживает лучшего.

Жуюй подумалось, что ее проблема, возможно, отчасти в том, что она не в состоянии представить себя женой. А вот в Можань, к примеру, всегда чувствовалось что-то свойственное жене: она никогда не стала бы ничьей любовницей, она была рождена для супружества.

– Ну, продолжай знакомить меня со своим расследованием. Как ты объясняешь мужчину в Твин-Вэлли?

– Я подумала, мужчина в Китае перестал тебя содержать и понадобился кто-то другой, но Эдвин сказал, что это мог быть деловой партнер того человека в Китае и его роль была всего-навсего ролью опекуна. И все же я бы скорее предположила, что ты тогда двинулась дальше, оставила в прошлом этот китайский сюжет. Я ближе к истине, чем Эдвин?

– Из содержанок китайского чиновника – в содержанки американского политика?

– А он политикой занимался?

– Яркой карьеры в политике у него не получилось, – сказала Жуюй. – Но одно время он, похоже, думал, что получится.

– Значит, я была права! Мы могли о нем слышать?

Жуюй покачала головой. Упомянуть в этом разговоре имя Эрика ей не хотелось.

– Как вы познакомились?

– С кем?

– С неудачливым политиком. Как его зовут?

– Имярек, – сказала Жуюй. – Я вела бухгалтерию в одной из его фирм. А потом он нанял меня экономкой. Нет, Селия, тебе незачем сидеть и гадать, умирая от любопытства. Если хочешь знать больше – спрашивай.

– Что между вами произошло?

– Ничего такого. Мне кажется, мы хотели увидеть, сможем ли вписаться в жизнь друг друга, но толком из этого ничего не получилось.

– Почему?

– Думаю, любви было маловато.

– С твоей или его стороны?

– С обеих, – ответила Жуюй.

По крайней мере у Эрика хватило терпения на три года с ней, хотя это были ровно те три года, что продлилась его юридическая битва за развод.

Жуюй предпочитала думать, что он потому предложил ей коттедж, что ему нужна была удобная женщина, не сулящая осложнений. Как он выбрал Жуюй – выбрал умно, оба согласились с этим потом, – она не спрашивала; она переехала в коттедж, ибо не имела ни в то время, ни когда-либо лучшего – или худшего – места в жизни. В каком-то смысле им хорошо было друг с другом, но то, что началось на договорной основе, могло кончиться только в рамках условий, писанных или неписанных. Жуюй казалось сейчас, что, возможно, оба они беспрерывно ждали, чтобы другой предложил поправку, – впрочем, разве это могло что-нибудь изменить? Оба не хотели совершить ошибку, и, в конечном счете, ни он, ни она не желали отказаться от своего слегка саркастического взгляда на эти отношения; словно они были соперниками в бизнесе и восхищались друг другом, но должны были, чтобы не попасть впросак, смеяться над своим восхищением. Расстались по-дружески, согласившись больше не контактировать.

– Ну вот, – промолвила Жуюй и посмотрела на часы. – Пожалуй, все насчет моего бывшего работодателя.

– Ты... не любила его из-за человека в Китае?

Жуюй улыбнулась.

– Ты не на шутку уверовала, что в Китае кто-то есть.

– Если нет, то почему... – начала Селия и осеклась.

– Что – почему?

– Если нет, то почему ты надумала сейчас вернуться в Китай?

Жуюй взглядела в Селию.

– Ты именно этот вопрос собиралась задать?

Селия вздохнула.

– Если нет, то почему ты не хочешь жить реальной жизнью?

Возможно, версия Селии была лучше: повесть о верности и предательстве, о расчете и невинности. На мгновение Жуюй увидела себя глазами Селии – и Эдвина: жизнь под знаком первой близости, если не первой любви; годы, прожитые или растраченные, в ожидании смерти другой женщины. Роман и трагедия были бы идеальными сносками к ее непримечательной жизни; без этой драмы и тайны остается одна обыденность. Но как она могла объяснить, что хотела одного – быть сама по себе, не быть ничьей собственностью? Когда-то она была, хоть и совсем недолго, собственностью родителей, потом принадлежала тетям-бабушкам, считавшим, что она принадлежит не столько им, сколько их богу; разные люди после этого претендовали на нее, но, оставаясь ничейной, ты не можешь снова быть отвергнута.

– Ау, – промолвила Селия. – Ау-у-у.

Жуюй опять взглянула на часы и допила кофе.

– Мне не хочется прерывать разговор, но скоро пора будет в магазин.

– Еще есть время, – сказала Селия. – Я тебя отвезу. Слушай, зря ты так напряглась. Мы же твои друзья, мы искренне обеспокоены из-за тебя. Вот из-за чего эти вопросы.

– Я знаю, – отозвалась Жуюй.

– И, что бы ты ни чувствовала сейчас, не принимай поспешных решений, – сказала Селия и, увидев, что Жуюй, похоже, не поняла, наклонилась ближе. – Не надо возвращаться в Китай.

– Почему?

– Тебе не кажется, что ты заслуживаешь лучшего, чем у тебя было? Зачем ехать к подонку, который двадцать лет продержал тебя в подвешенном состоянии?

Жуюй задалась вопросом, не согласиться ли с этой историей, не вступить ли во владение тем, что ей не принадлежит, чтобы Селия и Эдвин, когда она исчезнет из их мира, и дальше представляли ее себе персонажем героической сказки о любви и глупости. Глупость – ладно, но с любовью жить труднее, и если Селия и Эдвин будут о ней вспоминать, она предпочла бы не быть в этих воспоминаниях ни с кем связанной. Может быть, она более эгоистична, чем думала: даже в чьих-то мыслях ей невыносимо сосуществовать с другим человеком.

– Очень умный совет, Селия, но моя жизнь скучней, чем тебе кажется. Нет в Китае мужчины, которого ты вообразила. У меня нет родных. Я не езжу в поездки. Я не ем в ресторанах. Я не хожу в кино. Было два брака, и оба неудачные. Сейчас у меня никого, ни в этой стране, ни в той. Тебе, может быть, интересно будет узнать, что у меня нет медицинской страховки. Как вы, американцы, называете таких людей? Лузерами?

– У тебя нет медицинской страховки?

– Селия, я не могу ее себе позволить. Ты правда думаешь, что это хобби у меня – продавать шоколад и заботиться о чужих собаках?

– Но ты не похожа на человека, которому трудно, – сказала Селия. – В смысле, денежно.

– И поэтому должен быть кто-то, кто тайно переводит мне деньги?

Селия выглядела болезненно озадаченной. Быть спрятанной любовницей, подумала Жуюй, это, безусловно, быть кем-то; оказавшись никем, она, должно быть, разочаровала Селию.

– Но почему ты не хочешь жить, а не существовать? – спросила Селия после паузы. – Насколько я могу судить, ты могла бы иметь многое, если

бы захотела.

А что если, невольно и жестоко подумала Жуюй, она захотела бы Эдвина? Она резко встала.

– Нам, кроме шуток, надо уже ехать – и заранее благодарна, что ты вызвалась подвезти, я без этого не обойдусь.

Выводя машину задним ходом с подъездной дорожки, Селия молчала. Должно быть, чувствовала себя обманутой – впрочем, из Жуюй не раз пытались лепить то или это; играть предложенную роль – не ее удел, и она не видела причин извиняться. Сменив тон на более легкий, она спросила Селию про предстоящую поездку с Эдвином на карибский курорт, в связи с которой Селия сетовала на свой небезупречный оттенок кожи и на утрату идеальной для бикини фигуры.

– Кстати, – сказала Селия, чуть ослабив хватку на руле. – Помнишь, ты обещала позаботиться о моих мальчиках, пока нас не будет?

– И ты боишься, что я упорхну и поставлю тебя в последнюю минуту в трудное положение?

– Откуда мне знать? – сказала Селия. – После этих разговоров о возвращении в Китай.

– Чтобы ты не беспокоилась, я поделюсь с тобой секретом: у меня пока и паспорта-то нет.

– Чем больше ты о себе сообщаем, тем хуже, кажется, я тебя знаю. Может быть – кто знает, – ты северокорейская шпионка?

Жуюй так редко смеялась, что теперь Селия повернулась к ней и несколько секунд смотрела, прежде чем перевести взгляд обратно на дорогу.

– Серьезно: у тебя китайское гражданство, или американское, или оба?

– Американское, – ответила Жуюй. – Могу, если хочешь, показать документы о натурализации.

Селия вздохнула, заезжая на маленькую парковочную площадку за магазином.

– Дело в том, – сказала она, поворачиваясь к Жуюй, – что странное у меня ощущение сейчас из-за того, что мы массу всего о тебе не знаем.

– Но почти все, безусловно, знают обо мне меньше вашего. А чего вы не знаете, того знать и не стоит, – промолвила Жуюй, вдруг проникшись меланхолией. Чтобы иметь лицо – чтобы тебя знали, – нужно «я», но, помимо этого, еще очень многое: некоторое количество людей, связанный нарратив изо дня в день, прослеживаемый маршрут от места к месту – все это нужно в дополнение к «я», чтобы иметь какое-никакое лицо. – Ну, огромное тебе спасибо, что подвезла, и скажи Эдвину, что я в восторге от

его кофе.

– Может быть, мне позвонить Ребекке и сказать, что ты неважно себя чувствуешь? – спросила Селия. – Выглядишь ужасно.

– Возможно, я что-то и подхватила, но ничего серьезного, все будет в порядке.

– Если понадобится еще поговорить, ты знаешь, я всегда готова, – сказала Селия. – И не думай, что я не заметила, что ты так ничего и не рассказала про умершую женщину.

– Может быть, в другой раз.

– Кстати, а почему бы тебе не прийти к нам ужинать в День благодарения?

– Но ведь будут твои родители, – сказала Жуюй.

– Тем больше смысла тебе прийти. В присутствии других гостей они безвредны. Эдвин, я думаю, будет счастлив, если найдется кому их отвлекать.

Жуюй посмотрела на Селию, испытывая странное чувство, что это последняя их встреча. Нет, разумеется, так не будет, подумала Жуюй и постаралась стряхнуть пессимистическую тень. В другой раз она под каким-нибудь предлогом отклонила бы приглашение, но сегодня, словно доказывая себе, что ничего еще не решено окончательно, она его приняла.

Мысль об отъезде, однако, начинала вырисовываться более определенно. Жуюй не видела особого смысла сопротивляться, как и семь лет назад, когда ей нужно было уйти из жизни Эрика и она сочла естественным отозваться на объявление о поиске няни. На следующий день она послала заявление на паспорт. Забронировала перелеты из Сан-Франциско в Пекин и обратно – обратно только потому, что в обе стороны оказалось дешевле, чем в одну. Дата возвращения, выбранная случайным образом, давала некое успокоение, как будто решение отказаться от теперешней жизни было обратимым; впрочем, эту иллюзию с легкостью рассеивала конкретность шагов к выходу: получение паспорта, удостоверяющего ее личность; проставление визы, относящей ее к разряду гостей в ее родной стране; выбор места в самолете (около иллюминатора) – все это было неотменяемо.

Хвосты, которых она не могла аккуратно подобрать, приходилось оставить как ее долги, главным образом Селии, чем подтверждалась ее, Селии, убежденность, что значимым для нас людям мы не только склонны порой лгать, но и становимся должны. Жуюй не могла загодя предупредить Ребекку, что хочет уволиться, но найти ей замену в магазине Ребекке труда не составит. Договор об аренде коттеджа придется нарушить, но Жуюй



заплатит за лишний месяц, и эти деньги, наряду с залогом, будут достаточной компенсацией для хозяев – друзей Селии, которые, может быть, и не будут торопиться снова сдать жилье. Женщины, которым Жуюй помогала, присматривая за их детьми или домашними питомцами, должны будут услышать новость уже от Селии, но ни одна из них не считает Жуюй незаменимой.

Однако Селия – и Эдвин тоже – принадлежали к другой категории; за их любопытство на ее счет, как и за их доброту, Жуюй не могла отплатить ни своим собственным любопытством, ни добротой. Она увидела их снова на ужине в День благодарения и по своей инициативе, не побуждаемая к тому Селией, взяла на себя роль слушательницы при ее родителях, которые пространно рассуждали о другой своей дочери, влиятельном юристе в Далласе. Вся на нервах, боявшаяся за каждую деталь, за каждый элемент ужина, Селия, когда родителям настала пора подняться в спальню для гостей, выглядела обессиленной. Пожилая пара, искусно похвалив вечер в целом и частностях, тем не менее, прежде чем устроиться на ночь, подпустила маленькую шпильку. Джейк, которому только что исполнилось шестнадцать и который получил водительские права, собирался уехать незадолго до полуночи и с несколькими друзьями поучаствовать в магазинной лихорадке по случаю Черной пятницы<sup>[9]</sup>; мать Селии, протягивая руку к перилам лестницы, добродушно усомнилась вслух, что такое приключение принесет Джейку пользу в плане поступления в Стэнфорд, после чего отец Селии, беря жену под локоть, чтобы идти с ней наверх, довольно хмыкнул.

– В точку, – промолвил Эдвин, когда пожилая пара уже не могла услышать.

Селия издала стон и налила себе выпить; затем спросила Эдвина, не присоединится ли он, и он тут же согласился. Он повернулся к Жуюй и предложил выпить с ними, хотя знал, что Жуюй не притрагивается к спиртному.

Она ответила отказом и добавила, что ей, пожалуй, пора. Эдвин поставил свой бокал.

– Я вас отвезу, – сказал он.

Жуюй сказала: нет, не надо; получилось немного резковато, и, смягчая тон, она посоветовала ему расслабиться и выпить с Селией. Если он уловил в голосе Жуюй неестественные нотки, то не показал этого. Селия, которая большую часть вечера следила за каждым движением родителей, теперь пребывала в каком-то оцепенении и, может быть, готова была к тому, чтобы ее оставили одну, хотя вообще-то это было последним, чего она хотела от

жизни.

– Думайте о Карибах как о награде за испытание, – сказала Жуюй в дверях, положив в сумочку дубликаты ключей от дома и от машины Селии. В промозглый вечер упоминание о предстоящей поездке было дуновением тропиков. Пара мигом приободрилась, как будто терпеть еще несколько дней родительского визита будет только их наружная оболочка.

Селия сказала, что оставит ей расписания всех занятий у сыновей, а Эдвин пообещал прислать фотографии. Жуюй, желая им отлично провести время и обнимая обоих на прощание, чувствовала себя мамой, притворно улыбающейся, чтобы дети ничего не заподозрили. В первом классе она видела в школе фильм – первый фильм в ее жизни, потому что хождение в кино тети-бабушки не одобряли, – о том, как плохо жилось людям при старой власти. В конце фильма мать, потерявшая работу на текстильной фабрике и вконец отчаявшаяся, дает последние несколько монет своим маленьким детям и велит купить на всех булку; вернувшись, они узнают, что она утопилась в реке.

Поглядывая на обратном пути к своему коттеджу в чужие незанавешенные окна, за которыми люди еще праздновали День благодарения, Жуюй ощущала позыв вернуться, попрощаться с Селией и Эдвином как следует. Ее самолет в Пекин будет готовиться к взлету примерно тогда же, когда они, прилетев обратно, будут садиться в Сан-Францисском международном аэропорту.

Но что она могла им сказать? Смелее, и будьте счастливы – вы, сироты при живых родителях, вы, родители будущих сирот.

Вопреки здравому смыслу Боян продолжал видеться с Сычжо. Он сознавал опасность такой настойчивости. Чего хочет мужчина, ухаживая за женщиной? С бывшей женой он верил в начало с чистого листа, в новый мир, куда каждый возьмет из своего отдельного прошлого только хорошее; он не понимал, что этим выбором отгородил часть своей жизни. Ошибка, свойственная возрасту; он мог винить себя только в том, что от развода бывшая жена пострадала сильнее, – но этого следовало ожидать, женщина всегда подвержена большему риску, чем мужчина.

Но что ему нужно от Сычжо? Бояну неясно было, что у них за отношения. Тихой дерзостью, испытующим взглядом на мир, не улыбающимся лицом она порой напоминала ему Жуюй, но у Сычжо было чувствительное сердце, она видела все в нравственном свете, она была склонна мечтать. Или он всего-навсего творил воображаемую личность, прививая некоторые качества Можань образу той, кому хотел отдать свою первую любовь? Боян отдавал себе отчет, до чего он нелеп, если это так; чего доброго, он превратится однажды в чокнутого старика из тех, что в каждом молодом женском лице ищут черты умершей жены или утраченной первой любимой.

Когда-то Боян думал, что влюбился в Жуюй, но теперь он понимал, что хотел тогда быть видимым ею, видимым не только сейчас, в эту секунду, но и вообще, и до, и после. Можно назвать это самомнением юности, но разве быть видимым – видимым как человек с прошлым и будущим – не искреннейший наш расчет в любви? Самый искренний и самый жадный: ища такой целостности, мы с заносчивым самообольщением помещаем себя вне разъедающего времени.

Но желание, чтобы его видела Сычжо, смущало Бояна еще больше: он разрывался, желая быть видимым ею в его мире, где он мог флиртовать с любовницей партнера по бизнесу (и допускал, чтобы флиртовали с Коко, все это считалось взаимно приемлемым), и в то же время не желая, чтобы Сычжо что-либо знала об этой стороне его жизни. Разумеется, он не мог в одиночку защитить ее от этого уже испорченного мира, к которому не питал отвращения – разве только когда он угрожал странной неотмирности Сычжо. В каком-то смысле Боян хотел от нее невозможного: чтобы она оставалась, какой была, оставалась единственной обительницей своей малопригодной для обитания среды, которую только он, искушенный

житель мира сего, имел бы право охранять – и, может быть, осквернить. Он хотел быть хорошим с ней и для нее, но хотел, чтобы только она знала его как хорошего человека. Если она заметит расхождение между его поведением и его намерениями, она должна понять это правильно, потому что, по его замыслу, ей надлежало видеть его не таким, какой он есть, а таким, каким он мог бы быть.

Эти мысли, не находя выхода – все его приятели были приспособленцы до мозга костей, – стали жить собственной жизнью. Если бы только он мог высказать эти смешные вещи вслух и таким образом от них отделаться: любая реакция – хоть понимание, хоть зубоскальство – была бы лучше, чем безмолвие. Боян был не из тех, кто привык к безмолвию.

Легкость, с какой Сычжо переносила это безмолвие, ставила его в тупик. Чем они были друг для друга – это она, казалось, считала либо не важным, либо решенным, хотя, если решенным, то он не знал, на каких условиях.

Не желая вводить Сычжо в мир своих приятелей и Коко, Боян должен был выделить для нее место в своей жизни. Это оказалось не так уж трудно: она любила старые районы города, иные из которых все последние тридцать лет обходили стороной и туристы, и застройщики. Все меньше и меньше таких мест, говорила Сычжо Бояну, как будто это не был его город с самого начала.

Раз в неделю – чаще по субботам, но иногда, если он не мог освободиться в субботу, в пятницу во второй половине дня – он вез ее в один из таких районов или в пригородное местечко, отставшее от времени. *Аутентичные* – так Сычжо называла эти уголки; услышь Боян это слово из других уст, он фыркнул бы, но Сычжо он его прощал: она была слишком юна, чтобы выработать иммунитет от лексикона своего времени.

У Сычжо был старый фотоаппарат «Сигалл» с пленкой типа 120 – древнее устройство: нужно было опускать взгляд на стеклышко, чтобы видеть изображение, нужно было фокусировать кадр, крутя то и это, и после каждого кадра поворотом рукоятки продвигать пленку. Боян помнил эти допотопные аппараты с детства, когда они были признаком совсем иного статуса, принадлежали тем, кто мог себе позволить какую-никакую роскошь. Глядя на свои вылазки с Сычжо глазами встречных, Боян видел их абсурдность: мужчина под сорок с залысинами паркует свой BMW в обшарпанном переулке, и молодая женщина фотографирует трещины в стенах и пыль, скопившуюся на выброшенной бамбуковой коляске. Он задавался вопросом, приходило ли Сычжо в голову, что каждый из них –

имитатор своего рода: он играет роль снисходительного кормильца и содержателя молодой женщины, а она, мало что имеющая, изображает ностальгическую душу в поисках давно утраченного времени.

Они не говорили во время этих прогулок ни на какую определенную тему – отчасти потому, что Сычжо постоянно надо было останавливаться и смотреть в видоискатель. Ей нравилось показывать ему то, что она находила: ржавый, покрытый паутиной велосипедный замок; старый призыв к коммунистическому Большому скачку, кое-как оттиснутый на кирпичной стене; киоск с сигаретами и газировкой, сооруженный из старого пикапа.

То, что ее интересовало, Боян не интересовало нисколько. Это были фрагменты его прошлого, не настолько отдаленного, чтобы они обрели в его глазах какую бы то ни было красоту. Но ему нравилось смотреть, как она залезает на перевернутую тачку или опускается на четвереньки, чтобы прочесть детское ругательство, вырезанное в углу двери, должно быть, лет пятьдесят назад. Его взгляд, если она чувствовала его на себе, смущал ее не настолько, чтобы она меняла свое поведение.

Порой ему хотелось попасть в ее видоискатель, но ему хватало осмотрительности не ставить себя в положение, опасное для статуса. Если он был «папиком», то наицеломудреннейшим: он не притронулся к девушке и пальцем. Он перестал называть себя ухажером, и перемена ее, похоже, не беспокоила. Было ли это для них обеих игрой? Оба проявляли терпение или, хуже, расчетливость; Боян предпочитал думать, что неопределенность со временем разрешится. Он никуда не спешил, ему скорее нравились эти еженедельные вылазки, не сопряженные ни с каким грузом ответственности – по крайней мере для него. Этот побочный проект – как еще он мог назвать происходящее? – сделал его более терпимым в отношении Коко: ее вульгарная прямота тоже могла действовать освежающе.

На что Боян не без тревоги обратил внимание – это что его мысли, когда он смотрел, как Сычжо фотографирует, часто обращались к Тете, к смерти Шаоай и к молчанию Жуюй и Можань. Он дважды заходил к Тете, но не настаивал, чтобы она, стойко старавшаяся показать, что со всем справляется в своей изолированной квартирке, делилась с ним чем-либо. Он заплатил за три лишних месяца женщине, приходившей при жизни Шаоай через день, чтобы Тетя могла выйти в магазин или просто подышать воздухом. Эта женщина среднего возраста, временно уволенная с государственного предприятия, оценила его щедрость, и у них с Тетей возникло что-то похожее на дружбу. Тете, он знал, поздно было заводить

совсем новые дружеские отношения или возобновлять старые, сошедшие на нет.

Ни от Жуюй, ни от Можань ничего не было. Сколько может стоить, подумал он однажды, нанять кого-то, чтобы их найти? Нет сомнений, что можно договориться с кем-нибудь недорогим в нью-йоркском или лос-анджелесском чайнатауне.

– О чем вы задумались? – спросила Сычжо, и Боян осознал, что он особенно тихий сегодня.

Они были около старой деревеньки, где среди высокой высохшей травы тянулись заброшенные рельсы. Декабрьское солнце опускалось за тополя, единичные неопавшие листья трепетали на ветру. Чуть раньше Сычжо сфотографировала половинку разорванного воздушного змея, застрявшую в ветвях; он даже пошутил насчет змея, благодаря которому они познакомились, но печали своей этим не развеял.

– Как быть хорошим, – ответил Боян.

– Вы хороший?

– Стараюсь быть.

Сычжо положила фотоаппарат в дерматиновый футляр, и Боян подал ей перчатки, которые держал, пока она манипулировала ручками и кнопками аппарата.

– То, что вы делаете для меня, – часть ваших стараний быть хорошим? – спросила она.

– Что я для вас делаю?

– Возите меня, носите мои перчатки, следите, чтобы никто меня не умыкнул...

– Хотите верьте, хотите нет, но для других я делаю гораздо больше, чем для вас.

– Если так, то вы уже, казалось бы, хороший человек?

Порой вопросы Сычжо звучали так, будто она с ним заигрывает. Он хотел, чтобы так оно и было.

– Боюсь, вам очень скучно здесь, – сказала Сычжо, не дождавшись от него ответа.

– Не столько скучно, сколько холодно, – ответил Боян. – Как насчет того, чтобы заехать перекусить? В десяти минутах отсюда есть одна закусочная, там сравнительно чисто.

– Откуда вы знаете?

– Я неплохо знаю этот район, – сказал Боян, но не стал добавлять, что помогал одному своему партнеру готовить сделку, которая превратила бы землю по соседству с деревней в место отдыха с виноградарским

хозяйством: виноделие было одним из новейших трендов. В последнюю минуту сделка сорвалась – и хорошо, что сорвалась. Бояну было бы жаль, если бы город еще один унылый участок уступил процветанию.

– Вы все места знаете, куда меня возите?

– Более или менее, – ответил Боян. – Я вообще стараюсь знать, что делаю.

– И что вы делаете сейчас?

– Получаю удовольствие от прогулки с вами.

– Но почему, если тут так холодно и скучно? Вам легко было бы найти способ веселее провести свободные часы.

– Если вы имеете в виду убить время – то да, у меня есть другие способы, но сегодняшнее я бы зря потраченным временем не назвал, – сказал Боян и открыл перед Сычжо дверь машины.

Пока он запускать двигатель, она сняла перчатки и поднесла руки к обогревателю.

– Не надо так делать, – сказал он. – Будет ознобление кожи.

Она странно посмотрела на него и, не говоря ни слова, опять надела перчатки.

– Что с вами? Я что-то не так сказал?

– Ни у кого сейчас не бывает ознобления кожи.

Боян задумался, так ли это. Он вспомнил зимы в начальной школе, когда у всех мальчиков были распухшие красные пальцы, и у иных девочек тоже, но у Можань – никогда. Всякий раз, как они входили в комнату, она напоминала Бояну, что не надо сразу идти к батарее, сначала нужно потереть руки как следует. Для любой проблемы у нее было решение, подумал Боян; всегда на месте, всегда, и считала до ста, прежде чем пустить его к батарее. Велика ли отрада, исходящая от хорошего человека вроде нее? Не так велика, как она думала, увы.

– Вы чем-то раздражены, – сказала Сычжо.

– Почему у детей сейчас не бывает ознобления? – спросил он.

– А зачем? В мире все довольно плохо и без ознобления.

Боян посмотрел на Сычжо, которая не смотрела ни на что, кроме кончиков своих пальцев в перчатках. Чем, подумалось ему, вызвано ее теперешнее настроение?

– В мире было бы хорошо, если бы нам не о чем было тревожиться, кроме озноблений, – сказал он.

– Тогда вы, должно быть, чувствуете себя хорошим человеком.

– Почему?

– Потому что ваша единственная забота сегодня по моему поводу – это

чтобы у меня не было ознобления.

– Откуда вы знаете, что единственная?

– Зачем мне хотеть это знать?

– Естественно для человека хотеть знать, что на уме у другого человека, – сказал Боян. – По крайней мере когда они находятся рядом.

– Естественно? – Сычжо показала на огромную ворону – она расправила крылья и запрыгала на другую сторону дороги, предпочитая посторониться, а не улететь. – Вот прекрасный пример того, что в этом городе нет ничего естественного.

– Откуда у вас такое неприятие?

– Разве птица не должна улетать, когда едет машина? – спросила Сычжо. Где-то она прочла, сказала она, что единственная эмоция, какую испытывают птицы, это страх.

– Может быть, вороны привыкли к машинам.

– То есть они больше не могут почувствовать страх? Ворон лишили их единственной эмоции?

Боян повернул на узкую боковую дорогу. Что-то, он чувствовал, пошло не так. Он мысленно вернулся к прогулке – Сычжо, фотографируя змея, выглядела спокойной и заинтересованной; когда они встретились днем, в ней не ощущалось никакой апатии. Почему его слова об озноблении не были восприняты как безобидное проявление внимания?

– Мне чудится, что вы не только птиц имеете в виду, но и что-то еще, – сказал он.

– Всегда есть что-то еще, разве нет?

Что он думал о ней (он даже начинать не хотел в этом разбираться) и что она думала о нем (у него не было никакой возможности это узнать) – эти вопросы сопутствовали им на прогулках; но они никогда не останавливались, чтобы бросить прямой взгляд на безмолвных сопровождающих.

– И что это за *что-то* в данном случае? – спросил Боян.

Сычжо смотрела вперед – машина приближалась к концу узкой дороги, где ее перегораживала металлическая цепь. По ту сторону цепи была открытая площадка. Боян просигналил, и кто-то выглянул в окно одноэтажного строения, а затем отпер дверь. Это был старый мужчина, чье лицо, пока он шел через площадку и когда говорил им, что закрыто, ничего не выражало.

– Как закрыто? – удивился Боян. – И пяти еще нет.

– Закрыто, – повторил старик и перевернул висевший на цепи картонный прямоугольник, чтобы они увидели надпись. Продано, гласила



она.

Боян наклонился с извинением перед Сычжо – она села прямее, чтобы он мог порыться в бардачке. В конце концов он нашел нужную полупустую пачку сигарет – у него лежало там три пачки разных сортов, из которых он брал в зависимости от того, с кем имел дело.

– Кому продано, папаша? – спросил он, протягивая старику сигарету.

Тот понюхал ее – она была самого дешевого сорта из трех – и кивнул сам себе.

– «Городскому океану», – сказал он.

«Городскому океану», повторил Боян мысленно.

– Случайно не «Столичному океану»? – спросил он.

Старик подтвердил: да, «Столичному». Боян задал еще несколько вопросов, от которых старик отмахнулся.

– С этим к сыну моему, – сказал он и пошел прочь.

Не разыгрывает ли дурачка, подумал Боян, но делать было нечего; он задним ходом двинулся обратно.

Они остановились у другого заведения в нескольких километрах по главной дороге. Когда официантка принесла меню, Сычжо сказала, что хочет только горячего чаю.

– Вы не простыли? – спросил Боян.

Ему уже раньше следовало постараться ее подбодрить, и он сделал бы это, если бы не узнал, что участок вокруг старой закусочной продан «Столичному океану». Скорее рассеянный, чем расстроенный, он заказал чайник чаю для Сычжо и пельмени с собой.

– Почему вы решили не есть? – спросила Сычжо. – Ведь говорили, что проголодались.

– Если вы неважно себя чувствуете, лучше будет вернуться в город как можно скорее, – ответил Боян.

– Или вам надо вернуться из-за каких-то дел и мое самочувствие – подходящий предлог?

– Я не работаю по субботам.

Официантка, женщина не молодая и не старая, принесла чай, и Сычжо спросила, можно ли заказать тушеное мясо по-деревенски из меню.

– Придется подождать, – ответила официантка, глядя на Бояна: несомненно, она понимала его роль. Он сказал, что у них масса времени.

– Я вижу, кое-кто сегодня в капризном настроении, – промолвил Боян, когда официантка ушла.

– И вы как хороший человек считаете нужным потакать каждому моему капризу?

– Вы наименее капризная женщина из всех, кого я встречал.  
– Значит, получили свою долю женских капризов? – спросила Сычжо. – От скольких женщин, интересно?

– Почему вы спрашиваете?

– Я не имею права проявить любопытство?

В ее глазах вызов смешивался с обреченностью; такого выражения он в них еще не видел. Возможно ли, что она, менее опытная из двоих, наконец сдалась – при том что он до сей поры боялся, что это произойдет с ним? Он ощутил прилив удовлетворения: до того момента не было ни малейшего признака, что он существует в ее мире не только как шофер и спутник во время прогулок, и ее выдержка забавляла и вместе с тем озадачивала его.

– Разумеется, вы имеете полное право проявлять любопытство, – сказал он, наливая ей чай. – Но я вот чего не понимаю: чем вас огорчило мое замечание про ознобление?

– Какая вам разница, будет у меня ознобление или нет?

– Вы прямо как маленькая.

– Я не понимаю, почему мы, неделя за неделей, встречаемся, чтобы погулять, садимся где-нибудь, говорим о пустяках, а потом исчезаем из жизни друг друга до следующего раза, как будто ничего не было. Вам не нравится, как я фотографирую. Вы можете веселее проводить свободное время. Почему вы балуете меня?

– У меня не было возможности видеть отпечатки снимков. Откуда вы знаете, что они мне не понравились бы?

– Вы бы попросили, будь вам интересно.

– А сейчас поздно уже попросить?

Сычжо посмотрела на Бояна, и он увидел смятение в ее глазах.

– Послушайте, – сказал он и посмотрел на ее руки на столе. Пришла мысль, не накрыть ли ее ладони своими, но он решил, что не надо. – Вы должны знать: вы мне нравитесь. Очень. Поэтому, как бы мы ни проводили с вами время, я в это время счастлив. – Или он зря сказал «счастлив»? Ведь он не особенно верит в счастье. – У меня ни разу не было ощущения, что эти прогулки вам неприятны, но, если это так, я, конечно, оставлю вас в покое.

– Я не говорила, что они мне неприятны, – сказала Сычжо.

– Тогда что вас огорчает?

– Я не знаю, кто мы друг для друга. Может быть, для вас это не проблема, но это неестественно.

– Что неестественного в дружбе?

– Мы не предназначены для того, чтобы дружить.

– Значит, мы должны быть либо любовниками, – Сычжо, он увидел, покраснела, – либо чужими друг другу? Третьего не дано? Почему нельзя просто питать искренние теплые чувства?

У Сычжо был нерешительный, загнанный вид, ее словно бы теснил его ум, более ясный, чем у нее, но что она могла, эта ясность, кроме как подтвердить расстояние между ними? Правда была в том, что, где бы они ни находились сейчас – нет, раньше, до того как она выложила на свет вопросы, которые задавали себе они оба, – дальнейшее будет хуже. Почему, подумал Боян устало, печально, люди не могут оставаться на таком месте, какому не в силах найти названия, почему они хотят знать больше, вечно хотят знать больше правды? Все приходит к концу, когда объясняется – верно или неверно.

– Можно я расскажу вам историю? – спросила Сычжо.

Не надо, закричало его сердце. Не рассказывай ее мне, я не тот, кому тебе стоит довериться. Делясь со мной своим секретом, ты либо будешь ждать, что я стану лелеять его как ценность, либо будешь рассчитывать на мою историю взамен. Неужели ты не видишь, что я обману твои ожидания в обоих случаях?

– Конечно, – сказал Боян. Рано или поздно кто-то из них должен был, он знал, сделать шаг, приводящий все в движение в ту или другую сторону. По крайней мере ему следовало радоваться, что не он первый утратил самообладание. – Расскажите, слушаю вас.

– Вы не хотите слушать на самом деле.

– Еще как хочу, – возразил Боян, отводя глаза от пристального взгляда Сычжо. Это будет концом того, что началось недолжным образом; не станет ли теперь легче и ему, и ей?

– Я знаю, что это неправда, но я не против сегодня, чтобы мне сказали неправду, – промолвила Сычжо. – Пора кончать с этой глупостью, пора перестать видеться каждую неделю и притворяться, что все прекрасно и нормально.

– Я не притворялся.

Сычжо проигнорировала эти слова, и в ее голосе, когда она заговорила, было что-то отчаянное. Не теряй равновесия из-за прошлого, хотел посоветовать девушке Боян; что сейчас для тебя трагедия, когда-нибудь вызовет у тебя смех.

В истории, как он и предполагал, фигурировали мальчик и девочка по имени Сычжо, и, несомненно, его ждала самая что ни на есть жалостная повесть о несчастной любви. Он готовился к моменту, когда от него что-то

потребуется – утешение, житейская мудрость, прощение.

Друзья детства, они, сказала Сычжо, были знакомы всю жизнь. Мальчик, который был на три месяца старше, взял на себя роль старшего брата – роль добытчика и защитника. Когда родители не могли накормить их досыта, были воробьи, убитые из рогатки, цикады, пойманные с помощью намазанной клеем бамбуковой палки, лягушки, ежи, кузнечики – все это запекалось в углях. Учеба мальчика не интересовала, и он рано бросил школу; тем не менее его называли сообразительным, но такая сообразительность, говорили взрослые, могла выйти ему боком. У ее родителей не было денег, чтобы удовлетворять ее нужду в книгах, и тогда он направил свой ум на воровство: выкапывал из земли медный кабель, таскал с упаковочной фабрики дикий женьшень и редкие сушеные грибы, крал по мелочи то, что люди оставляли без присмотра. Она не спрашивала, кому он все это носил, – в десять лет он уже был связан с воровским миром. Она не одобряла этих проступков, но и не отказывалась от его подарков. Когда она отправилась в Пекин учиться в колледже, он последовал за ней, бросив свой круг друзей в провинциальном городе – друзей, которые могли бы помочь ему наладить сносное существование. В Пекине он обитал без разрешения, перебивался случайными заработками и вел жизнь, которая не имела ничего общего с ее студенческой жизнью. Они встречались раз в месяц далеко от кампуса, гуляли, и всегда перед расставанием он вкладывал ей в руку конверт с деньгами и говорил, чтобы она покупала себе модную одежду, какую носят столичные девушки.

– Что вы об этом думаете? – спросила Сычжо, прервав рассказ.

– Думаю, что в каждом сердце есть могила, где похоронена первая любовь.

– Конечно, вы не видите в любви этого парня ничего особенного.

– Я этого не сказал. Да, он любил вас, но вопрос вот какой: вы-то его любили? Любите?

Сычжо странно на него посмотрела.

– Нельзя любить мертвого.

Боян почувствовал укол боли. Как, спросил он себя, ты можешь соперничать в борьбе за женское сердце с юношей, лежащим в могиле?

Продолжение повести было, казалось, взято из раздела городских новостей в вечерней газете. Одна из тех историй, где от молодого человека, не имеющего пекинской регистрации, город не получает ничего, кроме хаоса и опасности. Однажды ночью он проник в квартиру, которую снимали три молодые женщины. Они уехали праздновать лунный Новый год, но он не знал, что одна из них вернулась рано. В панике он ударил

женщину ножом и убил ее – журналистку, которой предстояло интервьюировать восходящую звезду в местной политике.

Казнь юноши, без сомнения, навсегда останется апофеозом трагедии, которую Сычжо, как она считала, могла предотвратить. Но у него – необразованного, без всяких связей и средств – в любом случае не было шансов в этом городе. Помимо поверхностного сожаления о загубленной жизни, Боян мало что почувствовал к молодому человеку. Всякую безвременную смерть можно назвать трагедией, но сколько трагедий ты готов в себя принять? Были и более прискорбные утраты: Шаоай, к примеру, двадцать один год запертая в собственном теле. Какой могла бы стать ее жизнь: блестящая карьера, удачная семья, влияние на жизнь многих людей, хорошее использование отпущенного ей на земле времени. Мог ли он объяснить Сычжо, что иногда смерть – благодеяние? Что порой лучше умереть, чем жить? В идеальном мире смерти полагалось бы заканчивать собой повесть, но в нашем мире, где приходится мириться с серединой на половинку, смерть никогда не завершает ничего аккуратно.

– Ваш друг допустил ошибку, – сказал Боян. – Которая, да, обошлась дорого. Но на вашем месте я бы не взваливал на себя лишнюю вину.

– Но вы – не я.

– Вы мало что могли изменить в его жизни.

– Могла хотя бы вселить в него веру, что у него есть шанс.

– На что? На вашу любовь или на сносную жизнь в этом городе?

– На что-нибудь из этого... – неуверенно сказала Сычжо. – Или и на то, и на другое.

– Но вы его не любили, вы сами знаете. И не могли устроить его на нормальную работу – это вы тоже знаете. Какой смысл сокрушаться о том, к чему вы непричастны? С ним все равно могла случиться такая же беда, и вы сидели бы тут и чувствовали себя виноватой в том, что лгали ему о своей любви.

У Сычжо был немного растерянный вид.

– Но он-то, я думаю, считал, что беда случилась с ним отчасти из-за меня.

– Он вам так сказал?

– Он постоянно спрашивал меня, почему я не нашла себе тут папика, как другие девушки.

Боян поморщился. То, что она так непринужденно произнесла слово *папик*, опечалило его.

– Он считал всех мужчин богаче и старше него своими врагами. И всех молодых мужчин, кому родители заранее купили квартиры в Пекине, кому

заранее обеспечены лучшие рабочие места, считал врагами. Но вы должны согласиться, что он не был неправ. Что у него было за душой, кроме желания чем-то подкрепить свою любовь?

У Бояна пробежал по спине холодок. Призрак юноши, почудилось, смотрит на него откуда-то, смотрит с ненавистью к обладателю того, о чем он сам не мог и мечтать.

– Он всегда говорил, что знает, как я поступлю, – сказала Сычжо. – Говорил, я продамсь за комфортабельную жизнь.

– Но вы не продались.

– Это не значит, что я не думала об этом, и не значит, что этого никогда не будет. Чем я тут занимаюсь с вами, как не играю с этой возможностью? Была бы я лучше, я бы сразу сказала вам «нет», потому что вы всем, что вы есть, доказываете его правоту.

– Почему не взглянуть на это иначе? Вы потому не сказали «нет», что я не предложил вам себя в покровители, в папики, мне не это нужно.

– Но как вы назовете то, что мы с вами делаем?

– Пытаемся получше узнать друг друга.

– Да? Мы именно этим занимаемся? И что, мы лучше сейчас друг друга знаем, чем месяц назад? – спросила Сычжо. – Или мы просто ходим вокруг да около, потому что получше узнать – это слишком для вас рискованно?

И вновь Бояна напугала отчаянность в ее тоне.

– А для вас не рискованно? – спросил он.

– Что мне терять?

Ее детский вызов обескуражил его. Он никогда не спрашивал себя, стоит ли она его усилий, потому что спросить значило бы признать, что это не игра. Он был убежден, что в любой момент может все это прекратить, но вот чего он, оказывается, не понимал: он, сам того не ведая, вверил ей – что? – вверил свою честь, спокойствие, даже надежду на некую жизнь с ней. Как ей объяснить, что ей есть что терять, и многое, не только свое, но и его тоже?

– Что, – произнес он не без труда, – я могу сделать, чтобы исправить положение?

– Вопрос не в том, что вы можете *сделать*, как вы не понимаете? – сказала Сычжо. – Вопрос в том, что вы за человек, но я не знаю, кто вы и что вы. Иногда я думаю: может быть, это моя ошибка, что я не выбрала ничего определенного? Если бы я решила быть практичной, если бы повела себя так, как некоторые мои однокурсницы в первый же год, то мой друг, может быть, потерял бы надежду в этом городе и уехал бы. Почему я на это

не пошла? Думала, что заслуживаю чистой любви, в то время как другие девушки вроде меня посмотрели на вещи трезво? Но если я не хотела продаваться, я должна была быть сильнее. Должна была верить в наше будущее с ним здесь, как бы трудно ни было; должна была в обмен на его подарки...

Сычжо не договорила. Приблизилась официантка с дымящимся горшком, но остановилась в паре шагов, не зная, подходящий ли момент. Сычжо с горящим лицом смотрела в сторону, и Боян жестом подозвал официантку. Она наполнила две миски и пожелала гостям приятного аппетита. Но перед тем, как она отвернулась, Боян успел заметить на лице женщины средних лет легкую усмешку.

– Поешьте горячего, – сказал Боян.

Сычжо не сделала даже движения в сторону еды.

– Перед тем, как мы сегодня встретились, я думала, что нам надо прекратить этот идиотизм.

– Зря вы называете это идиотизмом. По-моему, когда два человека стараются узнать друг друга получше, это самое разумное, что может быть.

– Ничего не выйдет.

– Неизвестно, попытка не пытка.

Сычжо посмотрела на него горестно.

– Знаете, что единственное может оправдать меня? Полюбить вас, и чтобы вы полюбили меня – нет, не именно вы, любой, у кого положение лучше, чем у моего друга. Только любовь может меня оправдать, понимаете? Если бы только я могла доказать ему, что мужчина богаче и старше него способен любить, как он, – понимаете или нет?

Способен ли он – способен ли кто-нибудь – любить, как юноша, которого уже нет?

– У вас на лице сомнение. И правильно. Вы не чувствуете, что вам это по плечу, да и нечестно, пожалуй, даже просить вас пытаться, потому что вы все время подозревали бы, что я сравниваю вас с ним – или что я вас использую. Иногда мне приходило в голову, что лучше было бы найти другого парня вроде него, ничего не имеющего, и мы бы поддерживали друг друга в нашей борьбе. Вы смеетесь, и правильно делаете: звучит благородно, но далеко мы бы не продвинулись. Да, я знаю, но не поэтому я не встречаюсь ни с кем вроде него... – Сычжо смотрела Бояну в глаза, слезы, которые она до этого сдерживала, теперь текли беспрепятственно, – ...а вот почему: если бы я смогла устроить жизнь с кем-то *вроде* него, то почему не с ним?

Сычжо резко встала и сказала, что сейчас вернется. На мгновение Боян

забеспокоился, что она уйдет одна, – он легко мог представить себе, как она выскальзывает из ресторана, идет к ближайшей автобусной остановке, спрашивает у прохожего про расписание, играет в прятки, когда он отправляется ее искать. Но поддаться панике значило бы утратить контроль над ситуацией. Чтобы отвлечься, он вынул телефон и стал смотреть, не было ли чего-нибудь за последние несколько часов.

Его ждало электронное письмо от Жуюй – оно пришло на его основной адрес, и только потом он сообразил, что найти, куда написать, ей было нетрудно. Он зарегистрировался, указав этот адрес, в нескольких социальных сетях, и у него был связанный с почтой микроблог.

Письмо было коротким: Жуюй сообщила адрес отеля и номер телефона и написала, что хотела бы встретиться. Ни слова о том, как долго она пробудет и когда ей было бы удобно.

У Бояна вспотели ладони. Разумнее всего позвонить сейчас, хотя Сычжо может вернуться в любую секунду. Он обернулся и жестом подозвал официантку.

– Вам в контейнеры, возьмете с собой? – спросила она, глядя на нетронутую еду.

– Нет, просто счет.

Официантка окинула его взглядом, говорившим: я так и знала. Идя к стойке, она с нескрываемым интересом посмотрела на Сычжо, которая вышла из дамской комнаты со слегка распухшими глазами. Повидав множество посетителей, подумал Боян, официантка должна была найти способ зарабатывать мысленно очки, показывающие ее превосходство над ними, моральное или какое еще; но не занимаемся ли мы все чем-то подобным?

– Я попросил счет – вы не против? – промолвил он, когда Сычжо села.

Она покачала головой и сказала, что готова уйти.

Обратно он ехал быстрее обычного, сигналижая неторопливым водителям и отпуская неслышные ругательства в адрес грузовиков. Он знал, что Сычжо смотрит на него критически, и в голове мелькал вопрос, не поймет ли она его поведение превратно, – хотя какое это имело значение сейчас? На подъезде к городу транспорт пополз с черепашьей скоростью, и Боян невольно то и дело наваливался грудью на руль и присоединялся к хору гудков. Когда это произошло в четвертый раз, Сычжо посмотрела на него прохладным взглядом и спросила:

– Вам кажется, это что-нибудь изменит?

– Я так делаю не для того, чтобы изменить что-нибудь.

– Жалоба?



– Протест.  
– Какая между ними разница?  
– Протестуя, чувствуешь себя более достойным человеком, – сказал он. – Хотя, по мне, большой разницы нет.  
– Вы часто протестуете?  
– Нет, – ответил он. – Редко вижу смысл.  
– А какой смысл сегодня?  
Он повернулся к ней.  
– Что вы имеете в виду?  
– Похоже, что-то из нашего разговора настроило вас на протест. Что именно? Я перешла границу и поделилась слишком многим? Разочаровала вас, потому что перестала играть в вашу игру?

Он вздохнул.

– Я ни во что с вами не играю.

– Откуда мне знать?

Откуда человеку знать что-либо про другого человека? Грифельная доска внутри нас, которая и вначале не так велика, как нам хотелось бы, уменьшается с обретением того, что мы называем опытом. Все, что мы на нее наносим, должно по идее поддаваться стиранию, одна страсть уступать место другой, одни отношения заменяться другими, такими же неустойчивыми. Снова и снова мы лжем себе, говоря, что начинаем с чистой доски, но, как бы прилежно мы ни орудовали губкой, остаются разводы: страхи, недоверие, необходимость без конца ставить под вопрос мотивы, которыми руководствуются другие.

Позже, сидя в вестибюле отеля, Боян пытался думать о Сычжо; мысли о состоянии отношений с ней в ближайшее время – на следующий день, на следующей неделе – давали ему, пока он ждал Жуюй, точку опоры. Сычжо, когда он высаживал ее, была молчалива; он пообещал вскоре позвонить. Надо будет что-то ей сказать при следующей встрече – но что? Она поставила ему ультиматум; раскрыв перед ним свое прошлое, потребовала от него некой честности, какую он не находил в себе.

Он посмотрел на часы – десять минут восьмого, такая задержка еще не означает опоздания, но что если Жуюй передумала и вовсе не появится? Он достал платок и вытер лоб. Мелькнула мысль, не подойти ли к администратору, не заявить ли о себе, но это значило бы выказать нетерпение и, хуже, проявить неверие во встречу. Он клал ногу на ногу, снимал, клал снова. Это, говорил он себе, не первое свидание, не какое-нибудь там недозволенное randevu.

Дверь лифта открылась и выпустила, наряду с другими постояльцами,

Жуюй. Он узнал ее сразу. Фигура уже не девическая, но по-прежнему стройная; лицо спокойное, чуть ли не умиротворенное. Он пожелал, вопреки логике, чтобы она была вместе с кем-то из постояльцев и ушла с ним, но все быстро двинулись в разные стороны, оставив ее одну; она встретила с Бояном глазами, но не приближалась. Он встал и сделал несколько шагов вперед. Не находя ни уместного жеста, ни верных слов для приветствия, он вновь почувствовал себя застигнутым врасплох, не готовым.

– Ну вот, – сказал он наконец.

Жуюй рассматривала его без всякой уклончивости.

– Наверное, ты знаешь какое-нибудь тихое место недалеко, где можно посидеть и поговорить?

Конечно, сказал он и добавил, что забронировал отдельный кабинет в ресторане поблизости.

– Он в сычуаньском стиле. Не знаю, ешь ли ты острую пищу, но там и неострые блюда есть неплохие. Только перейти через улицу, и там вполне чисто. Но если ты предпочитаешь что-то другое, можно найти еще какое-нибудь место.

Она сказала, что звучит заманчиво, и он повел ее. Оба молчали, пока их не провели в забронированную комнату со стеклянной дверью, на которой красовалась надпись «Рейтер» и которая была полупрозрачным зеркалом, позволяющим тем, кто сидит внутри, видеть общий зал ресторана, а самим оставаться невидимыми. Жуюй указала ему на все это и спросила, не собираются ли тут иностранные корреспонденты; он ответил: нет, вряд ли, это просто такое название. В ресторане имелись и другие подобные комнаты: «Си-эн-эн», «Би-би-си», «Франс Пресс». А «Синьхуа»? – спросила она, и он сказал: нет, никто не хочет есть в комнате, названной в честь агентства новостей, которому нельзя доверять. Жуюй заметила, что не считает иностранные агентства более достойными доверия.

– Все они одинаковы, – сказала она.

– Такого быть не может, – возразил он.

– Одинаковы, как одинаковы люди, – сказала она. – Ты бы стал искать за границей хорошего человека, если бы не мог найти его дома?

– Для тебя это, возможно, и так, но мало кто повидал мир, как ты. Ты должна позволить людям надеяться на лучшее.

Официантка принесла чай и начала перечислять субботние фирменные блюда. Боян прервал ее и попросил оставить им меню и подождать за дверью. Официантка с готовностью ретировалась.

Сквозь стекло Жуюй смотрела на официантку, вставшую у двери.

– Я не так много повидала, как ты думаешь, – сказала она, обратившись к Бояну. – Я не вижу в этом смысла, так что ничего страшного. Но ты-то как, что за жизнь у тебя сейчас? Мгновенно отменить то, что было намечено на субботний вечер, – у тебя, видимо, хорошее положение, раз ты смог так поступить.

В ее словах был какой-то подтекст, которого он не мог толком понять, – или, возможно, он просто забыл, что ей всегда, казалось, нужно было больше, чем только ответ.

– Не может быть ничего важнее, чем встреча с тобой, – сказал он.

– Почему?

– Ты не часто бываешь в этом городе. Или не даешь мне о себе знать.

– Вот я дала о себе знать и дала себя увидеть. Что теперь? Можешь поставить галочку и ехать домой к жене и ребенку, так?

– У меня, к твоему сведению, нет ни жены, ни ребенка.

– Почему? Разве это не минус для мужчины твоего возраста? Или ты предпочитаешь свободу бриллиантового холостяка?

– Я был женат. Брак не удался.

– И больше пытаться не хочешь?

– Обжегшись на молоке, дуешь на воду, – сказал он и на миг почувствовал себя виноватым перед бывшей женой. Впрочем, ведь это она ему изменила – что худого в том, чтобы сейчас изобразить себя жертвой? – А ты? Ты приехала сюда одна?

– Ты получил повод спросить меня в ответ о моей личной жизни – что ж, справедливо, – сказала Жуюй. – У меня было два брака. Оба, разумеется, не удались, как ты вполне можешь себе представить.

– Не в силах представить.

– Что у меня могло быть не одно, а целых два неудачных замужества?

– Что ты вообще была замужем.

– Но ты же знал, что я ушла из университета, чтобы выйти замуж.

– Ты ушла из университета, чтобы уехать в Америку, – вот как я это расценивал, – сказал Боян. – Тот брак я не считаю настоящим. А второй – он был лучше?.. Не такой, как первый?

Она покачала головой.

– Такой же бессмысленный.

– Зачем тогда вообще было выходить замуж?

– А почему нет? Ты ведь женился.

– Мой брак был настоящий, – сказал он. По крайней мере какое-то время, по крайней мере он предпочитал так думать.

Жуюй улыбнулась. Это, похоже, было в ней новое; Бояну пришло в голову, что он никогда не видел ее улыбающейся.

– Я не могу, конечно, оправдывать свои замужества. Лучше бы не использовать брак для решения проблем – но бывают трудности практического свойства. А я не очень хорошо умею их преодолевать.

– И что же, браки по расчету были единственным выходом? – спросил Боян и почувствовал, что прозвучало язвительней, чем он хотел. Сычжо сказала бы – продаться.

– Не единственным, разумеется.

– Но самым простым?

– Давай не будем ввязываться в эти обсуждения, – сказала Жуюй. – Я приехала не для того, чтобы обсуждать с тобой свои замужества, и, безусловно, я мало что могу сказать о твоём браке.

– Для чего ты приехала?

– Повидаться с тобой, конечно.

– И только?

– С кем же еще? Больше мне и не с кем встречаться в этой стране.

– А твои тети-бабушки? Они... существуют?

– Ушли к своему Богу.

– Когда это случилось?

– То ли девять, то ли десять лет назад, – сказала Жуюй. – Не надо смотреть на меня так. Я знаю, какой неблагодарной тебе кажусь. Мне, должна заметить, сообщали уже постфактум. Нет, я не приехала ни на одни, ни на другие похороны.

– Типичное для тебя поведение.

Жуюй открыла было рот, словно хотела ответить, но затем великодушно улыбнулась. Боян извинился за недружелюбный тон.

– Не надо извиняться, – сказала она. – Я ровно такая бессердечная, какой все меня считают. Хотя, если бы я приехала к тетям, им это не понравилось бы. Они ведь отреклись от меня, когда я вышла замуж, чтобы уехать.

– Почему?

– Я оказалась не такой, как они хотели, и к тому же они узнали, что их младший брат жив-здоров на Тайване, что у него большая семья – дети, внуки. Так что все удачно.

– Для кого?

– Для них, да и для меня тоже, – сказала она. – Да, они растили меня не для того, чтобы я стала чьей-то женой, и не для того, чтобы восставала против Божьей воли, говоря о самоубийстве. Но, с другой стороны, они

неожиданно нашли брата, так что, думаю, под конец они были вполне счастливы. Может быть, их Бог увидел, какие жертвы они принесли, пока растили меня, и даровал им кое-что получше, чем я. Кто знает? Может быть, они сказали друг другу, что у Бога другие планы на мой счет и правильное всего им будет умыть руки.

Боян поерзал. Когда-то он очень хотел расспросить Жуюй про ее тетя-бабушек, но он был тогда очень юн и не нашел в себе то ли храбрости, то ли нужных слов, а теперь эти женщины были всего лишь эпизодом ее жизни, двумя именами. А если спросить о бывших мужьях – пожмет плечами и скажет, что не может сообщить ничего интересного? Что, все в ее жизни обречены на такой финал? Он сам разве не в таком же положении? Он яростно запротестовал: нет, она не приехала бы повидаться с ним, если бы он уже превратился в окаменелость.

– Тебе, похоже, не по себе, – сказала Жуюй. – Давай что-нибудь закажем, а то несчастная девушка весь вечер там простоит.

Он проигнорировал ее предложение.

– Ты... любила их?

– Теть-бабушек?

– Да, – сказал он. – Они тебя любили?

– Боюсь, они не были на это способны. Не думаю, что они любили меня больше, чем поросенка, которого растят для жертвоприношения. Что, по-твоему, я к ним несправедлива? Ладно, беру эти слова обратно. Может быть, они любили меня на свой непонятный мне лад. Что касается меня, я не имела, кроме них, другой семьи, но они не так меня воспитали, чтобы любить их или еще кого-либо из смертных.

– Трудное, должно быть, положение.

– Я бы сказала – лучшего положения ни для кого и быть не может.

– Ты правда так думаешь? – спросил Боян, глядя ей в глаза.

Она не отвела взгляда.

– По крайней мере хочу в это верить.

– Тебе не приходило в голову, что это неестественно?

*Неестественно* – слово из лексикона Сычжо, но что он мог призвать себе на помощь, как не ее молодое своеволие?

– В моей жизни, – сказала Жуюй, – нет ничего естественного.

– И в возвращении сюда? – спросил он.

– По правде говоря – хочешь верь, хочешь нет, – возвращение сюда кажется мне самым естественным, что со мной было.

– Ты приехала из-за смерти сестры Шаоай?

На мгновение взгляд Жуюй сделался странно рассредоточенным.

– Нет, – сказала она. – Тогда я приехала бы раньше, к погребению.  
– Урна с ее прахом еще не похоронена.  
– Почему?  
– Не знаю. Видимо, Тетя еще не готова.  
– Как она?  
– Могу свозить тебя к ней сегодня, – сказал он. – Или завтра. Или когда угодно.

– Я думаю, нам пора уже заказать, – сказала Жуюй и, наклонившись, постучала по стеклу.

Официантка тут же вошла. Жуюй, не спрашивая Бояна ни о чем, заказала еду на двоих.

– Почему ты поменяла тему? – спросил Боян, глядя, как за официанткой закрывается дверь. – Не захотела слушать, как Тетя мучилась все эти годы?

– Я не видела в этом мире никого, кто не мучился бы, – сказала Жуюй.

– Не слишком сердечные слова, – заметил Боян.

– Но верные. Ты подразумеваешь, что я ответственна за Тетины мучения и мне должно быть совестно. Но дело в том, что, если бы не эти мучения, были бы другие. Если бы Шаоай не заболела, Тете все равно было бы плохо из-за нее.

– Шаоай не заболела. Ее отравили.

Жуюй молчала с застывшим лицом – такое лицо было Бояну лучше знакомо.

– Что? Тебе не нравится, что я напомнил про этот факт?

Жуюй обратила взгляд на Бояна, и впервые ее облик выразил смущение.

– Каких слов ты от меня ждешь?

– Это ты отравила Шаоай?

– Это все, что ты хочешь знать?

– Я бы сказал – это все хотели знать, – промолвил Боян. – Я хотел знать постоянно и теперь хочу.

– Кто – все?

– Я, мои родители, Тетя, Дядя, соседи.

– И Можань?

Боян уже некоторое время задавался вопросом, когда и как это произойдет, – сам он упомянуть Можань не отваживался.

– Думаю, она тоже хотела бы знать, – сказал он.

– Как она сейчас? Где она?

– Не знаю.

– Ты не поддерживаешь с ней связь?

– Ровно такую же, как с тобой, но от нее ни разу ничего не было.

– Тебе не любопытно, как она? А ее родители живы?

– Да, но я никогда их про нее не спрашивал. Не один год прошел с нашего с ними последнего разговора.

– Почему так?

– Она имеет право держаться в стороне.

Жукой улыбнулась.

– Печально для нее.

– Почему?

– Если бы она значила для тебя больше, ты бы ее нашел, – сказала Жукой. – Мы не в таком мире живем, где человек может вечно прятаться.

– Возможно, у меня есть причины не искать ее.

– Потому-то мне за нее и печально.

– Почему?

– Ведь она была по уши в тебя влюблена, разве не так?

– Подростковая влюбленность – дело обычное. Но это не причина, чтобы я оставался в ее мире, – сказал Боян.

– Помню, Шаоай однажды сказала, что Можань еще дитя, – промолвила Жукой, и ее лицо затуманилось. – Бедное дитя.

– Что ты имеешь в виду?

– Она и правда была дитя, когда мы с ней общались, ты согласен? – сказала Жукой. – Я постоянно чувствую себя виноватой из-за всего, что с ней произошло.

– Только перед ней? – спросил Боян, вдруг разгневавшись. – А я разве не был дитя? Ради всего святого, Шаоай было только двадцать два. Разве она еще не была дитя в каком-то смысле?

Жукой смотрела на Бояна так, будто его злость ее позабавила.

– Ну ты-то не делай вид, что твоя жизнь погублена. Мне кажется, ты не так уж пострадал – я права?

Ему хотелось возразить. Хотелось сказать о годах, прожитых в заботах о Шаоай, о том, как ей у него на глазах становилось все хуже, как он скрывал ее от жены и друзей, как разделил свою жизнь на две части, ни одна из которых не была вполне реальна. Но, что бы он ни сказал, это лишь позабавило бы Жукой еще больше.

– Ведь это ты отравила Шаоай, не так ли? – спросил он. У него было только это оружие.

– Я не намеревалась ее убить, – сказала Жукой. – И недоубить ее, чтобы она осталась как обуза для тебя и других, я не намеревалась тоже.

Впрочем, верно ли то, что я сейчас произнесла? Пожалуй, нет, не вполне верно ни первое, ни второе. Я даже не знала, хочется ли мне, чтобы она выпила эту отраву. Она выпила до того, как я приняла решение.

– Не понимаю.

– Если в комнате, которую она делит с другим человеком, стоит чашка с апельсиновым соком, она полагает, что имеет на эту чашку право. Почему она меня не спросила, хочу ли я? Она все считала своим.

– Значит, ты танг использовала, – сказал он. – У меня была такая мысль.

Дверь открылась толчком, и официантка вкатила на тележке их ужин. Боян оглядел тарелки; второй раз за день, подумалось ему, он заплатит за еду, но не притронется к ней. Жуюй жестом пригласила его к трапезе, но он покачал головой.

– Сюда я яд не клала, – сказала она с улыбкой.

Бояна потянуло ударить ее, заставить раскаяться – нет, больше: заставить плакать, сделать ей больно, нанести незаживающую рану.

– Ну же, вперед, – промолвила Жуюй, спокойно наблюдая за ним. – Если тебе от этого полегчает – давай.

– Что давай?

– У тебя такое лицо, словно хочешь меня стукнуть.

У Бояна защемило в груди. Где бы они ни встречались в жизни – это все та же несокрушимая Жуюй. Не была ли его школьная любовь к ней желанием ослабить ее, сделать так, чтобы она нуждалась в нем? Его теперешнее желание причинить ей боль – это что, единственный доступный ему способ любить ее?

– Я не бью женщин, – проговорил он.

– А может быть, убить меня хочешь, – сказала Жуюй. – Что ж, это тоже можно понять.

– С чего бы мне хотеть твоей смерти?

– Это способ меня сломать, – сказала она. – Способов не так много. Будь я по-настоящему убийцей – нет, я не оправдываю себя никоим образом, но говорю абсолютно честно: с Шаоай это отчасти была случайность из-за моей нерешительности, – будь я по-настоящему убийцей, я бы выискала кого-нибудь вроде меня. Шаоай была не тот человек. Да, я презирала ее, и мне было ее жалко, но ты должен понимать: ни то, ни другое – еще не причина, чтобы убить человека.

– Ты хочешь сказать, что замышляла самоубийство? Ты использовала это тогда как отмазку.

– Можешь назвать это ложью. Я никогда не была склонна к



самоубийству. Это либо есть в тебе, либо нет, – сказала Жуюй. – Во мне нет. Я одно хочу сказать: я действовала бы куда жестче, если бы нашла кого-нибудь вроде меня.

– Ты нашла хоть раз такого человека?

– Люди, как правило, добрее, чем я, – сказала Жуюй.

– Тебя никогда совесть не мучила?

– Из-за чего?

– Из-за Шаоай, – ответил Боян.

И из-за Можань, и из-за него самого, из-за всех, по кому это ударило.

– Я хотела одного: чтобы ко мне не лезли. Если я приготовила ядовитое питье и оставила на своем письменном столе – не лезьте, это мое дело, – сказала Жуюй. – Шаоай, как и очень многие, не умела не лезть в чужие дела, и в этом была ее проблема.

– Да, она могла быть бесцеремонной. Могла вести себя не по-дружески. Но разве этого достаточно, чтобы претерпеть такие страдания?

Жуюй помолчала.

– Это, скажу так, было ее невезение.

– В тебе есть сердце? Ты способна испытывать сожаление?

– Назови мне хоть одного человека, которому было бы лучше, имей я сердце.

Боян всмотрелся в Жуюй. Ее взгляд, ясный, искренний, без малейшей враждебности, мог быть взглядом самого невинного из людей.

– Тебе было бы легче, если бы я солгала, что испытываю некоторое сожаление? – мягко спросила Жуюй.

– Не знаю.

– Так я и думала, – сказала Жуюй. – Нет, ничего нельзя изменить. Ты предложил мне зайти к Тете. Думаешь, мой визит даст ей что-нибудь хорошее? Вряд ли. Чего люди заслуживают – это спокойствия, а я, боюсь, могу только лишать их его.

– Тогда зачем ты вернулась и нашла меня? Я не заслуживаю спокойствия?

– А ты бы предпочел, чтобы я не приезжала? – Голос Жуюй стал тише. – Ты уже обрел спокойствие? Я нарушила его своим приездом?

Боян покачал головой. Спокойствие, он знал, было последним, чего ему хотелось сейчас.

– Хорошая история, Можань, – сказал Йозеф.

– Но?

Он вздохнул.

– Очень хорошая история, – сказал он. – Романтическая. Меланхолическая. Но это не подлинная история.

Они сидели на скамейке у озера. Аномальное потепление сбilo с толку все деревья и прочую растительность, и начали распускаться бутоны. Погодите, еще снег будет, предостерегали люди друг друга, как будто им нужно было, еще не расставшись с надеждой, напоминать себе, что она долго не проживет. Но нарциссы и тюльпаны не внимали предостережениям. Нет смысла ждать, нет неподходящих моментов.

– Разве это важно? – спросила Можань.

Она рассказала Йозефу про Грацию, про ее детство в Италии, про ее холодную смерть – слишком раннюю, слишком тихую – в Швейцарии. Ей нравилось описывать Йозефу подробности: кукол, которых смастерила для Грации няня; лицо ее гувернантки-француженки, маленькое и в форме сердца; музыканта-немца, приходившего в дом учить ее на пианино и заканчивавшего каждый визит глубоким поклоном. В последующие дни и недели она расскажет Йозефу и другие истории: про парижского сапожника, про баварского пастуха, про русскую служанку, которая едет в карете со своей госпожой в Баден-Баден.

– Мне нравятся эти истории, – сказала она.

– Мне тоже, но мне понравилось бы еще больше, если бы ты рассказала мне кое-что другое.

– Что?

– То, чего я о тебе не знаю. Про твоих родителей, например. Про твои путешествия с ними.

Когда они поженились, она сказала ему, что родителям трудно поехать в Америку из-за проблем с визой: отец работает в министерстве. Потом – она еще была замужем – случился теракт 11 сентября, и с поездками в Штаты стало еще сложнее. Она не хочет, объяснила она Йозефу, чтобы ее родители подвергались жестким проверкам и досмотрам. Йозеф принял ее доводы: казалось, впереди еще масса времени.

– Я так мало что могу про них сказать...

– Мне что-то в это не верится, – мягко возразил Йозеф.

Можань подумала и начала рассказывать про свой тур с родителями по Центральной Европе. В старой части Загреба уличный музыкант играл на аккордеоне советскую мелодию, ее родители подошли и стали подпевать, отец по-русски, мать по-китайски, а музыкант пел на своем языке, которого никто из них не понимал. «Подмосковные вечера», сказала Можань Йозефу: романтическая песня, которую ее родители пели в ранней молодости.

Йозеф ждал продолжения, и Можань улыбнулась извиняющейся улыбкой.

– Не получается, – сказала она. – Не могу сочинить хорошую историю о реальных людях.

– Я не просил тебя ничего сочинять.

– Но я больше себе нравлюсь, когда сочиняю, – сказала Можань.

Это были не ее истории. Это были истории из другого времени и о других людях, но то, что она некогда в этих историях нашла, – избавление, уход от чего-то – могло бы стать в итоге ее мудростью. Может быть, Йозеф, если эти истории у нее не иссякнут, когда-нибудь простит ей ее упрямство, простит, что она выбрала одиночество: добрее одиночества, он неизменно тут, в ее распоряжении.

Пасмурным днем в конце марта Сычжо стояла перед магазином и смотрела на пару ласточек, поправляющую свое гнездо под карнизом. Ласточки – моногамные птицы, вспомнилось ей прочитанное где-то, и пара возвращается в старое гнездо год за годом.

Упрямые создания, подумала она. Зачем прилетать обратно в этот загаженный город, когда наверняка есть лучшие места – более свежий воздух, более синее небо – для их потомства? Что ж, по крайней мере они привязаны к старому жилищу. Сама она выросла не здесь, она мало на что могла тут притязать; и все же она не хотела сниматься с места, старалась сделать этот недобрый город своим домом.

Приблизилась какая-то пара. Сычжо повернулась, и ее лицо побледнело, но совсем ненадолго; она быстро пришла в себя. Боян и женщина его возраста остановились в нескольких шагах, оба пристально смотрели на Сычжо.

– У вас закрыто сегодня? – спросил Боян.

– Нет, открыто, – сказала Сычжо.

Несколько месяцев назад, после того, как они не поели в сельском ресторанчике, она прислала ему эсэмэску. Она решила, говорилось в ней, что лучше им больше не встречаться. Она думала, он позвонит или заедет, попробует ее переубедить, и была разочарована, получив краткий ответ: «Согласен». Она отказывалась признать, что чувствует себя обиженной, но сейчас, глядя на него, ощутила, что похолодели пальцы.

Боян представил ей спутницу: Жуюй, его старая знакомая, она жила в Америке, а теперь вернулась и хочет тут обосноваться. Они прогулялись, сказал он, вокруг Заднего моря, и он решил привести ее сюда – может быть, здесь есть новая экспозиция?

Есть, ответила Сычжо, и пригласила их в магазин. Указала Бояну и его спутнице на коллекцию малюсеньких хрустальных вазочек с изображенными внутри миниатюрными бабочками и орхидеями. Экскурсию предлагать не стала, и они не попросили о ней. По тому, как они шли вместе, Сычжо видела, что отношения у них, вероятно, близкие. Если она и занимала раньше какое-либо место в сердце Бояна, теперь, она понимала, это уже не так.

Они пробыли в магазине недолго, и перед уходом женщина заглянула Сычжо в глаза и пожелала ей удачи. Почему, думала Сычжо, оставшись

одна; для чего ей удача? Она не знала, что Боян, говоря про нее с этой женщиной, признался, что мог полюбить ее, мог принять ее в свою жизнь.

– Теперь уже нет? – спросила Жуюй.

– Теперь, когда ты вернулась, все иначе, – ответил Боян.

Из любопытства Жуюй попросила показать ей девушку, а потом они шли берегом пруда и больше молчали. Лицо девушки еще вернется к ним в будущем: каждому из нас порой являются какие-то лица из минувшего – бывшая любовь, утраченный друг, мы сами в прошлые времена, когда мы не знали, что наши лица могут, в свой черед, откладываться в чужих сердцах.

Было умно с его стороны, сказала в конце концов Жуюй, не влюбиться в эту девушку. Девушка заслуживает более счастливой жизни, и он правильно сделал, что отступился.

## Благодарность

Я благодарна Крессиде Лейшон, Саре Чалфант, Джин Ау, Кейт Медине и Андрису Скуя за поддержку, Моне Симпсон и Тому Друри за чтение рукописи.

Этот роман не был бы написан без Бриджид Хьюз и Эми Лич.

---

notes

## Примечания

Сестра, брат – часть вежливого обращения (не только к родственникам). *(Здесь и далее – прим. перев.)*



«Голден стейт уорриорз» – американская баскетбольная команда НБА из Окленда, Калифорния.

Сладкая жизнь (*итал.*).

Имеются в виду акции протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине, закончившиеся побоищем 4 июня 1989 года.

«Английские уголки» в некоторых китайских городах – места, куда в определенные дни и часы можно прийти пообщаться на английском языке, улучшить свои разговорные навыки.

Ли Бо (701–762) – классик китайской поэзии.

Из стихотворения «В одиночестве пью под луною», пер.  
Л. Меньшикова.

«Сельские дороги, приведите меня домой, в родные места».

Черная пятница – традиционный день распродаж после Дня благодарения (четвертого четверга ноября). Некоторые торговые сети открывают свои магазины уже в полночь и предлагают первым покупателям значительные скидки.